

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

Целая жизнь



Мы не должны забывать этого.
Но мы не должны и прозирать это в купцы

СТИЛЬ
Н О В Е М Я

«Пар клубился вдоль кафельных стен. Теплая вода ласкала, словно теплые ладони. Они лежали в ней, и их тонкие, как спички, руки с непомерно толстыми суставами поднимались и блаженно плюхались обратно в воду. Застарелые корки грязи постепенно размокали. Мыло, скользя по истонченной от голода коже, освобождало ее от грязи, тепло проникало все глубже, доходило до самых костей. Теплая вода — они давно уже забыли, что это такое. Они лежали в ней, удивляясь и радуясь непривычному ощущению, и для многих это ощущение стало первым шагом к осознанию вновь обретенной свободы и спасения.»

- [Эрих Мария Ремарк](#)
 - [От переводчика](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)
 - [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая](#)
 - [Глава двадцать третья](#)
 - [Глава двадцать четвертая](#)
 - [Глава двадцать пятая](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)

- [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
-

Эрих Мария Ремарк
Искра жизни

Памяти моей сестры Эльфриды посвящается

Дорогой Читатель! Книге, которую Ты с сомнением держишь в руках, в России досталась нелегкая судьба. Вначале были сорок лет опалы (написанная в 1952 году, она лишь в 1992 году впервые была опубликована на русском языке), причина которой заключается в том, что коммунизм в этом романе предстает если не большим, то во всяком случае не меньшим злом, чем фашизм. Затем, когда вчерашние гонители романа «Искра жизни» обернулись вдруг бизнесменами от литературы и принялись зарабатывать деньги на опальной книге, она с их легкой руки не раз побывала в застенках так называемых «переводчиков», полагающих, что искусство художественного перевода ограничивается одним лишь знанием иностранного языка (которым они, впрочем, тоже владеют весьма посредственно). Репарка можно пытаться обвинять в чем угодно, но только не в косноязычии. Ни один «квалифицированный» русский читатель не поверит, что Эрих Мария Ремарк вдруг разучился писать и потому герои «Искры жизни», как и сам автор, дружно заговорили на каком-то странном, нелепом, корявом языке, а лаконичные, но яркие, выразительные картины природы, играющие огромную роль в произведениях Ремарка, сменила жалкая, беспомощная мазня дилетанта. Поистине больно смотреть, как упомянутые «переводчики» корчатся и извиваются в капканах подлинника, переводя слово за словом, и не могут вырваться на волю литературной нормы *родного*, т.е. великого русского языка... (Автор предлагаемого перевода вовсе не страдает манией величия и очень далек от уверенности в собственной непогрешимости, однако ему посчастливилось в свое время принимать участие в семинарах по переводу немецкоязычной художественной прозы при Ленинградском отделении Союза писателей СССР под руководством Инны Павловны Стребловой, одного из талантливейших и опытнейших переводчиков страны, и вовремя уяснить себе, что перевод — это все же *искусство*, требующее и таланта, и особой профессиональной подготовки. Кроме того, созданию данного перевода существенно благоприятствовали следующие обстоятельства: переводчику опять-таки посчастливилось до начала и в процессе работы не только побывать на горе Эттерсберг в городе Веймаре, где находится бывший концентрационный лагерь Бухенвальд, но и провести несколько месяцев в Оснабрюке, родном городе Ремарка, который он отчасти также описал в своем романе «Искра жизни»; и наконец знание множества реалий армейской жизни, языка военных команд и приказов, — не говоря уже о живой разговорной речи, бытующей в больших мужских коллективах, — которым переводчик обязан двухлетней действительной военной службе в бывшей Советской Армии, тоже сыграло важную роль в работе над переводом.)

Третья беда этой многострадальной книги заключается в самой теме: действие романа происходит в фашистском концентрационном лагере Меллерн (на самом деле Ремарк описал Бухенвальд, изменив название лагеря), и, поняв это с первых же строк, русский читатель, смертельно уставший за последние годы от искусства разоблачительного, обличающего, от беспросветного мрака постперестроечных будней и жаждущий света, к сожалению, отказывается от знакомства с этой важной и по-прежнему актуальной книгой. Но это не роман ужасов, не «триллер», слепленный на потребу сытому, рыгающему «племени младому, незнакомому». Это горестная, но мудрая книга о жизни и смерти, о Добре и Зле, о том, как легко и быстро добропорядочные, опрятные служащие, скромные чиновники, студенты и коммерсанты, мясники и булочники превращаются в профессиональных убийц, о том, как прекрасно это ремесло может сочетаться с любовью к музыке, хорошими манерами и образцовой семейной жизнью.

Одна из главных сюжетных линий романа — личная жизнь коменданта лагеря,

оберштурмбаннфюрера СС Бруно Нойбауера, его семейные неурядицы, материальные заботы, его мысли и чувства перед лицом надвигающегося возмездия. Картины лагерной действительности перемежаются занятнейшими, порой комичными сценами «гражданской» жизни властелина над жизнью и смертью. Таким образом русский читатель получает редкую возможность увидеть эту, казалось бы, до боли знакомую сторону немецкого фашизма в новом ракурсе, через призму личных переживаний «сверхчеловеков».

Что же касается «мрачности» темы, то, во-первых, все же не следует забывать о том, что искусству часто приходится быть скорее горькой пилюлей, необходимой для нашего духовного здоровья, нежели сладкой конфетой; что еще древние открыли «очищающую силу трагедии», а во-вторых, несмотря на тяжелые картины, предстающие перед читателем, роман «Искра жизни» — книга *жизнеутверждающая*; это явствует уже из самого названия. Автор мудро ведет нас через это чистилище к новому пониманию жизни: не «давит» слезу из нас, не всхлипывает сам, а с трудом сохраняя «беспристрастность», «нейтралитет», и даже находя в себе силы для горькой иронии или мрачного юмора, умело направляет наши мысли и чувства в нужное русло и заставляет перед лицом смерти по-новому взглянуть на жизнь.

Глава первая

Скелет № 509 медленно поднял голову и открыл глаза. Он не знал, был ли он все это время в обмороке или просто спал. Впрочем, между тем и другим состоянием едва ли еще существовала какая-нибудь разница: голод и истощение давно позаботились об этом. И сон, и обморок каждый раз были погружением в какую-то бездонную трясиину, из которой, казалось, уже нет возврата.

509-й полежал еще некоторое время неподвижно, прислушиваясь. Это была старая лагерная привычка. Никогда не знаешь, с какой стороны грозит опасность, и пока ты неподвижен, всегда есть шанс, что тебя не заметят или примут за мертвого — простой закон природы, известный каждой букашке.

Он не услышал ничего подозрительного. Часовые на пулеметных вышках пребывали где-то посередине между сном и бодрствованием, позади тоже все было спокойно. Он осторожно поднял голову и посмотрел назад.

Концентрационный лагерь Меллерн мирно дремал на солнце. Огромный апельль-плац, который эсэсовцы в шутку называли танцплощадкой, был почти пуст. Только на мощных деревянных столбах, справа от главных ворот, висели четверо на связанных за спиной руках. Они были подтянуты на веревках вверх ровно настолько, чтобы ноги не касались земли. Руки их были вывернуты в суставах. Два истопника крематория развлекались тем, что бросали в них из окна кусочки угля. Но ни один из четверых больше не шевелился. Они висели уже полчаса и успели потерять сознание.

Баракки рабочего лагеря казались покинутыми. Команды, работавшие за пределами лагеря, еще не вернулись. На дорожках изредка показывались и быстро исчезали, проشمыгнув куда-то по своим делам, дежурные. Слева от больших ворот перед штрафным бункером сидел шарфюрер СС Бройер. Он велел поставить для себя на солнце плетеное кресло со столиком и теперь пил кофе. Хороший кофе был редкостью весной 1945 года. Но Бройер только что задушил двух евреев, гнивших в бункере полтора месяца, а это он расценивал как проявление гуманности, которое заслуживает награды.

Кухонный капо прислал ему несколько кусков сладкого пирога. Бройер ел медленно, растягивая удовольствие. Он очень любил изюм без косточек, которым было щедро нашпиговано тесто. Пожилой еврей мало порадовал его; зато второй, помоложе, оказался более живучим. Он довольно долго дергался и хрипел. Бройер сонно ухмыльнулся и прислушался к слабым звукам, едва доносимым ветром со стороны сада, где репетировал лагерный оркестр. Играли вальс «Южные розы», любимую вещь коменданта, оберштурмбаннфюрера Нойбауера.

509-й находился на противоположной стороне лагеря, неподалеку от группы баракков, отделенных колючей проволокой от Большого рабочего лагеря. Они назывались Малым лагерем. В них содержались заключенные, которые уже не могли работать. Здесь они ждали своей смерти. Почти все умирали быстро, однако пополнение каждый раз прибывало до того, как умирали последние обитатели, и таким образом баракки были постоянно переполнены. Часто умирающие валялись где попало, в проходах, или просто подышали снаружи, вокруг баракков. В Меллерне не было газовых камер. Комендант очень гордился этим. Он любил заявлять, что в Меллерне умирают естественной смертью. Официально Малый лагерь назывался отделением щадящего режима, но лишь немногие обитатели баракков умудрялись выдержать этот щадящий режим дольше, чем две недели. В блоке 22 обосновалась маленькая группка таких живучих упрямец. Сохраняя последние крохи мрачного юмора, они называли себя ветеранами. 509-й был одним из них. Его отправили в Малый лагерь четыре месяца назад, и ему самому казалось

чудом, что он до сих пор жив.

Из трубы крематория валил дым. Ветер прижимал его вниз, к земле, и черные клубы медленно ползли по крышам бараков, распространяя жирный, сладковатый запах, который вызывал позыв к рвоте. 509-й так и не смог привыкнуть к нему за десять лет, проведенных в лагере. Сегодня этот дым уносил с собой и то, что осталось от двух ветеранов — часовщика Яна Сибельского и профессора университета Йоиля Бухсбаума. Оба умерли в блоке 22 и в обед были отправлены в крематорий. Впрочем, Бухсбаум — не совсем целиком: не хватало трех пальцев, семнадцати зубов, ногтей на пальцах ног и части полового органа. Он лишился всего этого, когда из него пытались воспитать мало-мальски пригодного человека. История с половым органом послужила источником веселья на нескольких вечерах отдыха в казарме СС. Это была идея шарфюрера Штайнбрэннера, который лишь недавно прибыл в лагерь. Просто, как и все гениальное — впрыснуть концентрированной соляной кислоты и больше ничего. Штайнбрэннер сразу же заслужил себе авторитет среди товарищей.

Стоял мягкий мартовский полдень, и солнце начинало уже пригревать, однако 509-й зябнул, несмотря на то, что на нем, кроме его собственной одежды, были еще вещи трех человек — куртка Йозефа Бухера, пальто старьевщика Лебенталя и рваный свитер Йоиля Бухсбаума, которым ветеранам посчастливилось завладеть, прежде чем забрали труп. Но при росте метр семьдесят и весе тридцать пять килограммов вряд ли помогли бы даже меха.

509-му полагалось полчаса лежать на солнце. Потом он должен был вернуться в барак и отдать взятую в займы одежду и свою куртку в придачу другому. Так договорились между собой ветераны, как только прошли холода. Сначала некоторые из них заупрямились. Они были слишком истощены и после мук, перенесенных зимой, хотели только одного — спокойно умереть в бараке. Но Бергер, староста секции, настоял на том, чтобы каждый, кто еще в состоянии ползать, выбирался на свежий воздух. Теперь была очередь Вестхофа, потом Бухера. Лебенталь отказался, у него нашлось занятие поинтереснее.

509-й еще раз оглянулся. Лагерь стоял на холме, и сквозь колючую проволоку ему был виден город. Он раскинулся внизу, в долине; над неразберихой крыш торчали башни церквей. Это был старый город со множеством церквей и валов, с липовыми аллеями и извилистыми улочками. В северной части раскинулись новые кварталы с широкими улицами, вокзалом, рабочими казармами, фабриками, медеплавильными и чугунолитейными заводами, на которых работали лагерные команды. Через весь город насквозь, описав дугу, протянулась река, в которой отражались мосты и небо с облаками.

509-й опустил голову. Он не мог долго держать ее поднятой. Череп становится вдвое тяжелее, если мышцы шеи высохли и превратились в тоненькие ниточки. Да и вид дымящихся труб в долине лишь усиливал и без того невыносимый голод. Он пробуждал голод в мозгу — не только в желудке. Желудок давным-давно привык к нему и не способен был ощущать ничего другого, кроме неизменной, всегда одинаковой, тупой жажды пищи. Голод в мозгу был страшнее. Он вызывал галлюцинации и ни на секунду не утихал. Он вгрызался даже в сон. Зимой 509-му понадобилось три месяца, чтобы избавиться от образа жареной картошки. Ее запах преследовал его всюду, даже вонь барачной уборной не могла перебить его. Теперь на смену картошке пришла яичница-глазунья. Яичница-глазунья с салом.

Он посмотрел на никелированные часы, лежавшие рядом с ним на земле. Ему одолжил их Лебенталь. Они были бесценным сокровищем барака. Поляк Юлиус Зильбер, которого уже давно не было в живых, несколько лет назад чудом протащил их в лагерь. У 509-го было еще десять минут времени, но он решил ползти обратно к барaku. Он боялся снова уснуть. Никогда не знаешь, доведется ли проснуться. Он осторожно ощупал взглядом лагерную улицу, но и теперь не заметил ничего, что могло бы предвещать опасность. Впрочем, он и не ожидал

увидеть ничего такого. Осторожность была скорее привычкой старого лагерника. Благодаря дизентерии Малый лагерь находился на положении не очень строгого карантина, и эсэсовцы редко заглядывали туда. Кроме того, контроль во всем лагере за последние годы был заметно ослаблен по сравнению с прежними временами. Война все ошутимее напоминала о себе, и часть эсэсовцев, которые до этого лишь героически пытались и убивали беззащитных узников, была наконец отправлена на фронт. Теперь, весной 1945 года, в лагере осталась всего лишь треть прежнего состава охранников. Управление делами, касающимися внутреннего распорядка, давно уже осуществлялось почти исключительно самими заключенными. Каждый барак имел старосту блока и нескольких старост секций; рабочие команды подчинялись капо или просто старшему, весь лагерь — лагерным старостам. Все они были заключенными. Их контролировали лагерфюреры, блокфюреры и командофюреры; это всегда были эсэсовцы. Первое время в лагере содержались только политические заключенные, но с годами к ним присоединилось бесчисленное множество обыкновенных преступников из переполненных тюрем близлежащих городов. Группы различались по цвету треугольных нашивок, которые, как и номера, носили все заключенные. У политических они были красными, у уголовников — зелеными. Евреи должны были кроме того носить еще один, желтый треугольник, который пришивался поверх первого таким образом, что получалась давидова звезда.

509-й снял пальто Лебенталя и куртку Йозефа Бухера, набросил их себе на спину и пополз обратно к бараку. Он чувствовал, что в этот раз устал сильнее, чем обычно. Ему даже ползти было трудно. Уже через несколько минут земля под ним закружилась. Он замер и полежал немного с закрытыми глазами, глубоко дыша, чтобы поскорее восстановить силы. И тут взвыли городские сирены.

Вначале всего лишь две. Но через несколько секунд их уже трудно было сосчитать, и ему стало казаться, будто там, внизу, кричит весь город. Он кричал с крыш и улиц, с башен и фабричных корпусов, он лежал открытый, освещенный солнцем; казалось, будто все в нем по-прежнему оставалось неподвижным, он просто закричал внезапно, словно парализованное животное, которое видит смерть и не может убежать; он кричал сиренами и паровозными гудками вверх, в небо, где все было тихо.

509-й тотчас же уткнулся лицом в землю. Во время воздушной тревоги запрещалось находиться вне барачных корпусов. Он мог бы попытаться встать на ноги и побежать, но он был слишком слаб, а барак был слишком далеко, и какой-нибудь нервный охранник, из новеньких, мог бы успеть открыть по нему стрельбу. Поэтому, собравшись с силами, он как можно проворнее отполз на несколько метров назад, до неглубокой выемки в земле, втиснулся в нее и натянул на голову пальто и куртку. Со стороны все выглядело так, будто кто-то просто свалился здесь замертво. Такое случалось нередко и не вызывало подозрений. Кроме того, тревога вряд ли продлится долго. В последние месяцы не проходило и двух-трех дней, чтобы в городе не объявляли воздушной тревоги, и каждый раз она оказывалась ложной. Самолеты летели дальше, на Берлин и Ганновер.

Проголосили и замолкли лагерные сирены. Потом все повторилось снова — второе предупреждение. Сирены монотонно завывали, словно кто-то крутил заигранные пластинки на гигантском граммофоне. Самолеты приближались к городу. 509-му все это было знакомо и мало тревожило его. Его враг был ближайший пулеметчик на вышке, который мог заметить, что он жив, а то, что происходило за колючей проволокой, его не касалось.

Дышать было трудно. Спертый воздух под пальто превратился в черную вату, которая все плотнее и плотнее окутывала его. Он лежал в крохотной ложбинке, словно в могиле, и постепенно ему стало казаться, что это и в самом деле могила и он никогда уже не сможет встать, что на этот раз действительно пришел конец, что он так и останется лежать здесь и в

конце концов умрет, достигнутый проклятой слабостью, против которой так долго боролся. Он и сейчас попробовал сопротивляться, но это плохо помогало, он только еще острее чувствовал это — какое-то непривычно покорное ожидание, заполнившее его и вышедшее наружу: все вокруг словно превратилось в ожидание — город, воздух и даже сам свет. Это было похоже на начинающееся затмение солнца, когда краски уже подернулись свинцом и дышат предчувствием бессолнечного, мертвого мира, это было похоже на вакуум — напряженное ожидание, пройдет ли смерть и в этот раз мимо.

Удар был несильным, но неожиданным. И пришелся он с той стороны, которая казалась наиболее защищенной. 509-й ощутил его как резкий толчок в живот откуда-то снизу, из земли. В тот же миг сквозь вой сирен прорезался тонкий стальной свист, который усиливался с угрожающей быстротой, чем-то напоминающий звук сирен и в то же время совсем непохожий на него. 509-й не понял, что было раньше — удар из-под земли или этот свист и последовавший за ним грохот, но он отлично знал, что и то, и другое произошло здесь во время воздушной тревоги впервые. И когда все это повторилось, ближе и сильнее, над ним и под ним, он понял, в чем дело: самолеты в первый раз не прошли мимо. Город бомбили.

Земля продолжала трястись. 509-му казалось, будто из-под земли по нему лупят мощные резиновые дубинки. Охватившее его оцепенение исчезло без следа. А вместе с ним и смертельная усталость, словно облако дыма, развеянное внезапно налетевшим ветром. Каждый толчок из-под земли отдавался в мозгу. Он еще полежал некоторое время без движения и вдруг, почти не сознавая, что делает, осторожно продвинул руку вперед и приподнял край пальто, так, чтобы можно было видеть происходящее там внизу, в городе.

Именно в это мгновение вокзал медленно, как бы нехотя, развернулся вширь и поднялся в воздух. Золотой купол, плавно, почти грациозно спланировав над верхушками деревьев, скрылся за городским парком. Тяжелые взрывы, казалось, не имели к этому никакого отношения — все происходило слишком медленно, шум зенитных орудий тонул в грохоте, словно тьяканье терьера в гулком лае крупного дога. После очередного толчка одна из башен церкви Святой Екатерины накренилась, а потом стала очень медленно оседать, не спеша разламываясь на множество частей — все было похоже скорее на замедленную съемку, чем на реальность.

Между домами, словно грибы, росли мощные столбы дыма. Однако 509-й все еще не воспринимал это как картину разрушения, ему казалось, будто там внизу, просто разыгрались невидимые великаны. В неповрежденных районах города над крышами по-прежнему мирно курился дымок из труб, в реке по-прежнему отражались облака, а разрывы зенитных снарядов опушили небо, сделав его похожим на безобидную подушку, которая трещит по швам, выпуская наружу белесые хлопья ваты.

Одна бомба упала далеко за городом, в луга, поднимающиеся до самого лагеря. 509-й пока еще не чувствовал страха: все это происходило слишком далеко от того маленького мирка, в котором он существовал. Страх можно было испытывать перед горячей сигаретой, поднесенной к глазам или мошонке, перед двух — или трехнедельным «отдыхом» в голодном бункере — каменном гробу, в котором невозможно было ни лежать, ни стоять, перед кузлами, на которых отбивались почки, перед камерой пыток в левом флигеле у ворот, перед Штайнбреннером, перед Бройером, перед лагерфюрером Вебером, — но даже это все для него потускнело с тех пор, как его списали в Малый лагерь. Кроме того, за десять лет существования концентрационный лагерь Меллерн устал быть для своих обитателей адом — даже свежему идеалисту-эсэсовцу скоро надоедало мучить скелетов. Они были слишком слабы и малочувствительны, что не позволяло хотя бы чуть-чуть продлить удовольствие. Лишь временами, когда прибывало сильное, еще не утратившее способность остро чувствовать боль пополнение, вновь ненадолго вспыхивало былое

патриотическое рвение, и тогда по ночам опять можно было слышать хорошо знакомый вой, а эсэсовцы выглядели повеселевшими, как после хорошего жаркого из свинины с картофелем и красной капустой. А вообще-то лагеря в Германии за военные годы стали скорее гуманными. Теперь в них практически только душили в газовых камерах, расстреливали или забивали насмерть. Или просто выжимали последние соки на тяжелой работе, а затем оставляли спокойно подыхать с голоду. То, что в крематории время от времени вместе с трупами сжигались и живые, объяснялось не столько злым умыслом, сколько напряженностью графика работы или тем, что иные скелеты порой долго остаются неподвижными. Да и случалось это лишь тогда, когда нужно было срочно расчистить место для нового пополнения за счет массовых ликвидаций. Даже умерщвление нетрудоспособных голодом нельзя было назвать слишком усердным: в Малом лагере всегда находилась какая-то пища, а ветераны, такие, как 509-й, умудрялись даже ставить рекорды по выживанию.

Бомбежка кончилась неожиданно. Только зенитки все еще неистовствовали. 509-й поднял край пальто еще выше, чтобы можно было видеть ближайшую пулеметную вышку. Она была пуста. Он посмотрел направо, потом налево — часовые исчезли и с других вышек. Эсэсовские охранники попрятались и находились в безопасности: у них были добротные бомбоубежища рядом с казармами. 509-й полностью отбросил пальто назад, подполз ближе к колючей проволоке и, оперевшись на локти, впился взглядом в долину.

Город теперь горел со всех сторон. То, что несколько мгновений назад казалось забавным, превратилось в то, чем оно было на самом деле: в огонь и разрушение. Дым, словно гигантский моллюск, полз по улицам и пожирал дома, временами отрывая огнем. С вокзала взметнулся ввысь мощный сноп искр. Разбитая башня церкви Святой Екатерины вновь вспыхнула, и лизавшие ее со всех сторон языки пламени были похожи на бледные молнии. Безмятежно, словно ничего не случилось, стояло в небе окруженное золотым нимбом солнце, и это казалось почти невероятным, — то, что небо со своей синевой и белизной было таким же ясным, как час назад, а леса и холмы вокруг остались такими же спокойными и безучастными и продолжали дремать, залитые мягким светом, — словно один только город был проклят и обречен на гибель каким-то неведомым, зловещим судьей.

509-й не отрываясь смотрел вниз. Смотрел, позабыв про осторожность. Он никогда не видел этот город иначе, как сквозь колючую проволоку, и никогда не был в нем. Но за десять лет, проведенных им в лагере, город стал для него чем-то бульшим, чем просто город.

Вначале он был почти невыносимым образом утраченной свободы. День за днем смотрел он на него сверху; он видел его, с его беззаботной жизнью, когда едва мог ползти на четвереньках после специальной обработки у лагерфюрера Вебера; он видел его, с его церквями и домами, когда висел на кресте с вывернутыми суставами; он видел его, с его белыми лодками на реке и автомобилями, несущимися навстречу весне, когда мочился кровью из отбитых почек, — ему жгло глаза, когда он видел его, и это было еще одной из множества существовавших в лагере пыток.

Потом он начал ненавидеть его. Время шло, а в нем ничего не менялось, что бы ни происходило здесь, наверху. Каждый день поднимался над крышами домов дым из кухонных печей, которому не было никакого дела до черных клубов, валивших из трубы крематория; на спортплощадках и в парках царил веселая суета, в то время как на лагерной «танцплощадке» сотни загнанных тварей хрипели в предсмертных судорогах; толпы радостно возбужденных отпускников и отдыхающих каждое лето устремлялись в леса, в то время как колонны узников, собрав всех умерших и убитых, тащились из каменоломен обратно в лагерь; он ненавидел его, ибо ему казалось, что город навсегда забыл про него и про других узников.

В конце концов иссякла и эта ненависть. Борьба за корку хлеба стала важнее, чем все остальное. Этого требовала и выстрадавшая истина: ненависть и воспоминания так же разрушают борющееся со смертью Я, как и боль. 509-й научился уходить в себя, забываться и не думать ни о чем, кроме того, как продлить свое существование еще на полчаса, на час, на день. Город стал ему безразличен, а его неизменный образ превратился в тоскливый символ того, что и его, 509-го, судьба никогда уже не изменится.

И вот этот город горел. 509-й заметил, что у него трясутся руки. Он попробовал унять дрожь, но ничего не получалось, она становилась все сильнее. В нем словно все распалось на куски; голова казалась совершенно пустой и гудела, как будто кто-то барабанил по ней.

Он закрыл глаза. Он не хотел этого. Он не хотел больше ничего впускать в себя. Он растоптал и похоронил все надежды. Он уронил голову на вытянутые руки. Ему не было никакого дела до этого города. Он не хотел ничего знать и слышать об этом городе. Он хотел только одного — по-прежнему равнодушно подставлять солнцу грязный пергамент, покрывающий череп, хотел дышать, давить вшей и ни о чем не думать, как это было с ним долгие годы.

Хотел, но не мог. Дрожь не прекращалась. Он перевернулся на спину и вытянул ноги. Над ним распростерлось небо, покрытое белыми хлопьями зенитных разрывов. Ветер быстро превращал их в легкую паутину и гнал прочь. Он полежал так некоторое время, но вскоре и это стало невыносимым. Небо вдруг показалось ему синей бездной, в которую он стремительно падает. Он снова перевернулся на живот и сел. Он не смотрел больше на город. Он смотрел на лагерь и впервые смотрел на него так, словно ждал от него помощи.

Бараки, как и до этого, мирно дремали на солнце. На «танцплощадке» все еще висели на крестах те четверо, подвешенные за руки. Шарфюрер Бройер исчез, но из трубы крематория все еще шел дым. Правда, уже не такой густой. Наверное, сжигали детей. А может, было приказано прекратить работу.

509-й заставил себя пристально взглядеться во все это. Это был его мир. В него не попало ни одной бомбы. Он неумолимо продолжал существовать. Он один, этот мир, властвовал над ним; то, что происходило там, за колючей проволокой, его не касалось.

В это мгновенье смолкли зенитные орудия. Тишина обрушилась на него внезапно — так, будто лопнула некая шумовая оболочка, все это время, как в тисках, державшая его голову. На секунду ему почудилось, будто все это лишь сон и он вот-вот проснется. Он резко обернулся.

Это был не сон. Внизу был город, и он горел. Внизу были огонь и смерть, и это, несмотря ни на что, касалось его. Теперь уже было не разобрать, что уцелело, а что взлетело на воздух, он видел лишь дым и огонь, все остальное расплывалось перед глазами, да это и не имело значения — город горел. Город, казавшийся застрахованным от перемен. Застрахованным от перемен и неуязвимым, как лагерь.

Его охватил ужас. Ему вдруг показалось, что сзади со сторожевых вышек на него смотрят дула всех пулеметов лагеря. Он посмотрел назад. Там все было по-прежнему. Вышки были пусты. На дорожках тоже никого не было видно. Но это не помогло — дикий страх, словно чья-то цепкая рука, схватил его за загривок и принялся безжалостно трясти. Он схватил пальто и куртку и пополз обратно. При этом он то и дело запутывался в полах лебенталевского пальто, стонал, бормотал проклятья, вырывал его из-под колен и полз дальше, к бараку, спеша изо всех сил, возбужденный и растерянный, словно кроме смерти он спасался от чего-то еще.

Глава вторая

Барак 22 был разделен на две половины, каждая из которых состояла из двух секций. Во второй секции правого крыла обитали ветераны. Здесь было особенно сыро и тесно, но это мало заботило их; важно, что они были вместе. Это придавало им силы. Смерть так же заразительна, как и тиф, и в одиночку, как ни сопротивляйся, очень легко загнуться, когда вокруг все только и делают, что подышают. Вместе легче было выстоять. Если кто-то, не выдержав, прекращал сопротивление, ему помогали товарищи. Ветераны не умирали в Малом лагере дольше других не потому, что им доставалось больше пищи; они не умирали потому, что сумели сохранить волю к борьбе.

В том закутке, где обосновались ветераны, лежало сто тридцать четыре скелета. Рассчитан он был на сорок человек. Койками служили деревянные нары, в четыре яруса, голые или покрытые старой, гнилой соломой. Было всего лишь несколько грязных одеял, из-за которых каждый раз, как только умирали их владельцы, вспыхивала ожесточенная борьба. На каждой «койке» лежало по крайней мере три-четыре человека. Вчетвером было тесно даже скелетам — плечи и бедра не становились уже: кости не усыхали, как мышцы. Немного просторнее было, если все ложились на бок, как сардины в банке, и все же по ночам то и дело раздавался глухой удар, означавший, что кто-то во сне свалился вниз. Многие спали сидя на корточках. А те счастливики, чьи соседи по «койке» умерли еще вечером и были вынесены из барака, могли наконец хотя бы одну ночь, прежде чем поступит пополнение, поспать нормально.

Ветераны отвоевали себе угол слева от двери. Их оставалось двенадцать человек. Два месяца назад их было сорок четыре. Зима доконала их. Все они знали, что находятся на последней стадии: рацион все уменьшался, а иногда им вообще ничего не давали день или два. В такие дни кучи трупов перед бараками росли на глазах.

Один из двенадцати свихнулся и считал себя немецкой овчаркой. У него не было ушей: он лишился их, когда эсэсовцы использовали его вместо чучела для натаскивания сторожевых собак. Самого младшего, парнишку из Чехословакии, звали Карел. Родителей его уже не было в живых — их прах стал удобрением на картофельном поле одного добропорядочного крестьянина в деревне Вестлаге: пепел сожженных в крематории насыпался в мешки и продавался как искусственное удобрение. Он был богат фосфором и кальцием. Карел носил красную нашивку политического заключенного. Ему было одиннадцать лет.

Старейшему из ветеранов исполнилось семьдесят два года. Это был еврей, который боролся за свою бороду. Борода была частью его религии. Эсэсовцы запрещали ему носить бороду, но он упорно пытался отрастить ее снова. В рабочем лагере это каждый раз кончалось тем, что его привязывали к козлам и нещадно избивали. В Малом лагере ему везло больше. Здесь эсэсовцы меньше заботились о порядке и редко устраивали проверки: они слишком боялись вшей, дизентерии, тифа и туберкулеза. Поляк Юлиус Зильбер окрестил старика Агасфером, потому что тот повидал на своем веку с десятков голландских, польских, австрийских и немецких концентрационных лагерей. Зильбер давно умер от тифа и украсил собой в виде куста примулы сад коменданта Нойбауера, получавшего пепел из крематория бесплатно, а имя Агасфер так и осталось. В Малом лагере лицо старика съежилось, а борода разрослась и служила теперь родиной многочисленным поколениям отборных вшей.

Старостой секции был бывший врач Эфраим Бергер. Он был незаменим в их борьбе со смертью, со всех сторон надвигавшейся на барак. Зимой, в гололед, когда скелеты падали и ломали себе кости, ему многих удалось спасти, наложив шины. В лазарет не принимали никого из Малого лагеря; он был предназначен только для работоспособных, а также для лагерной

элиты. В Большом лагере и гололед был не так опасен, как в Малом: там зимой дорожки посыпались пеплом из крематория. Не столько из гуманных соображений, сколько из расчетливости — чтобы сохранить рабочую силу. С тех пор как концентрационные лагеря были включены в единый трудовой фронт, этому придавалось особое значение. Зато уничтожение работой велось ускоренными темпами. Потери были не страшны: массовые аресты обеспечивали своевременный приток новой рабочей силы.

Бергер был одним из немногих заключенных, имевших разрешение покидать Малый лагерь. Он уже несколько недель помогал при обработке трупов в крематории. Старосты секций не обязаны были работать, но врачей не хватало, поэтому его откомандировали туда. Это было выгодно для барака. Через одного капо из лазарета ему иногда удавалось добыть для скелетов немного лизоля, ваты, аспирина или чего-нибудь в этом роде. А под соломой на его «койке» была спрятана бутылка йода.

Но важнее всех для ветеранов был Лео Лебенталь. Он был связан с подпольным рынком рабочего лагеря и, как поговаривали, даже кое с кем на воле. Как это ему удавалось, никто толком не знал. Знали только, что тут были замешаны две шлюхи из известного заведения «Летучая мышь», расположенного неподалеку от лагеря, и якобы даже один эсэсовец. Но об этом никто ничего толком сказать не мог. А Лебенталь ничего не рассказывал.

Он торговал всем подряд. Через него можно было достать окурки, морковку или пару картофелин, отходы из кухни, кость, а иногда и кусок хлеба. Он никого не обманывал. Он лишь заботился о товарообороте. Позаботиться о себе самом, тайком от других, никогда не приходило ему в голову. Торговля поддерживала в нем жизнь — торговля, а не то, чем он торговал.

509-й вполз в открытую дверь. Солнце несколько секунд светило в темноту барака через его торчащие уши; между этими тоненькими бледно-желтыми, восковыми лучами был черный провал его неосвещенного лица.

— Они бомбили город, — сказал он, тяжело дыша.

Никто не ответил. 509-й ничего не видел, глаза его еще не привыкли к темноте после яркого света. Он закрыл их на несколько секунд и снова открыл.

— Они бомбили город, — повторил он. — Вы что, не слышали?

Но и теперь никто не произнес ни слова. 509-й заметил у двери Агасфера. Он сидел на полу и гладил «овчарку». «Овчарка» рычала. Ей было страшно. Свальявшиеся волосы свисали на покрытое шрамами лицо, глаза испуганно сверкали в темноте.

— Гроза, — пробормотал Агасфер. — Это всего лишь гроза! Тихо, Вольф, тихо!

509-й прополз вглубь барака. Он не мог понять, почему все так спокойны.

— Где Бергер? — спросил он.

— В крематории.

Он положил пальто и куртку на пол.

— Вы что, не хотите на воздух? — он посмотрел на Вестхофа и Бухера.

Они ничего не ответили.

— Ты же знаешь, что нельзя, — сказал наконец Агасфер. — Пока не дадут отбой тревоги.

— Отбой уже был.

— Еще нет.

— Был. Самолеты улетели. Они бомбили город.

— Заладил, как попугай — «бомбили, бомбили»! — злобно проворчал кто-то из темноты.

Агасфер поднял голову:

— Может, они в наказание за это расстреляют человек двадцать.

— Расстреляют? — захихикал Вестхоф. — С каких это пор здесь расстреливают?

«Овчарка» залаяла. Агасфер крепко держал ее, не отпуская от себя.

— В Голландии после воздушного налета обычно расстреливали десять-двадцать политических. Мол, чтобы им в голову не лезли глупые мысли.

— Мы не в Голландии.

— Я знаю. Я просто сказал, что в Голландии расстреливали.

— Расстреляют! — презрительно фыркнул Вестхоф. — Ты что — солдат, чтобы тебя расстреливали? Здесь вешают или просто бьют, пока не околеешь.

— Они могут сделать исключение, для разнообразия.

— Заткните ваши вонючие глотки! — выкрикнул тот же голос из темноты.

509-й опустил на пол рядом с Бухером и закрыл глаза. Ему все еще мерещился дым над горящим городом, а в ушах стоял глухой грохот взрывов.

— Как вы думаете, будет сегодня ужин или нет? — спросил Агасфер.

— Болван! — ответил ему голос из темноты. — Чего тебе надо? Сначала ты хочешь, чтобы тебя расстреляли, а потом спрашиваешь, дадут ли тебе поесть!

— Еврею нельзя без надежды.

— «Без надежды»! — снова захихикал Вестхоф.

— Конечно. А как же? — ответил Агасфер невозмутимо.

Вестхоф поперхнулся и вдруг всхлипнул. Его уже несколько дней терзал барачный коллер^[1].

509-й открыл глаза.

— А может быть, сегодня ничего не дадут, — сказал он. — В наказание за бомбежку.

— Эй ты, со своей дурацкой бомбежкой! — опять раздался голос из темноты. — Ты сегодня заткнешься или нет?!

— У кого еще есть что-нибудь съедобное? — осведомился Агасфер.

— О боже!.. — простонал голос из темноты. Слишком очевидный идиотизм вопроса делал какие-либо комментарии излишними.

Агасфер не обращал на него внимания.

— В лагере Терезиенштадт у одного был кусок шоколада, а он об этом и не знал! Сам спрятал его, когда их пригнали, и забыл. Молочный шоколад... В обертке с портретом Гинденбурга.

— А может, еще и с паспортом в придачу, а?.. — проскрипел все тот же голос.

— Нет. А на этом шоколаде мы протянули два дня.

— Кто это там все кричит? — спросил 509-й Бухера.

— Один из тех, что прибыли вчера. Новенький. Привыкнет.

Агасфер вдруг насторожился.

— Кончилось..

— Что?

— Тревога. Это был отбой. Последний сигнал.

В бараке вдруг стало совсем тихо. Потом послышались шаги.

— Убирай овчарку, — прошептал Бухер.

Агасфер затолкал сумасшедшего под койку.

— На место! Тихо! — Он приучил его слушаться команд. Если бы эсэсовцы нашли его, ему бы, как сумасшедшему, немедленно сделали «обезболивающий» укол.

— Это Бергер, — сообщил Бухер, вернувшись обратно от двери.

Доктор Эфраим Бергер был человеком маленького роста с обвисшими плечами и совершенно лысой головой, похожей на яйцо. Его воспаленные глаза постоянно слезились.

— Город горит, — сказал он, едва переступив порог.

509-й встрепенулся.

— Что они там об этом говорят?

— Не знаю.

— Как не знаешь? Ты же должен был что-нибудь слышать.

— Нет, — ответил Бергер устало. — Они перестали жечь, когда началась тревога.

— Почему?

— Откуда мне знать? Приказано — и точка.

— А СС? Ты видел кого-нибудь из них?

— Нет.

Бергер пошел между нарами в глубину барака. 509-й посмотрел ему вслед. Он ждал Бергера, хотел поговорить с ним, но тот казался таким же безучастным к бомбежке, как и другие. Он не понимал этого.

— Ты не хочешь на воздух? — спросил он Бухера.

— Нет.

Бухеру было двадцать пять лет. Семь из них он провел в лагере. Его отец был редактором социал-демократической газеты; этого оказалось достаточно, чтобы упрятать сына за колючую проволоку. «Если он выйдет отсюда, он сможет прожить еще сорок лет, — подумал 509-й, — сорок или пятьдесят. А мне уже пятьдесят. Мне бы осталось еще десять, от силы двадцать лет». Он достал из кармана щепку и принялся жевать ее. «С чего это я вдруг стал думать об этом?» — мелькнуло у него в голове.

Бергер вернулся обратно.

— Ломан хочет тебе что-то сказать, 509-й.

Ломан лежал в дальней части барака на нарах нижнего яруса без соломенной подстилки. Он сам так захотел. У него была тяжелая форма дизентерии, и он уже не мог вставать. Он думал, что так — гигиеничнее. Он ошибался. Но все уже привыкли к этому. Почти каждый в большей или меньшей степени страдал поносом. Для Ломана это было настоящей пыткой. Он умирал и при этом извинялся за каждую судорогу своей кишки. Лицо его стало таким серым, что он мог бы сойти за негра, из которого выкачали всю кровь. Он шевельнул рукой, и 509-й наклонился к нему. Грязновато-желтые белки глаз Ломана тускло поблескивали.

— Ты видишь это? — прошептал он и широко раскрыл рот.

— Что? — 509-й посмотрел на посиневшее небо.

— Сзади, внизу — золотая коронка.

Ломан повернул голову в сторону узенького оконца. За ним стояло солнце, и эта часть барака была освещена слабым, розоватым светом.

— Да, вижу, — сказал 509-й. Он ничего не видел.

— Вытащите ее.

— Что?

— Вытащите ее! — прошептал Ломан нетерпеливо.

509-й посмотрел на Бергера. Тот покачал головой.

— Она же прочно сидит, — сказал 509-й.

— Тогда вытащите зуб. Он сидит не так уж прочно. Бергер может это сделать. Он же делает это в крематории. Вдвоем вы сможете.

— Почему ты хочешь, чтобы мы вытащили ее?

Веки Ломана медленно поднялись и опустились. Они напоминали черепашии веки. На них уже не было ресниц.

— Сами знаете. Золото. Купите на эти деньги еду. Лебенталь может обменять ее на деньги.

509-й не отвечал. Менять золотую коронку было очень опасным делом. Все золотые коронки регистрировались при поступлении каждой новой партии заключенных и позже, в

крематории, выгаскивались и сортировались. В тех случаях, когда не хватало одной коронки, отмеченной в списках, отвечал весь барак. Его лишали пищи до тех пор, пока не будет возвращена коронка. Тот, у кого находили коронку, немедленно отправлялся на виселицу.

— Вытащите ее! — еще раз просипел Ломан. — Это нетрудно. Щипцами! Или просто проволокой.

— У нас нет щипцов.

— Тогда проволокой! Согните проволоку крючком.

— Проволоки у нас тоже нет.

Глаза Ломана закрылись. У него больше не было сил. Губы его продолжали беззвучно шевелиться, тело оставалось неподвижным и казалось плоским, и только его черные, запекшиеся губы — эта крохотная воронка жизни, в которую уже медленно потекла свинцовая тишина небытия, — напоминали о том, что он еще жив.

509-й выпрямился и посмотрел на Бергера. Ломан не мог видеть их лиц, их заслоняли нары.

— Ну что с ним?

— Уже ничего не поможет.

509-й кивнул. С ним это уже не раз бывало — что он почти ничего не испытывал при виде умирающего. Косой луч осветил пятерых скелетов, похожих на тощих обезьян, которые сидели на нарах верхнего яруса.

— Скоро он сдохнет? — спросил один из них, скребя под мышками и зевая.

— А что?

— Мы займем его койку. Я и Кайзер.

— Успеешь еще.

509-й на мгновение засмотрелся на плавающий свет из оконца, который, казалось, существовал сам по себе, отдельно от вонючего барака. Тот, который спросил о Ломане, принялся жевать гнилую солому. Его кожа напоминала шкуру леопарда: она была покрыта черными пятнами. Где-то поблизости, на соседних нарах, какие-то двое переругивались высокими, тонкими голосами; слышались вялые, слабые удары.

Что-то едва ощутимое коснулось ноги 509-го. Это Ломан подергал его за штанину. Он снова склонился над ним.

— ... вытащить! — прошептал Ломан.

509-й присел на край его «койки».

— Мы ничего не сможем на нее выменять. Это слишком опасно. Никто не захочет рисковать.

Губы Ломана задрожали.

— Она не должна им достаться! — выдохнул он с силой. — Только не им! Я заплатил за нее сорок пять марок. В двадцать девятом году. Только не им! Вытащите ее!

Он вдруг скорчился и застонал. Кожа на его лице сморщилась, но только у глаз и вокруг рта — других мышц, которые могли бы выразить боль, на нем не осталось.

Наконец он выпрямился. Из груди его вместе со сжатым воздухом вырвался жалобный стон.

— Не переживай, — успокоил его Бергер. — У нас еще есть немного воды. Ничего страшного. Мы уберем это.

Ломан помолчал немного.

— Обещайте мне, что вы ее вытащите — до того, как они меня заберут, — прошептал он, наконец. — Потом-то вы сможете?

— Хорошо, — сказал 509-й. — Ее не регистрировали, когда ты сюда попал?

— Нет. Обещайте мне! Слышите?

— Обещаем.

Глаза Ломана помутнели и вновь прояснились.

— Что там случилось — снаружи?

— Бомбежка, — ответил Бергер. — Бомбили город. В первый раз. Американцы.

— О!..

— Да, — произнес Бергер тихим, но твердым голосом. — Осталось уже недолго ждать! Им отомстят за тебя, Ломан.

509-й резко взглянул на него. Бергер все еще стоял, и умирающий не мог видеть его лица. Он видел только его руки. Кулаки то сжимались, то разжимались, словно душили какого-то невидимого врага, отпускали и вновь сдавливали его горло.

Ломан лежал тихо. Он снова закрыл глаза и почти не дышал. 509-й не знал, понял ли тот, что говорил ему Бергер.

Он поднялся.

— Умер? — спросил тот же самый скелет с верхнего яруса. Он все еще продолжал чесаться. Четверо других маячили рядом с ним, словно тени, словно истуканы. Глаза их были пусты.

— Нет.

509-й повернулся к Бергеру.

— Почему ты сказал ему это?

— Почему? — Лицо Бергера передернулось. — Потому! Ты что, не понимаешь?

Свет окутал его голову, похожую на яйцо, розовым облаком. В густом, отравленном зловониями воздухе казалось, будто она дымится. Глаза его сверкали. Они были мокрыми. Но они были такими всегда, они были хронически воспалены. 509-й, конечно, мог понять, почему Бергер сказал это. Но что это было за утешение для умирающего? С таким же успехом эти слова могли сделать его конец еще тяжелее. Он заметил, как на кирпично-красный глаз одного из истуканов села муха. Веки его остались неподвижными. А может быть, это все-таки утешение, думал 509-й. Может быть даже — единственное утешение для того, кто должен умереть.

Бергер повернулся и стал протискиваться обратно по узкому проходу между нарами. Ему приходилось переступать через лежащие на полу тела. При этом он очень напоминал шагающего по болоту марабу. 509-й двинулся вслед за ним.

— Бергер! — зашептал он, когда они наконец остановились. — Ты действительно веришь в это?

— Во что?

509-й не решался произнести это вслух. Он словно боялся спугнуть то, что значили для него эти слова.

— В то, что ты сказал Ломану.

— Нет, — сказал Бергер, глядя на него.

— Нет?

— Нет. Не верю.

— Но... — 509-й прислонился к ближайшей койке. — Зачем же ты сказал это?

— Я сказал это для Ломана. А сам я в это не верю. Никто не будет отомщен, никто! Никто! Никто!

— А как же город? Он же горит!

— Город горит. Горело уже много городов. Это ничего не значит. Ничего!

— Нет, значит! Должно значить!

— Ничего! Ничего! — продолжал иступленно твердить Бергер, как человек, восплававший некоей фантастической надеждой и тут же похоронивший ее. Бледный череп его качался, как маятник, а из воспаленных глаз струилась влага. — Горит маленький городишко. Какое это имеет к нам отношение? Никакого! Ничто не изменится. Ничто!

— Они кого-нибудь расстреляют, — произнес сидевший на полу Агасфер.

— Заткнись! — закричал из темноты прежний голос. — Заткнёте вы наконец ваши вонючие глотки?!

509-й уселся на свое место возле стены. Над головой было одно из немногих окон барака. Это узенькое оконце находилось довольно высоко, и в него в это время попадало немного солнца. Свет добирался только до третьего яруса; все, что было выше, всегда пребывало во мраке.

Барак стоял здесь всего лишь год. 509-й помогал строить его; он тогда еще был в рабочем лагере. Это был старый барак из какого-то эвакуированного концентрационного лагеря в Польше. Четыре таких барака прибыли однажды в разобранном виде на городской вокзал; там их погрузили на машины, привезли в лагерь и снова собрали. В них воняло клопами, страхом, грязью и смертью. Так и возник Малый лагерь. Первая же партия нетрудоспособных, умирающих узников с Востока была утрамбована в него и предоставлена сама себе. Уже через несколько дней содержимое бараков можно было выгребать обратно. С тех пор сюда сплавляли больных, обессиленных, калек и нетрудоспособных, и лагерь постепенно превратился в некое постоянно действующее учреждение.

Косой четырехугольник света на стене справа от окна высветил бледные надписи и имена. Это были надписи и имена прежних обитателей барака в Польше и Восточной Германии. Они были сделаны карандашом или выцарапаны кусочками проволоки и гвоздями.

509-й уже знал некоторые из них. Он знал, что кончик четырехугольника как раз коснулся имени, обрамленного жирными штрихами, высвобождая его на несколько мгновений из тьмы, — «Хаим Вольф, 1941». Вероятно, Хаим Вольф написал его, когда узнал, что должен умереть. И чтобы ни одно имя из его семьи не присоединилось к его имени, он оградил его штрихами. Он хотел, чтобы это решение судьбы было окончательным, чтобы ушел только он, он один. Хаим Вольф, 1941. Со всех сторон — неумолимые штрихи, так, чтобы нельзя было больше вписать ни одного имени, — последнее заклинание судьбы, последняя мольба отца, который надеялся, что его сыновья спасутся. Но чуть ниже, под самой чертой, словно цепляясь за первое имя, стояло еще два имени: Рубен Вольф и Мойше Вольф. Первое написано рукой школьника, неуклюжими, непослушными буквами, второе — косым и гладким почерком, в котором угадывались покорность и бессилие. Рядом чьей-то рукой было приписано: «все погибли в газовой камере».

Еще ниже, наискосок, над самым сучком, было нацарапано: «Йоз. Майер», а рядом: «лт зап. кав. Ж. Кр. 1-й и 2-й ст.» — Йозеф Майер, лейтенант запаса, кавалер ордена Железного Креста 1-й и 2-й степени.

Майер, по-видимому, не мог забыть об этом. Он не мог не отравить себе даже свои последние дни. Он участвовал в первой мировой войне, он стал офицером и удостоился наград; поскольку он был евреем, ему приходилось стараться вдвое больше, чем любому другому. А потом, позже, опять же потому, что он был евреем, его сунули в концентрационный лагерь и уничтожили, как насекомое. Он был, конечно, убежден, что ввиду его заслуг на фронте к нему отнеслись гораздо несправедливее, чем к другим. Он заблуждался, и от этого его смерть была еще тяжелей. Несправедливость заключалась не в тех словах, которые он присовокупил к своему имени. Они были всего лишь жалкой иронией.

Ромб света медленно полз дальше. Хаим, Рубен и Мойше Вольф, которых он лишь коснулся одним уголком, снова погрузились во тьму. Зато показались две другие надписи. Одна из них состояла всего из двух букв: Ф. М. Тот, кто нацарапал их гвоздем на стене, ценил себя гораздо меньше, чем лейтенант Майер. Казалось, даже собственное имя стало ему почти безразличным. И все же он не пожелал исчезнуть, не оставив совсем никакого следа. Чуть ниже снова стояло

полное имя, написанное карандашом: «Тевье Ляйбеш со своими». А рядом, торопливо — начало еврейской молитвы Каддиш: «Йис гадал...»

509-й знал, что через несколько минут светлое пятно доберется до полустертой надписи: «Пишите Лее Занд — Нью-Йорк...» Названия улицы было не разобрать. Дальше было написано: «Отец...» — и после прогнившего участка дерева: «... умер. Ищите Лео.» Похоже, Лео удалось спастись, однако старания написавшего это оказались напрасными: ни один из бесчисленных обитателей барака так и не смог принести Лее Занд из Нью-Йорка вести о судьбе ее близких. Никому не удалось выйти оттуда живым.

509-й неподвижно сидел, уставившись отсутствующим взглядом на стену. Поляк Зильбер, когда он еще лежал в этом бараке с истекающими кровью кишками, прозвал эту стену стеной плача. Он тоже знал большинство надписей наизусть и поначалу даже предлагал пари — какой из них пятно света коснется первой. Вскоре Зильбер умер, а эти имена по-прежнему жили своей призрачной жизнью, появляясь в солнечные дни на несколько мгновений и снова погружаясь во тьму. Летом, когда солнце поднималось выше, показывались и другие, нацарапанные внизу надписи, а зимой четырехугольник скользил лишь поверху. Но их было много — русских, польских, еврейских надписей, так и оставшихся невидимыми, потому что свет никогда не падал на них. Барак был собран слишком быстро, и эсэсовцы не успели позаботиться о том, чтобы отскоблили стены. Обитателей его эти стены волновали еще меньше, а тем более надписи в нижней, неосвещенной части стен. Никто даже не пытался расшифровать их. Да и какой идиот захотел бы пожертвовать драгоценной спичкой только ради того, чтобы лишиться последних остатков надежды?..

509-й отвернулся. Он больше не хотел этого видеть. Он вдруг почувствовал приступ какого-то нового, еще неизвестного ему одиночества — словно что-то невидимое и непонятное пролегло между ним и теми, кто его окружал, лишив их способности понимать друг друга. Он помедлил еще немного, потом, не выдержав, пробрался на ощупь к двери и выполз наружу.

Сейчас на нем были только его собственные лохмотья, и холод сразу же прохватил его до костей. Он выпрямился, прислонился к стене барака и посмотрел на город. Он вряд ли смог бы объяснить, почему, — но ему не хотелось больше ползать на четвереньках. Ему хотелось стоять. Часовые Малого лагеря все еще не вернулись на вышки. Хотя они никогда и не были чересчур бдительными — тот, кто едва может переставлять ноги, уже не убежит.

509-й стоял на углу барака. Цепь холмов, на которых раскинулся лагерь, вытянулась в виде широкой дуги, и отсюда он мог видеть не только город, но и казармы СС. Они были расположены по ту сторону проволочного ограждения, за вереницей по-весеннему голых деревьев. Часть эсэсовцев сновала взад и вперед перед казармой, другие стояли маленькими, возбужденными кучками и поглядывали на город. Большой серый автомобиль проворно вскарабкался на гору. Он остановился перед квартирой коменданта, неподалеку от казарм. Нойбауер, который уже ждал перед окнами, сел в машину, и она тотчас же рванулась с места. 509-й знал, еще будучи в рабочем лагере, что у коменданта был дом в городе и что там жила его семья. Он проводил машину пристальным взглядом. При этом он не замечал, что кто-то неслышными шагами шел по центральной дорожке к баракам. Это был староста 22-го блока Хандке, коренастый малый, который всегда незаметно подкрадывался в своих сапогах на резиновых подошвах. Он носил зеленую нашивку уголовника. Чаще всего Хандке был безвреден, но иногда, во время очередного приступа бешенства, он становился опасным и уже многих покалечил.

509-й еще мог попытаться исчезнуть, когда заметил его, — признаки страха обычно удовлетворяли непритязательного Хандке с его примитивной жаждой чувства превосходства, — но он не сделал этого. Он остался стоять.

— Ты что здесь делаешь? — спросил Хандке, поравнявшись с ним.

— Ничего.

— Ага. Ничего... — Хандке плюнул под ноги 509-му. — Жук навозный! Небось, размечтался? — Его соломенные брови поднялись вверх. Можешь не надеяться! Вам отсюда не вылезти! Вас, политических ублюдков, они всегда успеют пропустить через трубу!

Он еще раз сплюнул и пошел обратно. 509-й перевел дух. У него потемнело в глазах, как будто перед ним на несколько секунд опустился черный занавес. Хандке недолго любил его, и он старался не попадаться ему на глаза. Но в этот раз он остался стоять. Он проводил его взглядом до самой уборной, пока тот не исчез, свернув за угол. Угроза не испугала его; угрозы были привычным делом в лагере. Он думал только о том, что все это могло означать. Значит, Хандке тоже что-то почувствовал? Иначе бы он не сказал этого. Может быть, он даже слышал что-нибудь подобное от эсэсовцев. 509-й глубоко вздохнул. Выходит, он все-таки не был идиотом.

Он еще раз посмотрел на город. Дым уже лежал плотным слоем на крышах. Даже здесь, на горе, было слышно, как захлебывались сигнальные колокола пожарных машин, а со стороны вокзала доносился беспорядочный треск, словно там рвались боеприпасы. Шофер коменданта так лихо взял поворот у подножия холма, что машину занесло. 509-й заметил это, и лицо его неожиданно сморщилось. Оно сложилось в гримасу смеха. 509-й смеялся! Он смеялся беззвучным, судорожным смехом; он давно позабыл, когда смеялся в последний раз, он смеялся и не мог остановиться, и смех его не имел ничего общего с весельем. Продолжая смеяться, он осторожно огляделся вокруг и поднял вверх немощный кулак, и все смеялся и смеялся, пока приступ кашля не повалил его наземь.

Глава третья

Мерседес коршуном устремился в долину. Оберштурмбаннфюрер Нойбауер, грузный мужчина с пористым лицом любителя и знатока пива, сидел рядом с шофером. Его белые перчатки отливали на солнце серебряным блеском. Заметив это, он снял их. Сельма, думал он, Фрейя! Дом! Никто не отвечал по телефону.

— Давай! Давай, Альфред! Жми!

На окраине города они почувствовали запах пожарища. Он становился все более едким и густым по мере приближения к центру. У Нового рынка они увидели первую воронку. Рухнувшая сберкасса горела. Пожарные команды пытались спасти соседние дома, но струи воды были слишком тонкими, чтобы сдержать натиск огня. Из воронки на площади воняло серой и кислотами. Нойбауер почувствовал спазмы в желудке.

— Поезжай через Хакенштрассе, Альфред, — сказал он. — Здесь не проехать.

Шофер развернулся, и машина помчалась, описывая широкую дугу, через южную часть города. Здесь как ни в чем не бывало мирно грелись на солнце дома и палисадники. Ветер дул с юга, и воздух был чистым. Потом, когда они пересекали реку, запах вновь появился и стал усиливаться; еще дальше он заполнил улицы, словно тяжелый осенний туман.

Нойбауер теребил свои усики, подстриженные коротко, как у фюрера. Раньше он лихо подкручивал их вверх, как Вильгельм II. Проклятые спазмы в желудке! Сельма! Фрейя! Дом! Весь живот, грудь — все словно вдруг превратилось в желудок.

Им еще дважды пришлось ехать в объезд. В первый раз из-за мебельного магазина, фасад которого сорвало взрывом; часть мебели все еще стояла на этажах, остальное горело, разлетевшись по всей улице, заваленной обломками. Второй раз путь им преградила парикмахерская, перед которой корчились в огне восковые бюсты, выброшенные взрывной волной на улицу.

Наконец, машина свернула на Либихштрассе. Нойбауер высунулся из окна. Дом! Его дом! Палисадник! Терракотовый гном и красная фарфоровая такса на газоне. Целы и невредимы! Все стекла на месте! Спазмы в желудке прекратились. Он поднялся по ступенькам на крыльцо и открыл дверь. Повезло, подумал он. Дьявольски повезло! Впрочем, так и должно быть! Почему это именно у него должно было что-нибудь случиться?

Он повесил фуражку на оленьи рога в прихожей и прошел в гостиную.

— Сельма! Фрейя! Где вы?

Никто не отзывался. Нойбауер протопал к окну и распахнул его. В саду работали двое русских военнопленных. Они лишь мельком взглянули на него и принялись копать еще усерднее.

— Эй вы! Большевики!

Один из плененных опустил лопату.

— Где моя семья? — крикнул Нойбауер.

Тот ответил что-то по-русски.

— Оставь свой свинский язык! Отвечай по-немецки! Или мне спуститься вниз и научить тебя?

Русский молчал, уставившись на него, словно загипнотизированный.

— Ваша семья в погребке, — раздался сзади чей-то голос.

Он обернулся. Это была горничная.

— В погребке? А-а, ну да, конечно. А вы где были?

— На улице. Я отлучилась только на минутку! — Девушка стояла в дверях, лицо ее покраснелось, глаза блестели, словно она вернулась со свадьбы.

— Говорят, уже сто убитых! — затараторила она. — У вокзала, на медном заводе и в церкви...

— Тихо! — перебил ее Нойбауер. — Кто это говорит?

— Люди, на улице...

— Кто? — Нойбауер шагнул вперед. — Антигосударственные речи! Кто это говорит?

Девушка отшатнулась.

— На улице... не я... кто-то... все говорят...

— Предатели! Мерзавцы! — неистовствовал Нойбауер. Наконец-то он мог дать волю своим взвинченным нервам. — Проклятый сброд! Свиньи! Нытики несчастные! А вы? Что вы забыли на улице?

— Я? Ничего...

— Удрали со службы? А? Разносить сплетни и ужасы! Мы еще разберемся! Здесь давно уже пора навести порядок! Железный порядок! Марш на кухню!

Девушка бросилась в кухню. Нойбауер отдышался и закрыл окно. «Ничего не случилось, — подумал он. — Они в погребе. Конечно. Как же я сразу не подумал об этом?»

Он достал сигарету, закурил. Потом одернул китель, выпятил грудь, взглянул в зеркало и спустился вниз.

Жена и дочка сидели прижавшись друг к другу в одном шезлонге у стены. Над ними висел цветной портрет фюрера в широкой золоченой раме.

Погреб был приспособлен под бомбоубежище в сорок первом году. Нойбауер велел сделать это из чисто дипломатических соображений: это было проявлением патриотизма — показывать пример согражданам в подобных вещах. Никто никогда всерьез не думал о том, что Германия может подвергнуться бомбардировке. Каждому честному немцу было достаточно заявления Геринга, что он готов называться Майером, если люфтваффе позволит вражеским самолетам посягнуть на германское небо. К сожалению, все вышло иначе. Типичный пример коварства плутократов и евреев, которые любят притворяться, будто они слабее, чем это есть на самом деле.

— Бруно! — Сельма Нойбауер встала с кресла и всхлипнула.

Это была толстая белокурая женщина; на ней был розовый пеньюар из французского шелка. Нойбауер привез его в 1941 году из Парижа, где он тогда провел свой отпуск. Ее щеки тряслись, а чересчур маленький рот пережевывал каждое слово, прежде чем произнести его.

— Все прошло, Сельма, успокойся.

— Прошло... — продолжала она жевать, словно вместо слов во рту у нее были слишком крупные кенигсбергские битки. — На...надолго ли?

— Навсегда. Они улетели. Нападение отражено. Они больше не вернутся.

Сельма запахнула пеньюар на груди.

— Кто это сказал, Бруно? Откуда ты это знаешь?

— Мы сбили по крайней мере половину. Они вряд ли осмелятся вернуться.

— Откуда ты это знаешь?

— Я знаю. В этот раз они застали нас врасплох. В следующий раз мы встретим их как полагается.

Его жена перестала жевать.

— И это все? — спросила она. — Это все, что ты можешь сказать?

Нойбауер понимал, что этого было слишком мало, поэтому он грубо ответил:

— А тебе что, этого мало?

Жена уставилась на него своими светло-голубыми водянистыми глазами.

— Мало! — вдруг завизжала она. — Этого мало! Это все чушь! Это все пустые слова! Чего

мы уже только не слышали! Сначала нам говорят — мы так сильны, что ни один вражеский самолет никогда не появится над Германией! А они вдруг появляются. Потом заявляют, что они больше не вернутся, мы будем сбивать их на границе, а они все летят и летят без конца, и воздушная тревога не прекращается. А теперь они добрались и до нас здесь. И тут являешься ты и хвастаешься, мол, они больше не вернутся, мы им покажем! Какой нормальный человек поверит в это?

— Сельма! — Нойбауер бросил произвольный взгляд на портрет фюрера. Потом подскочил к двери и захлопнул ее.

— Проклятье! Возьми себя в руки! — прошипел он. — Ты что, спятила — так кричать! Хочешь всех нас погубить?

Он подошел к ней вплотную. Полный отваги взгляд фюрера за ее толстыми плечами по-прежнему был устремлен на ландшафт Берхтесгадена. Какое-то мгновение Нойбауер был почти уверен, что фюрер все слышал.

Сельма не обращала никакого внимания на фюрера.

— «Спятила»? — визжала она. — Если кто-то и спятил, то только не я! У нас была прекрасная жизнь до войны — а теперь? Что теперь? Спрашивается, кто спятил!

Нойбауер схватил жену за руки и принялся трясти ее так, что голова ее замоталась из стороны в сторону, волосы растрепались, посыпались гребешки, она поперхнулась и закашлялась. Он отпустил ее. Она, словно мешок, повалилась в кресло.

— Что с ней? — спросил он у дочери.

— Ничего особенного. Мама очень взволнована.

— С какой стати? Ничего же не случилось.

— Ничего не случилось? — тотчас же откликнулась жена. — У тебя, конечно, ничего не случилось, там, наверху! А мы здесь одни...

— Тихо! Чччерт!.. Не так громко! Я не для того трудился пятнадцать лет не покладая рук, чтобы ты мне все испортила своим криком! Желających занять мое место больше чем достаточно!

— Это была первая бомбежка, папа, — спокойно произнесла Фрейя Нойбауер. — До сих пор были только сигналы тревоги. Мама привыкнет.

— Первая? Ну да, конечно, первая! И чем кричать всякий вздор, надо радоваться, что до сих пор ничего не произошло.

— Мама переживает. Но она привыкнет.

— «Переживает»! — Нойбауер был озадачен спокойствием своей дочери. — А кто не переживает? Ты думаешь, я не переживаю? Но надо держать себя в руках. Иначе что бы с нами было?

— То же самое! — Его жена рассмеялась. Она лежала в шезлонге, раскинув толстые ноги, обутые в домашние туфли из розового шелка. Розовый цвет и шелк она отождествляла с элегантностью. — «Переживает»! «Привыкнет»! Тебе хорошо говорить!

— Мне? Почему это?

— С тобой ничего не случится.

— Что?

— С тобой ничего не случится. А мы сидим здесь, как в мышеловке.

— Но это же сущая чепуха! Какая разница? Почему это со мной ничего не случится?

— Ты там в безопасности — в своем лагере!

— Что? — Нойбауер швырнул сигарету на пол и растоптал ее. — У нас там нет таких убежищ, как здесь.

Это была неправда.

— Потому что они вам не нужны, там, за городом.

— Как будто это имеет какое-то значение. Бомба не разбирает — в городе или за городом.

— Лагерь не будут бомбить.

— Вот как? Это что-то новое! Откуда тебе это известно? Американцы сбросили письмо?

Или доложили тебе устно?

Нойбауер взглянул на дочь, словно ожидая аплодисментов за свою шутку. Но Фрейя молча теревала бахрому плюшевой скатерти на столе, рядом с шезлонгом. За нее ответила жена:

— Они не станут бомбить своих.

— Ерунда! У нас нет американцев. И англичан тоже. Только русские, поляки, балканский сброд и немцы, враги отечества — евреи, предатели и преступники.

— Они не будут бомбить русских, поляков и евреев, — с тупым упрямством заявила Сельма.

Нойбауер резко повернулся.

— Ты, я вижу, знаешь больше меня, — сказал он тихо, едва сдерживая бешенство. — А теперь послушай, что я тебе скажу. Они вообще не знают, что это за лагерь, понятно? Они видят бараки. Эти бараки очень даже могут показаться им военными бараками. Они видят казармы. Это наши казармы, казармы СС. Они видят здания, в которых работают люди. Для них это фабрики, а значит — цели. Там наверху в сто раз опаснее, чем здесь. Поэтому я и не хотел, чтобы вы там жили. Здесь нет поблизости ни казарм, ни фабрик. Поймешь ты это наконец или нет?

— Нет.

Нойбауер уставился на свою жену.

Он никогда не видел Сельму такой. Какая муха ее укусила? Вряд ли это был просто страх. Он вдруг почувствовал себя покинутым своей семьей. Именно теперь, когда им так важно было держаться друг за друга! Он зло посмотрел на дочь.

— А ты что скажешь? Что ты молчишь, как в рот воды набрала?

Фрейя Нойбауер поднялась. Эта двадцатилетняя девица, худая, с выпуклым лбом на желтом лице, не была похожа ни на мать, ни на отца.

— Я думаю, мама успокоилась, — ответила она.

— А? Что?

— Я думаю, она успокоилась.

Нойбауер помолчал немного. Он ждал, что жена скажет еще что-нибудь.

— Ну хорошо, — произнес он наконец.

— Пойдем наверх? — спросила Фрейя.

Нойбауер покосился на Сельму. Он все еще не доверял ее молчанию. Надо было втолковать ей, что она ни в коем случае ни с кем не должна говорить. Даже с горничной. Особенно с горничной! Дочь опередила его:

— Наверху маме будет лучше. Там больше воздуха.

Он все еще стоял в нерешительности. «Лежит, как мешок с мукой, — думал он. — Сказала бы хоть наконец что-нибудь разумное».

— Мне нужно в ратушу. К шести. Дитц звонил: необходимо обсудить положение вещей.

— Не беспокойся, папа. Все в порядке. Нам нужно еще приготовить ужин.

— Ладно, давай забудем это, Сельма, а? Всякое бывает. Все хорошо. А? — Он смотрел на нее сверху вниз, холодно улыбаясь одними губами.

Она не отвечала.

Он ласково потрепал ее толстые плечи.

— Ну ступайте наверх и приготовьте ужин. Что-нибудь вкусенькое — после всех этих страхов, хорошо?

Она равнодушно кивнула.

— Ну вот и прекрасно. — Нойбауер понял, что теперь все действительно было в порядке. Дочь была права. Сельма больше не будет болтать чепухи.

— Обязательно приготовьте что-нибудь вкусненькое, девочки! Сельмочка, в конце концов я ведь для вас стараюсь, чтобы вы жили в нормальном доме, с надежным бомбоубежищем, — это же лучше, чем жить рядом с этим сборищем грязных мошенников. И потом, я ведь тоже каждую неделю провожу пару ночей дома, с вами. Так что, как говорится, хорошо там, где нас нет. Мы должны держаться друг друга. Ну ладно, значит, придумайте что-нибудь поинтереснее на ужин! Тут я полагаюсь на вас. И достаньте из погреба бутылку французского шампанского, ясно? У нас ведь этого добра пока еще хватает?

— Да, — ответила жена. — Этого добра у нас еще хватает.

— И еще одно! — энергично продолжал группенфюрер Дитц. — До меня дошли слухи что некоторые господа офицеры выразили намерение отправить свои семьи подальше в тыл. Это правда?

Никто не отвечал.

— Я не могу этого допустить. Мы, офицеры СС, должны показывать пример. Если мы станем отсылать наши семьи из города, прежде чем будет получен общий приказ об отступлении, наши действия могут быть неверно истолкованы. Нытики и крикуны немедленно воспользуются этим. Поэтому я надеюсь, что ничего подобного не произойдет без моего ведома.

Он стоял перед группой сослуживцев, стройный, высокий, в своем щегольском мундире, и вглядывался в их лица. Взгляд каждого в отдельности выражал решимость и полную невинность. Почти все они были не прочь отправить свои семьи из города, но никто не выдал этого взглядом. Все думали об одном и том же: Дитцу хорошо говорить — у него нет близких в городе. Он родом из Саксонии и не имеет за душой ничего, кроме тщеславия и стремления выглядеть таким прусским гвардейским офицером. Это было нетрудно. Легко ратовать за то, что тебя не касается.

— Все, господа! — сказал Дитц. — В заключение хочу еще раз напомнить вам: наше новейшее оружие уже запущено в серийное производство. Фау-1, несмотря на их прекрасные качества, — ничто по сравнению с ним. Лондон превращен в груды развалин. Англия находится под постоянным обстрелом. Мы контролируем все французские порты. Наша ударная армия испытывает огромные трудности со снабжением. Ведется форсированная подготовка контрудара, который сбросит неприятеля в море. Мы накопили мощные резервы. А наше новейшее оружие... К сожалению, не имею права сообщить вам больше, чем уже сообщил, но мне известно из надежного источника: победа будет за нами не позднее, чем через три месяца. И эти три месяца нам необходимо продержаться. — Он вскинул руку. — За работу! Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер! — грянуло в ответ.

Нойбауер вышел из ратуши. «О России ничего не сказал... — думал он. — О Рейне тоже. О прорванной обороне Западного вала и подавно ни звука. „Продержаться“! Ему легко говорить, у него ничего нет. Это фанатик. У него нет торговой фирмы рядом с вокзалом, как у меня. Он не участвует в прибыли мелленской газеты. У него нет даже земельных участков. У меня все это есть. И если все взлетит на воздух, кто мне возместит убытки?»

Улица вдруг стала быстро заполняться людьми. На площади уже негде было яблоку упасть. Перед зданием ратуши на ступенях был установлен микрофон. Дитц собирался произнести речь. С фасада смотрели вниз на площадь Карл Великий и Генрих Лев с застывшими улыбками на каменных лицах. Нойбауер сел в свой мерседес.

— Герман-Геринг-Штрассе, Альфред.

Торговая фирма Нойбауера была расположена на углу Герман-Геринг-Штрассе и Фридрихсallee. Это было большое здание, весь первый этаж которого занимал магазин одежды. Оба верхних этажа состояли из конторских помещений.

Нойбауер велел остановиться и осмотрел дом со всех сторон. Треснули стекла двух витрин, больше ничего не пострадало. Он посмотрел вверх, на окна контор. Они утопали в клубах дыма, ползущего с вокзала. Но огня нигде не было видно. Пара стекол вполне могло лопнуть и там. Зато все остальное было целым и невредимым.

Двести тысяч марок, прикинул он в уме, стоя перед окнами фирмы. Не меньше. Если не больше. Он же заплатил за нее пять тысяч. В 1933 году она принадлежала еврею Йозефу Бланку. Он поначалу запросил сто тысяч, все причитал, что и так продает слишком дешево, и ни за что не хотел уступать. После двухнедельного пребывания в концентрационном лагере он продал ее за пять тысяч. «Я поступил с ним честно, — думал Нойбауер. — Я мог бы заполучить все бесплатно. Бланк сам подарил бы мне свое хозяйство — после того, как солдаты СС немного позабавились с ним. А я заплатил ему пять тысяч. Неплохие деньги. Конечно, не сразу — тогда у меня еще не было такой суммы. Но я заплатил, как только поступила первая плата от жильцов». Бланк и этому был рад. Официальная сделка. Добровольная. Заверенная у нотариуса. А то, что Йозеф Бланк, будучи в лагере, очень неудачно упал, лишился при этом глаза, сломал руку и, кажется, повредил еще что-то, было чистой случайностью, досадным недоразумением. Люди, страдающие плоскостопием, легко падают. Нойбауер ничего подобного не приказывал. Его и не было при этом. Он лишь отдал приказ взять Бланка под охранный арест, чтобы избавить его от чересчур усердных эсэсовцев. Все остальное — на совести лагерфюрера Вебера.

Он отвернулся. С чего это ему вдруг полезли в голову всякие глупости? Что с ним происходит? Ведь все уже давно забыто. Нужно жить дальше. Если бы он не купил этот дом, нашлись бы другие, среди его товарищей по партии. И заплатили бы еще меньше. Или вообще ничего. Он действовал официально. По закону. Фюрер сам говорил, что его верные соратники заслуживают награды. И потом, разве могли сравниться те крохи, которые перепали ему, Бруно Нойбауеру, с тем, что досталось тузам? Таким, как Геринг, или гауляйтер Шпрингер, из портье превратившийся в миллионера? Нойбауер никого не грабил. Он просто выгодно покупал. Он был чист. У него имелись квитанции. Все подтверждено официальными бумагами.

На вокзале взметнулся вверх столб огня. Вслед за этим раздалось несколько взрывов. Вероятно, вагоны с боеприпасами. Стены дома, на которых заплясали алые отблески огня, словно покрылись кровавым потом. «Вздор, — подумал Нойбауер. — У меня и в самом деле расшатались нервы. О евреях-адвокатах, которых тогда вытряхнули из этих контор наверху, давно уже все забыли». Он сел в машину. Рядом с вокзалом! Для торгового предприятия — прекрасное место. Но дьявольски опасное, когда бомбят город. Как тут не расшататься нервам!

Здание газеты «Мелленер Цайтунг» совершенно не пострадало. Нойбауер узнал об этом по телефону. Сейчас как раз печатался экстренный выпуск. Газеты буквально вырывали из рук разносчиков. Нойбауер смотрел, как исчезают белые увесистые пачки. Один пфенниг с каждого экземпляра принадлежал ему. Показалось еще несколько разносчиков с пачками в руках. Один за другим они уносились прочь на своих велосипедах. Экстренный выпуск означал дополнительный заработок. Каждый разносчик имел при себе не менее двухсот экземпляров. Нойбауер насчитал семнадцать разносчиков. Получалось тридцать четыре марки сверх нормы. Нет худа без добра. На эти деньги он сможет заменить часть лопнувших стекол в витринах. Вздор — они же застрахованы. Если, конечно, страховая компания еще в состоянии платить — при таких убытках. Ничего, заплатят! По крайней мере ему. Тридцать четыре марки были чистой прибылью.

Он купил себе экстренный выпуск. В нем уже было напечатано короткое воззвание Дитца к населению. Быстро работают. И вдобавок сообщение о том, что два самолета были сбиты над городом, остальные — около половины — над Минденом, Оснабрюком и Ганновером. Статья Геббельса о чудовищном варварстве вражеской авиации, подвергнувшей бомбардировке мирные города. Несколько ядерных слов фюрера. Заметка о том, что гитлерюгенд организовала поиски вражеских летчиков, выпрыгнувших с парашютом. Нойбауер бросил газету на землю и вошел в табачную лавку на углу.

— «Дойче Вахт». Три штуки, — сказал он.

Продавец раскрыл перед ним коробку. Нойбауер принялся лениво выбирать. Сигары никуда не годились. Буковые листья. Дома у него были получше, импортные, из Парижа и Голландии. Он попросил «Дойче Вахт» только потому, что лавка принадлежала ему. До захвата власти она принадлежала одной еврейской эксплуататорской фирме — Лессеру и Захту. Штурмфюрер Фрайберг не растерялся и заграбастал лавку себе. Он владел ею до 1936 года. Золотая жила. Нойбауер откусил кончик сигары. Что он мог поделаться, если Фрайберг, напившись, как свинья, высказывал предательские замечания в адрес фюрера? Это было его долгом, долгом истинного национал-социалиста, — доложить о них командованию. Фрайберг вскоре после этого исчез, и Нойбауер купил у его вдовы этот магазин, оказав ей тем самым дружескую услугу. Он настоятельно советовал ей продать магазин, так как он, якобы, располагает сведениями о том, что имущество Фрайберга будет конфисковано. Деньги спрятать проще, чем магазин. Она была благодарна ему. И продала. За четверть цены, разумеется. Нойбауер объяснил ей, что у него нет столько свободных денег, а времени терять нельзя... Она оказалась благоразумной и согласилась. Никакой конфискации, конечно, не последовало. Нойбауер сумел объяснить и это — он, якобы, ходатайствовал за нее, и теперь ей разрешено оставить деньги себе. Он поступил честно. Долг есть долг. А лавку и в самом деле могли конфисковать. Кроме того, вдова вряд ли одна справилась бы с делами. Ее все равно выжили бы из магазина. И заплатили бы еще меньше.

Нойбауер вынул сигару из рта. Она не раскуривалась. Дерьмо. Но люди покупают. Готовы курить что угодно, лишь бы дым был. Если бы не карточная система, можно было бы продавать в десять раз больше. Жаль. Он еще раз окинул взглядом магазин. Повезло. Ничего не случилось. Он сплюнул. Он вдруг ощутил во рту неприятный привкус. Наверное, сигара. А может, нет? Ничего же не случилось. Нервы? С чего это ему вдруг вспомнились все эти старые истории? Давно забытая чепуха! Садясь в машину, он выбросил сигару, а две оставшиеся отдал шоферу.

— Держи, Альфред. Побалуешься вечерком. А теперь вперед! В сад.

Сад был гордостью Нойбауера. Это был обширный участок на окраине города. Больше половины его было засажено овощами и фруктовыми деревьями. Кроме того, имелись цветник, курятник и свинарник. Несколько русских пленных из лагеря содержали все это в порядке. Им не надо было платить — это они должны были бы платить ему. Вместо двенадцати или пятнадцати часов ежедневной каторги на медеплавильном заводе — легкая работа, да еще на свежем воздухе.

Над садом повисли сумерки. Небо на этой стороне было ясным; на верхушках яблонь покачивалась луна. Крепко пахло свежескопанной землей. На грядках уже пустились ростки первые овощи, а на фруктовых деревьях набухли клейкие почки. Японская вишня, маленькое деревцо, простоявшее зиму в теплице из стекла, уже покрылась нежным бело-розовым пушком — робко раскрывающимися цветами.

Русские работали на другом конце сада. Нойбауеру видны были их темные согнутые спины и фигура часового с винтовкой, словно подпиравшего примкнутым штыком небо. Часовой был просто так, для порядка: русские и без него не убежали бы. Да и куда они могли убежать — в

своей лагерной одежде, не зная языка? Они возились с большим бумажным мешком, набитым пеплом из крематория. Этот пепел они сыпали в борозды, на грядках со спаржей и земляникой, которую Нойбауер особенно любил; он мог съесть ее сколько угодно. В мешке был пепел шестидесяти человек, в том числе двенадцати детей.

В густом, фиолетовом сумраке раннего вечера смутно белели первые примулы и нарциссы. Они росли у южной стены, под стеклом. Нойбауер склонился над ними. Нарциссы не имели запаха. Зато всюду благоухали фиалки, крохотные ночные фиалки, скрытые темнотой.

Он глубоко вдохнул. Это был его сад. Он ни у кого не отнимал его. Это было его место. Место, где опять становишься человеком, после суровой службы на благо отечества и постоянных забот о семье. Он с удовлетворением огляделся вокруг, посмотрел на утопающую в жимолости и увитую ветвями роз беседку, потом на живую самшитовую изгородь, на искусственный грот из туфа, на кусты сирени; он вдохнул терпкий воздух, в котором уже чувствовалось дыхание весны, нежно коснулся рукой укутанных соломой стволов персиков и груш у стены, и наконец открыл дверь в хлев.

Он не пошел ни к курам, рассевающимся на насесте и чем-то похожим на старух, ни к двум пороссятам, которые спали, зарывшись в солому, — он сразу же отправился к кроликам.

Это были белые и серые ангорцы. Они спали, но когда он включил свет, они сонно зашевелились. Нойбауер просунул палец сквозь проволочную петлю решетки и потрепал их мягкую шерстку. Он не знал ничего на свете, что могло бы быть мягче этой шерстки. Потом он набрал из корзины, стоявшей поблизости, капустных листьев и моркови и рассовал все это по клеткам. Кролики не спеша принялись за угощение, мягко шевеля своими нежными розовыми губами.

— Мукки, — поманил он. — Иди ко мне, Мукки.

Тепло хлева действовало убаюкивающе. Оно обволакивало, словно медленно приближающийся, наплывающий сон. Запах животных навевал ощущение давно забытой невинности. Этот крохотный кусочек бытия, где-то на грани между растительным и животным миром, был бесконечно далек от бомб, от интриг и жизненной борьбы — морковь и капустные листья, и зачатие новой, пушисто-теплой жизни, и стрижка шерсти, и рождение. Нойбауер продавал шерсть. Но ему никогда и в голову не пришло бы зарезать хотя бы одного из этих кроликов.

— Мукки, — вновь позвал он.

Крупный белый самец осторожно взял своими нежными губами капустный лист из его руки. Красные глаза его горели, словно рубины. Нойбауер почесал ему загривок. Сапоги его закрипели, когда он наклонился. Как сказала Сельма? «Ты там в безопасности, в своем лагере»? Какая, к черту, «безопасность»? Когда он вообще был в безопасности?

Он подложил еще капустных листьев в клетки. «Двенадцать лет! — подумал он. — До захвата власти я был простым почтовым служащим. Двести марок в месяц. Как говорится, ни прожить, ни умереть по-человечески. Теперь у меня кое-что есть. И я не хочу это потерять».

Он еще раз взглянул в рубиновые глаза самца. Сегодня все обошлось. И дальше все будет тоже хорошо. Бомбежка вполне могла быть случайностью. Такое бывает, особенно когда бомбить посылают новые, еще не обстрелянные соединения. Город не имеет военного значения, иначе бы его давно уже попытались уничтожить. Нойбауер чувствовал, как к нему возвращается душевное равновесие.

— Мукки, — пробормотал он и подумал: «В безопасности? Конечно, в безопасности! Кому же охота в последний момент сыграть в ящик?»

Глава четвертая

— Проклятые скоты! Еще раз все сначала!

Рабочие команды Большого лагеря стояли на плацу, тщательно выстроенные по блокам, в колонны по десять человек. Уже стемнело, и в полумраке эта людская масса в полосатых костюмах была похожа на огромное стадо смертельно уставших зебр.

Переключка продолжалась уже больше часа, но желаемого результата никак не получалось. Виновата была бомбежка. Команды, работавшие на медном заводе, понесли потери. Одна из бомб угодила в их цех; несколько человек было убито и несколько ранено. Кроме того, эсэсовские охранники, оправившись от первого испуга, открыли огонь по заключенным, метавшимся в поисках укрытия. Решив, что те пытаются бежать, они уложили еще с полдюжины.

После бомбежки заключенные долго выкапывали из-под развалин своих мертвецов. Или то, что от них осталось. Это было необходимо для вечерней поверки: хотя жизнь узника не представляла в глазах эсэсовцев никакой ценности, количество присутствующих — живых или мертвых — должно было быть в строгом соответствии с количеством номеров и фамилий в списке. Бюрократизм не отступал даже перед трупами.

Рабочие команды предусмотрительно взяли с собой все, что только удалось найти: кто-то тащил оторванную руку, кто-то ногу или голову. Кое-как склотив несколько носилок, они погрузили на них раненых с развороченными животами или без ног. Остальных поддерживали или просто тащили их товарищи. Перевязать смогли лишь немногих — под рукой почти ничего подходящего не оказалось. С помощью проволоки и ниток наскоро наложили повязки тем, кто истекал кровью. Раненым в живот, лежавшим на носилках, ничего не оставалось, как держать свои кишки собственными руками.

Колонна медленно, с трудом вскарабкалась на гору. По дороге умерли еще двое. Их, уже мертвых, тоже пришлось тащить с собой. Это обстоятельство послужило причиной одного недоразумения, в результате которого шарфюрер Штайнбрэннер изрядно опростоволосился. У ворот лагеря, как всегда, стоял оркестр и играл «Фридерикус Рекс». Раздалась команда «Смирно! Равнение направо!», и узники, устремив глаза направо и высоко вскидывая ноги, прошли торжественным маршем мимо группы офицеров во главе с лагерфюрером Вебером. Даже тяжелораненые на носилках, повернув головы направо, пытались в эти последние минуты жизни изобразить некое подобие выполнения команды «смирно». Только мертвые не желали больше приветствовать начальство. Штайнбрэннер вдруг заметил, что один из заключенных, которого тащили двое других, опустил голову. Он не обратил внимания на бессильно волочившиеся по земле ноги нарушителя, подскочил к нему и ударил его в переносицу рукояткой нагана. Штайнбрэннер был молод и полон рвения. Сгоряча он решил, что тот просто потерял сознание. От удара голова мертвеца откинулась назад, лязгнув отвисшей челюстью. Со стороны это выглядело так, как будто окровавленный рот, выполняя последнюю волю остывающего черепа, попытался укусить револьвер. Эсэсовцы от души посмеялись, а Штайнбрэннер пришел в ярость; он чувствовал, что авторитет, приобретенный им во время лечения Иоиля Бухсбаума соляной кислотой, слегка потускнел, и решил, что при первой же возможности постарается вернуть себе уважение сослуживцев.

На обратную дорогу в этот раз ушло больше времени, и вечерняя поверка началась позже обычного. Убитых и раненых, как всегда, разложили в строгом порядке, по-военному, так, чтобы и они были в строю, каждый со своим блоком. Даже тяжелораненых не отправляли в лазарет и не перевязывали: поверка была важнее.

— Еще раз сначала! Шевелись! Если и на этот раз не получится, пеняйте на себя!

Лагерфюрер Вебер сидел верхом на стуле, который специально для него поставили на плацу. Тридцати пяти лет от роду, среднего роста, он обладал недюжинной силой. Широкое, загорелое лицо его было отмечено глубоким шрамом, от правого угла рта вниз к подбородку — память об одном из рукопашных сражений с боевиками «Железного фронта»^[2]. Положив руки на спинку стула, Вебер смотрел со скучающей миной на заключенных, среди которых с криком и руганью носились, как угорелые, эсэсовцы, старосты блоков и капо, щедро раздавая направо и налево удары и пинки.

Взмысленные старосты блоков приступили к повторной проверке. Вновь раздалось монотонное «один, два, три...»

Причиной возникших недоразумений были те, кого во время бомбежки на заводе разорвало в клочья. Заключенные, правда, изо всех сил старались разложить найденные головы, руки и ноги так, чтобы получился «комплект», но всего найти не удалось. Несмотря на все усилия, двух человек не хватало.

В темноте дело дошло даже до скандала: команды никак не могли поделить некоторые находки, прежде всего, конечно, головы. Каждому блоку хотелось предстать на поверке по возможности в полном составе, чтобы избежать суровых наказаний, полагавшихся за отсутствующих по неуважительным причинам. Поэтому они толкались и рвали друг у друга из рук окровавленные обрубки, пока не раздалась команда «смирно». Старосты блоков не сумели в спешке ничего придумать, и вот теперь не хватало двух тел. Вероятно, бомба разорвала их на мелкие куски, и они — либо улетели за заводскую стену, либо валяются где-нибудь на крышах.

К Веберу подошел рапортфюрер.

— Не хватает уже не двух, а одного с половиной: у русских оказалась лишняя нога, у поляков — рука.

Вебер зевнул.

— Дайте команду провести поименную переключку и выяснить, кого не хватает.

Ряды заключенных едва заметно покачнулись. Поименная переключка означала, что придется простоять еще час или два, если не больше — у русских и поляков, которые не знали немецкого, постоянно возникали какие-нибудь недоразумения с именами.

Переключка началась. Один за другим затрепетали на ветру голоса. Вскоре послышались ругань и удары. Раздраженные эсэсовцы лупили направо и налево, потому что пропадало их личное время. Старосты и капо делали то же самое из страха. То тут, то там валились наземь обессилевшие или сбитые ударом люди; под ранеными все ширились черные лужи крови. Пепельно-серые лица заострились и, казалось, слабо мерцали в густой тьме каким-то могильным блеском. Истекая кровью, они покорно смотрели вверх, на своих товарищей, которые, вытянув руки по швам, не смели помочь им. Непроходимый лес грязных полосатых штанин — для некоторых из них это было последнее, что они видели в этом мире.

Из-за крематория осторожно выползла луна. Она повисла прямо за трубой и некоторое время светила из-за нее каким-то мглистым заревом; казалось, будто в печах жгли духов, и потому из трубы рвалось наружу холодное пламя. Затем она медленно поднялась выше, и тупая труба стала похожа на миномет, который только что выплюнул в небо красное ядро.

В первой шеренге тринадцатого блока, последним с левого фланга, стоял заключенный Гольдштейн. Рядом с ним лежали раненые и убитые из этого блока. Один из раненых, тот, что лежал ближе всех к Гольдштейну, был его друг Шеллер. Краем глаза Гольдштейн заметил, что черное пятно под ногой Шеллера, развороченной осколками, стало вдруг быстро увеличиваться в размерах. Наложённая наспех повязка сползла или развязалась, и Шеллер истекал кровью.

Незаметно толкнув стоявшего рядом с ним Мюнцера, Гольдштейн боком повалился на землю, сделав вид, будто потерял сознание. Ему удалось упасть так, что он почти лежал на Шеллере.

Это была опасная затея. Взбешенный блокфюрер бегал вокруг строя, словно злая овчарка. Одного удара его тяжелого сапога в висок вполне хватило бы, чтобы отправить Гольдштейна на тот свет раньше срока. Заключение, стоявшие поблизости, не шевелились, но все украдкой наблюдали за происходящим.

Блокфюрер со старостой находились в этот момент на другом фланге. Староста о чем-то докладывал эсэсовцу. Он тоже заметил маневр Гольдштейна и старался задержать шарфюрера как можно дольше. Гольдштейн отыскал под собой наощупь веревку, которой была закреплена повязка на ноге Шеллера. Он видел прямо перед собой кровь и чувствовал запах сырого мяса.

— Брось... — прошептал Шеллер.

Гольдштейн нашел сбившийся на сторону узел и развязал его. Кровь хлынула еще сильнее.

— Все равно меня ждет «обезболивающий» укол, — шептал Шеллер. — С моей ногой...

Нога держалась лишь на нескольких жилах и лохмотьях кожи. Падая, Гольдштейн сдвинул ее в сторону, и она лежала теперь нелепо, неестественно, с вывернутой стопой, словно у нее вдруг появился третий сустав. Руки Гольдштейна были в крови. Он затянул узел потуже, но веревка опять сползла вниз. Шеллер вздрогнул от боли.

— Брось!..

Гольдштейн еще раз развязал узел. Он ощутил пальцами раздробленную кость. К горлу его подступил комок тошноты. Судорожно глотая, он запустил пальцы в скользкое, кровавое месиво, нащупал веревку, подтянул ее выше и вдруг замер: Мюнцер толкнул его носком башмака в подошву. Это был сигнал опасности. Почти в то же мгновение к нему, злобно пыхтя, подскочил блокфюрер.

— Ну вот, еще один ублюдок! Что тут опять такое?

— Свалился в обморок, господин шарфюрер. — Староста блока был тут как тут. — Подымайся, падаль ленивая! — закричал он на Гольдштейна и пнул его ногой по ребрам. Пинок выглядел гораздо сильнее, чем он был на самом деле. Староста затормозил ногу в последний момент. Потом пнул его еще раз. Он сделал это, чтобы помешать шарфюреру сделать это по-настоящему. Гольдштейн не шевелился. Лицо его заливала кровь Шеллера.

— Пошел, пошел! Брось его! — Шарфюрер устремился дальше. — Проклятье! Когда же мы наконец закончим?

Староста блока отправился вслед за ним. Гольдштейн выждал секунду, потом ухватился за веревку, соединил концы, завязал узел и снова натянул повязку с помощью деревяшки, которая несколько минут назад выскочила. Кровь перестала бить ключом и лишь медленно сочилась сквозь тряпку. Гольдштейн осторожно убрал руки — повязка держалась крепко.

Переключка закончилась. Сошлись на том, что не хватает одного русского, две трети которого бесследно исчезли, и верхней половины заключенного Сибельского из барака 5. Это было не совсем так. От Сибельского остались руки. Они находились во владении барака 17, где их выдали за останки Йозефа Бинсвангера, исчезнувшего без следа. В свою очередь двое из барака 5 украли нижнюю половину русского, чтобы выдать ее за Сибельского, — по ногам все равно трудно было бы установить личность. К счастью, нашлось еще несколько лишних частей тела, которые могли сойти за недостающую треть русского пленного. Таким образом было установлено, что во время бомбардировки никто из узников не убежал, воспользовавшись всеобщей неразберихой. И все же не исключено было, что их оставят стоять на плацу до утра, а потом отправят на завод продолжать поиски — недели две-три назад весь лагерь простоял двое суток, пока не нашли одного заключенного, который покончил с собой, забравшись в свинарник.

Вебер по-прежнему спокойно сидел на стуле, положив на руки подбородок. За все это время он почти ни разу не пошевелился. Выслушав доклад дежурного, он медленно встал и потянулся.

— Люди слишком долго простояли без движения. Им необходимо размяться. Приступить к занятиям по географии!

Во все концы апель-плаца понеслась команда:

— Руки за голову! Низкий сест — принять! Прыжками вперед — марш!

Длинные шеренги людей покорно опустились на корточки и прыжками, по-лягушечьи, медленно двинулись вперед. Луна тем временем поднялась еще выше и посветлела. Она уже высветила часть плаца. Другой конец его заслонили от луны здания, бросив на него свои тени. На земле четко обозначились очертания крематория, лагерных ворот и даже силуэт виселицы.

— Назад марш!

Шеренги запрыгали со света обратно во тьму. Многие, обессилев, падали на землю. Солдаты СС, капо и старосты блоков пинками и ударами поднимали их на ноги. Крики были почти не слышны из-за шарканья бесчисленных подошв по земле.

— Вперед! Назад! Вперед! Назад! Смирно!

Началась основная часть урока географии. Она состояла в том, что заключенные бросались на землю, ползли, по команде вскакивали, опять ложились и ползли дальше. Так они изучали землю «танцплощадки», подробно, до мельчайших бугорков и ямок, до боли. Через несколько мгновений плац уподобился растревоженной куче огромных полосатых червей, которые имели весьма отдаленное сходство с людьми. Они старались, как могли, защитить раненых. Но это плохо удавалось из-за спешки и страха.

Через четверть часа Вебер скомандовал отбой. Эти пятнадцать минут обошлись изнуренным узникам довольно дорого: повсюду валялись на земле те, кто не в силах был подняться.

— По блокам становись!

Люди потащились обратно на свои места, поддерживая со всех сторон пострадавших, которые еще могли кое-как переставлять ноги. Остальных положили рядом с ранеными.

Наконец, лагерь замер. Вебер выступил вперед.

— То, чем вы сейчас занимались, было в ваших собственных интересах. Вы научились находить укрытие во время воздушного налета.

Несколько ээсовцев захихикали.

Коротко взглянув на них, Вебер продолжал:

— Вы сегодня на собственной шкуре узнали, с каким бесчеловечным врагом нам приходится бороться. Германия, всегда стремившаяся к миру, подверглась жестокому нападению. Враг, разбитый на всех фронтах, в отчаянии прибегает к последнему средству: он трусливо бомбит в нарушение всех прав человека мирные немецкие города. Он разрушает церкви и больницы. Он убивает беззащитных женщин и детей. Ничего другого и не следовало ожидать от зверей и недочеловеков. Но мы не останемся в долгу. С завтрашнего дня руководство лагеря требует от вас лучших результатов в работе. Команды выступают на час раньше, для работ по расчистке улиц. Личное время по воскресеньям отменяется до особого распоряжения. Евреи на два дня лишаются хлебного пайка. Скажите спасибо вражеским головорезам-поджигателям.

Вебер замолчал. Лагерь затаил дыхание. Снизу, из долины, послышался шум мощного мотора, который быстро приближался, жужжа на высокой ноте. Это был мерседес Нойбауера.

— Запевай! — скомандовал Вебер. — «Германия превыше всего»!

Команду выполнили не сразу. Все были удивлены. В последние месяцы им не часто приказывали петь, а если это и случалось, то пели всегда народные песни. Как правило, петь их

заставляли, когда кого-нибудь наказывали. Заглушая крики истязаемых, заключенные пели лирические строфы. Но старый национальный гимн донацистских времен им не приходилось исполнять уже несколько лет.

— А ну-ка не спать, свиньи!

В тринадцатом блоке первым запел Мюнцер. Остальные подхватили мелодию. Кто не знал слов, делал вид, что поет. Главное, чтобы губы у всех шевелились.

— Почему? — шепнул Мюнцер своему соседу Вернеру, не поворачивая головы и продолжая делать вид, будто поет.

— Что — «почему»?

Пение было в этот раз больше похоже на карканье. Начали слишком высоко, и голоса срывались, не в силах дотянуться до высоких, ликующих нот последних строк. Да и дыхания не хватало, после «разминки».

— Что это еще за гнусное гавканье? — заорал второй лагерфюрер. — Еще раз сначала! Если и в этот раз не споете как следует, останетесь здесь до утра!

На этот раз запели ниже. Дело пошло на лад.

— Что — «почему»? — повторил Вернер.

— Почему именно «Германия, Германия превыше всего»?

Вернер прищурился.

— Может... они уже и сами... не верят своим собственным... нацистским песням... — пропел он.

Заключенные пели, уставившись куда-то вперед, словно загипнотизированные. Вернер чувствовал, что в нем растет какое-то странное напряжение. У него вдруг появилось ощущение, что напряжение это почувствовал не только он, но и Мюнцер, и лежащий на земле Гольдштейн, и все остальные и даже СС. Песня внезапно обрела совсем иное, необычное звучание: становясь все громче, она звучала уже почти вызывающе иронически, и слова ее уже не имели к этому никакого отношения. «Хоть бы Вебер ничего не заметил, — думал Вернер, не спуская глаз с лагерфюрера, — иначе сегодня будет еще больше мертвецов».

Лицо Гольдштейна почти касалось лица Шеллера. Он видел, что губы его шевелились, но не мог ничего разобрать. Однако, глядя в полужакрытые глаза друга, он без труда мог представить себе, что тот хотел ему сказать.

— Ерунда! У нас есть в лазарете свой человек, капо. Он это провернет. Ты выкарабкаешься!

Шеллер что-то ответил.

— Заткнись! — прокричал Гольдштейн сквозь шум. — Ты выкарабкаешься, понял? — Он видел прямо перед собой серую, пористую кожу. — Они не сделают тебе «обезболивающий» укол! У нас есть свой человек в лазарете! Он подкупит врача! — пропел, вернее провыл он вместе со всеми последние такты песни.

— Внимание!

Песня оборвалась. Комендант лагеря вышел на плац. Вебер доложил ему о результатах проверки.

— Я прочел этим бездельникам краткую проповедь и вlepил им час сверхурочной работы, — закончил он рапорт.

Нойбауера все это мало интересовало. Он втянул в себя носом воздух, посмотрел в ночное небо.

— Вернутся эти бандиты сегодня ночью или нет, как вы думаете?

Вернер ухмыльнулся:

— По последним радиосводкам мы сбили девяносто процентов...

Нойбауеру шутка не понравилась. «Этому тоже нечего терять, — подумал он. — Маленький

Дитц, наемник и больше ничего».

— Дайте команду развести людей по баракам, если вы закончили! — проворчал он неожиданно для самого себя.

— Развести людей по баракам!

Блоки один за другим стали покидать апель-плац. Раненых и убитых брали с собой. Мертвых до отправки в крематорий полагалось зарегистрировать и внести в списки. Вернер, Мюнцер и Гольдштейн подняли с земли Шеллера. Лицо его еще больше заострилось и стало похоже на лицо карлика. Было видно, что он вряд ли переживет эту ночь. Гольдштейн во время занятий по географии получил удар по носу. Когда они тронулись, у него опять пошла кровь. Черные струйки ее на подбородке слабо поблескивали в неверном свете.

Они свернули на дорожку, ведущую к их бараку. Ветер со стороны города усиливался, и когда они повернули за угол, он с остервенением набросился на них. Этот ветер, поднявшийся снизу, из долины, весь пропах дымом горящего города.

Лица заключенных оживились.

— Чувствуете? — спросил Вернер.

— Да. — Мюнцер поднял голову.

Гольдштейн ощутил солоноватый вкус крови на губах. Он сплюнул и попытался уловить запах дыма открытым ртом.

— Запах такой, как будто горит уже где-то здесь...

— Да...

Еще через несколько шагов они смогли даже увидеть этот дым. Он полз из долины сразу по всем дорожкам и тропинкам, ведущим на гору, и вскоре заполнил белым, легким туманом промежутки между бараками. Вернеру на какое-то мгновение показалось странным и почти непостижимым, что колючая проволока не сумела сдержать его, — как будто лагерь вдруг перестал быть таким непроницаемым и недоступным для внешнего мира, каким был всегда.

Они шли дальше вниз по дорожке. Они шли сквозь дым. Шаги их стали тверже, плечи расправились. Они осторожно и бережно несли Шеллера. Гольдштейн наклонился к нему.

— Ты тоже понюхай, слышишь? Понюхай этот запах! — твердил от тихо, с отчаянием и мольбой глядя в заострившееся, бескровное лицо.

Но Шеллер давно уже потерял сознание.

Глава пятая

В бараке было темно и смрадно. Света здесь уже давно не было.

— 509-й, — шепотом позвал Бергер. — Ломан хочет тебе что-то сказать.

— Умирает?

— Еще нет.

509-й пробрался на ощупь по узким проходам к закутку, где рядом с нарами белел матовый четырехугольник окна.

— Ломан!..

В ответ что-то зашуршало.

— Бергер с тобой?

— Нет.

— Позови его.

— Зачем?

— Позови его!

509-й так же на ощупь, спотыкаясь и наступая на спящих в проходе людей, отправился обратно. Вслед ему неслись проклятья. Кто-то впился зубами в его ногу. Он молотил по невидимой голове до тех пор, пока зубы не разжались.

Через несколько минут он вернулся обратно с Бергером.

— Это мы. Что ты хотел?

— Вот! — Ломан вытянул вперед руку.

— Что? — спросил 509-й.

— Подставь ладонь. Осторожно.

509-й нашел в темноте тощий и сухой, словно черепашня кожа, кулак Ломана. Кулак медленно раскрылся. Что-то крохотное, но тяжелое упало в ладонь 509-го.

— Держишь?

— Да. Что это? Это — ?..

— Да, — прошептал Ломан. — Мой зуб.

— Что? — придвинулся Бергер. — Кто это сделал?

Ломан захихикал. Почти беззвучно, словно призрак.

— Я.

— Ты? Чем?

— Гвоздем, — с нескрываемой радостью сообщил умирающий. — Обыкновенным маленьким гвоздиком. Два часа работы. Я его нашел. И выковырял зуб. — Ребячья гордость перемешалась в его словах с глубоким чувством исполненного долга.

— А где гвоздь?

Ломан пошарил рукой в темноте и протянул гвоздь Бергеру.

Тот поднес его к окну, затем тщательно ошупал.

— Грязь и ржавчина. Кровь была?

Ломан опять захихикал:

— Бергер, я не боюсь заражения крови.

— Подожди. — Бергер стал рыться в своей сумке. — Спички у кого-нибудь есть?

Спички были на вес золота.

— У меня нет, — ответил 509-й.

— Держи, — произнес кто-то со среднего яруса.

Бергер чиркнул спичкой. Вспыхнуло крохотное пламя. Они с 509-м заранее закрыли глаза,

чтобы вспышка не ослепила их, и сэкономили таким образом несколько секунд.

— Открой рот, — сказал Бергер Ломану.

Тот молча уставился на него.

— Не смеши, Бергер, — сказал он, наконец. — Продайте золото.

— Открой рот!

По лицу Ломана скользнула едва уловимая гримаса, которая, по-видимому, должна была означать улыбку.

— Оставь меня в покое... Как хорошо, что я еще раз увидел вас при свете.

— Я смажу тебе десну йодом. Сейчас, только принесу бутылку.

Бергер осторожно передал 509-му горящую спичку и отправился на ощупь к своим нарам.

— Гасите свет! — проскрипел чей-то голос из темноты.

— Заткнись! — ответил ему заключенный с третьего яруса, который дал спичку.

— Гасите свет! — не унимался голос. — Или вы хотите, чтобы часовые перестреляли нас тут всех, как собак?

509-й стоял спиной к окну, заслоняя собой горящую спичку. Заключенный с третьего яруса держал перед окном свое одеяло, а 509-й прикрывал крохотное пламя полкой куртки. Глаза Ломана были ясными. Они были слишком ясными. 509-й взглянул на спичку, которая еще не прогорела, потом на Ломана. Вспомнил, что знает его уже семь лет, и понял: живым он его уже никогда больше не увидит. Он слишком часто видел такие лица, чтобы не понимать этого.

Пламя жгло ему пальцы, но он держал спичку, преодолевая боль. Послышались шаги Бергера, и в тот же миг все исчезло, словно он внезапно ослеп.

— У тебя нет еще одной спички? — спросил он заключенного с третьего яруса.

— Держи. Последняя.

Последняя, повторил про себя 509-й. Пятнадцать секунд света. Пятнадцать секунд — для того, что вот уже сорок пять лет называется Ломаном. Пока еще называется. Последняя. Маленький трепещущий круг света.

— Гасите свет, заразы! Выбейте у него наконец спичку из рук!

— Никто не увидит, идиот!

509-й опустил спичку пониже. Бергер уже стоял рядом, с бутылкой йода в руке.

— Открой...

Он не договорил, отчетливо увидев лицо Ломана. Он напрасно ходил за йодом. Впрочем, он сделал это лишь для того, чтобы хоть что-нибудь сделать. Он медленно опустил бутылку в карман. Ломан спокойно, не мигая, смотрел на него. 509-й отвернулся. Разжав кулак, он посмотрел на маленький, тускло мерцающий комочек золота, потом опять на Ломана. Пламя жгло ему пальцы. Чья-то тень метнулась к нему сбоку и ударила его по руке. Свет погас.

— Спокойной ночи, Ломан, — сказал 509-й.

— Я потом еще загляну к тебе, — произнес Бергер.

— Брось... — прошептал Ломан. — Теперь... это... просто...

— Может, мы раздобудем еще пару спичек.

Ломан не ответил.

509-й чувствовал ладонью жесткое прикосновение увесистой коронки.

— Пошли, — шепнул он Бергеру. — Поговорим на воздухе. Чтобы никто не мешал.

Они с трудом пробрались к двери, вышли наружу и устроились на корточках с подветренной стороны барака. Город был скрыт от них светомаскировкой. Пожары тоже уже погасли. Только башня церкви Св. Катарини все еще горела, словно огромный факел. Это была древняя башня со множеством сухих балок внутри; пожарные, убедившись в тщетности своих усилий, предоставили ей догорать.

— Что же нам делать? — спросил 509-й.

Бергер тер свои воспаленные глаза.

— Если коронка зарегистрирована в канцелярии, — мы пропали. Они докопаются до истины и вздернут кое-кого. Меня в первую очередь.

— Он говорит, не зарегистрирована. Семь лет назад, когда он попал в лагерь, этого здесь еще не было. Золотые зубы тогда просто вышибали, но не регистрировали. Это началось позже.

— Ты точно знаешь?

509-й пожал плечами.

Они помолчали.

— Конечно, еще не поздно все рассказать и сдать коронку. Или, когда он умрет, сунуть обратно в рот, — сказал наконец 509-й и еще крепче сжал в руке маленький тяжелый комок. — Хочешь?

Бергер покачал головой. Золото означало жизнь. Лишних несколько дней жизни. Оба они знали, что теперь, когда она была у них в руках, они ни за что ее не сдадут.

— Он же мог в конце концов сам выковырять зуб, еще пару лет назад, и продать его? — спросил 509-й.

Бергер посмотрел на него.

— Ты думаешь, эсэсовцы поверят в это?

— Нет, конечно. Особенно, если заметят во рту свежую рану.

— Рана — это не так страшно: если он протянет еще пару часов, рана успеет затянуться, кроме того, это задний зуб. При осмотре его не так-то просто увидеть, если труп зачоченеет. Если он умрет сегодня вечером, к утру все будет нормально. А если завтра утром, — придется поддержать его здесь, пока он не зачоченеет. Это нетрудно. Хандке можно обмануть на утреннем осмотре.

509-й посмотрел на Бергера.

— Мы должны рискнуть. Нам нужны деньги. Сейчас — как никогда.

— Да. Тем более, что ничего другого нам не остается. А кто загонит зуб?

— Лебенталь, больше никому.

Сзади распахнулась дверь барака. Несколько человек вытащили кого-то за ноги и за руки наружу и поволокли к куче трупов в нескольких метрах от барака. В этой куче лежали те, кто умер после вечерней поверки.

— Это не Ломан?

— Нет. Это не наш. Какой-то мусульманин. — Избавившись от своей ноши, они покачиваясь, как пьяные, поплелись обратно — к бараку.

— Кто-нибудь мог заметить, что у нас коронка? — спросил Бергер.

— Не думаю. Там почти одни мусульмане. Разве что тот, который дал спички.

— Он что-нибудь сказал?

— Нет. Пока нет. Но он еще может потребовать свою долю.

— Это бы еще полбеды. Главное чтобы ему не показалось более выгодным продать нас.

509-й задумался. Он знал, что есть люди, которые ради куска хлеба способны на все.

— Непохоже, — сказал он, наконец. — Иначе зачем ему было давать нам спички?

— Это еще ничего не значит. Осторожность не помешает. Не то нам обоим крышка. И Лебенталю тоже.

509-й понимал и это. Он не раз видел, как людей вешали и за более мелкие проступки.

— Надо понаблюдать за ним, — заявил он решительно. — Хотя бы до тех пор, пока не сожгут Ломана и Лебенталь не загонит зуб. Потом он уже ничего не добьется.

Бергер кивнул:

— Я схожу в барак, на разведку. Может, разузнаю что-нибудь.

— Хорошо. Я побуду здесь. Подожду Лебенталя. Он скорее всего еще в Большом лагере.

Бергер ушел. Он и 509-й не побоялись бы никакого риска и не задумываясь бы сделали все, что только могло спасти Ломана. Но его уже ничто не могло спасти. Поэтому они говорили о нем, как о каком-нибудь булыжнике. Годы, проведенные в лагере, научили их мыслить трезво.

509-й сидел на корточках в тени уборной. Это было отличное место: здесь можно было сидеть сколько угодно, не привлекая внимания. В Малом лагере на все бараки была лишь одна общая, «братская» уборная, которая стояла на границе двух лагерей и к которой с утра до ночи тянулись бесконечные вереницы скелетов; стоны и шарканье не прекращались ни на минуту. Почти все страдали поносом или чем-нибудь похуже.

Многие валились с ног, так и не добравшись до цели, и лежали на земле, дожидаясь, когда появятся силы ковылять дальше.

Уборная была расположена между двумя рядами колючей проволоки, которые отделяли рабочий лагерь от Малого. 509-й устроился так, чтобы видеть проход, сделанный в этом заборе для СС-блокфюреров, старост блоков, дежурных, «похоронной» команды и «катафалка» — машины, забиравшей трупы. Из барака 22 проходом разрешалось пользоваться только Бергеру, который работал в крематории. Для всех остальных это было строго запрещено. Поляк Зильбер придумал для него название — «дохлые ворота». Заключение, списанные в Малый лагерь, могли вернуться через эти ворота только в качестве трупа. Часовые имели право стрелять, если кто-нибудь из скелетов попытается пройти в рабочий лагерь. Почти никто не пытался. Из рабочего лагеря тоже никто, кроме дежурных, сюда не заходил. Малый лагерь не просто был на положении карантина — для остальных заключенных он как бы перестал существовать, он был для них чем-то вроде кладбища, на котором мертвецы еще какое-то время продолжают бесцельно бродить, словно привидения, шатаясь из стороны в сторону.

509-му была видна часть улицы рабочего лагеря. Она кишела заключенными, которые использовали последние минуты своего свободного времени. Он смотрел, как они разговаривали друг с другом, собирались в кучки, расхаживали взад и вперед, и хотя это была всего лишь другая часть одного и того же концентрационного лагеря, ему казалось, что он отделен от них непреодолимой пропастью, что эти люди, там, по ту сторону забора — что-то вроде потерянной родины, на которой еще сохранилась жизнь и причастность каждого к судьбе товарищей. Он слышал позади монотонное шарканье башмаков. Ему не нужно было оборачиваться: он и так без труда мог представить себе мертвые глаза этих призраков. Они уже почти совсем не разговаривали — только стонали или вяло переругивались друг с другом; они утратили способность думать. Лагерные шутники прозвали их мусульманами. За то, что они полностью покорились судьбе. Они двигались, как автоматы, и давно лишились собственной воли; в них все погасло, кроме нескольких чисто телесных функций. Это были живые трупы. Они умирали, словно мухи на морозе. Малый лагерь был переполнен ими. Их — надломленных и потерянных — уже ничто не могло спасти, даже свобода.

509-й уже продрог до костей. Стоны и бормотание за спиной постепенно слились, превратились в серый, опасный поток: в нем легко можно было утонуть. Это был соблазн расслабиться, сдаться, — соблазн, против которого так отчаянно боролись ветераны. 509-й даже непроизвольно пошевелил рукой, повернул голову, словно желая убедиться, что он еще жив и обладает собственной волей.

В рабочем лагере слышались свистки — сигнал отбоя. Там, за забором, бараки имели свои собственные уборные и потому запирались на ночь. Кучки людей на дорожках рассыпались, как горох. Один за другим заключенные исчезали в темноте. Через минуту все затихло и опустело. Лишь в Малом лагере продолжалось печальное шествие теней, забытых

теми, кто жил по ту сторону колючей проволоки, списанных, изолированных призраков — последние крохи трепещущей от страха жизни во владениях неуязвимой смерти.

Лебенталь пришел не через ворота. 509-й увидел его неожиданно, прямо перед собой. Лебенталь наискось пересекал плац. По-видимому, он проник в лагерь где-то за уборной. Никто не понимал, как ему удается незаметно ускользнуть из лагеря и так же незаметно возвращаться обратно. 509-й не удивился бы, если бы ему сказали, что тот пользуется нарукавной повязкой старшего или даже капо.

— Лео!

Лебенталь остановился.

— Что? Осторожно! Там еще эсэсовцы. Пошли отсюда.

Они направились к баркам.

— Ты что-нибудь раздобыл?

— А что я должен был раздобыть?

— Еду, конечно, что же еще!

Лебенталь поднял плечи.

— «Еду, конечно, что же еще!» — повторил он, словно недоумевая, чего он него хотят. — Как ты это себе представляешь? Что я — кухонный капо?

— Нет.

— Ну вот! Чего же ты от меня хочешь?

— Ничего. Я просто спросил, не раздобыл ли ты чего-нибудь пожевать.

Лебенталь остановился.

— «Пожевать», — повторил он с горечью. — А ты знаешь, что евреи во всем лагере на два дня лишаются хлебного пайка? Приказ Вебера!

509-й с ужасом уставился на него.

— Правда?..

— Нет. Я это придумал. Я всегда что-нибудь придумываю. Это так забавно.

— Вот это новости! То-то будет мертвецов!

— Да. Горы. А ты спрашиваешь, раздобыл ли я что-нибудь поесть...

— Успокойся, Лео. Садись сюда. Черт возьми! Именно сейчас! Сейчас, когда нам так необходим каждый грамм жратвы!

— Вот как? Может, я еще и виноват, а? — Лебенталь затрясся. Он всегда трясся, когда волновался, а разволновать его было нетрудно: он был очень обидчив. Волнение означало у него не больше, чем машинальное постукивание пальцами по крышке стола. Причиной тому было постоянное чувство голода. Голод усиливал и, наоборот, гасил все эмоции. Истерия и апатия были в лагере как две родные сестры.

— Я делал все, что мог! — тихо причитал Лебенталь высоким, срывающимся голосом. — Я доставал, добывал, рисковал шкуркой, — и тут приходишь ты и заявляешь: нам так необходим...

Голос его вдруг захлебнулся в каком-то булькающем, хлюпающем болоте. словно один из лагерных громкоговорителей, в котором неожиданно пропал контакт. Лебенталь елозил руками по земле. Лицо его перестало быть похожим на череп оскорбленного до глубины костей скелета; это были просто лоб, нос, огромные лягушачьи глаза и мешок дряблой кожи с зияющей посредине дырой. Наконец, он отыскал на земле свою искусственную челюсть, обтер ее полкой куртки и сунул в рот. Отпавшийся проводок громкоговорителя вновь был подсоединен, и голос опять появился. Высокий и плаксивый.

509-й молча посмотрел на него, потом показал на город и горящую церковь:

— Ты спрашиваешь, что случилось, Лео? А вот что!

— Что?

— Там внизу. Видишь? Как сказано в Библии?

— При чем тут Библия?

— Что-то подобное ведь было при Моисее? Огненный столб, который вывел народ из рабства?

Лебенталь захлопал ресницами.

— Столб облачный днем и столб огненный ночью... — произнес он серьезно, позабыв о своих жалобах. — Ты это имеешь в виду?

— Да. И в нем был Бог, так?

— Йегова.

— Правильно, Йегова. А вот это там внизу — знаешь, что это такое? — 509-й помедлил секунду. — Это что-то похожее, — сказал он наконец. — Это надежда, Лео. Наша надежда! Черт побери, почему же никто из вас не хочет этого понять?

Лебенталь не отвечал. Он сидел рядом, весь обмякший, погруженный в себя, и смотрел вниз, на город. 509-й в изнеможении откинулся назад. Наконец-то он произнес это вслух, в первый раз. «Это почти невозможно выговорить, — подумал он. — Это слово бьет наповал, это — жуткое слово. Я избегал его все эти годы, иначе оно разъело бы меня изнутри. И вот оно опять всплыло, и я еще не решаюсь думать о том, что оно означает, но оно — уже здесь, и теперь оно или сломает меня, или станет реальностью».

— Лео, — сказал он, — то, что ты видишь там внизу, означает, что и вот это все полетит к черту.

Лебенталь не шевелился.

— Если они проиграют войну, — прошептал он чуть слышно. — Только тогда! Но кто это знает? — он непроизвольно обернулся, испугавшись своих собственных слов.

В последние годы лагерь был неплохо информирован о ходе войны. Но с тех пор, как кончились победы, Нойбауер запретил проносить на территорию лагеря газеты и передавать радиосводки об отступлении германских войск. После этого приказа бараки молниеносно переполнились самыми невероятнейшими слухами, и теперь никто уже не знал, чему верить. С войной что-то не ладилось, это знали точно, но революция, которой многие ждали столько лет, так и не произошла.

— Лео, — сказал 509-й, — они ее проиграли. Это конец. Если бы эта бомбежка случилась в первые годы войны, это ничего бы не значило. Но сегодня, через пять лет, она означает, что война проиграна.

Лебенталь вновь с опаской оглянулся назад.

— Зачем ты говоришь об этом?

509-й и сам знал тот неписанный суеверный закон, по которому все, что произносилось вслух, теряло силу, а любая обманутая надежда всегда оборачивалась тяжелой, невосполнимой тратой энергии. Это и было причиной кажущегося равнодушия, с которым остальные восприняли бомбежку.

— Я говорю об этом, потому что мы сейчас должны об этом говорить, — ответил он. — Самое время. Это поможет нам выстоять. На этот раз это не бабские сплетни. Осталось уже недолго. Мы должны... — он запнулся.

— Что «должны»? — спросил Лебенталь.

509-й и сам не знал этого толком.

«Выжить, — подумал он. — И не просто выжить.»

— Это гонки, Лео, — сказал он, наконец. — Гонки с... — «Со смертью», — подумал он про себя, но не произнес этого вслух. Он показал рукой в сторону эсэсовских казарм: — ...вот с

этими! Нам ни в коем случае нельзя сейчас проиграть. Впереди финиш, Лео! — Он схватил Лебенталья за рукав. — Мы должны все сделать...

— Что мы можем сделать?..

509-й почувствовал головокружение, словно после вина. Он уже отвык много думать и говорить. Ему давно не приходилось думать так много, как сегодня.

— Смотри, — сказал он и достал из кармана коронку. — Это зуб Ломана. Кажется, не зарегистрированный. Мы можем его продать?

Лебенталь взвесил коронку на ладони. Он, казалось, ничуть не удивился.

— Опасно. Это можно сделать только через кого-нибудь, кто выходит из лагеря или имеет связь с городом.

— Плевать — как. Что мы можем за нее получить? Это надо сделать быстро.

— Быстро такие дела не делаются. Тут надо помозговать. В таких вещах требуется осторожность, иначе можно оказаться на виселице или лишиться коронки, не получив за нее ни пфеннинга.

— Ты можешь попробовать прямо сегодня?

Лебенталь опустил руку с коронкой.

— 509-й, — вздохнул он, — еще вчера ты неплохо соображал.

— Вчера было давно.

В долине раздался грохот, а вслед за ним послышался ясный, звучный удар колокола. Огонь сожрал деревянные перекрытия колокольни, и колокол рухнул вниз.

Лебенталь испуганно пригнулся.

— Что это было? — спросил он.

509-й скривил губы:

— Знак, Лео. Это знак, который говорит, что вчера — было давно.

— Это колокол. Откуда в церкви мог взяться колокол? Они же переплавили все колокола на пушки.

— Не знаю. Может, забыли один. Ну так как насчет сегодня вечером? Нам нужна жратва на эти два дня без хлебного пайка.

Лебенталь покачал головой.

— Сегодня не получится. Именно поэтому. Сегодня четверг. Вечер отдыха в казарме СС.

— Ах вот оно что. Сегодня придут шлюхи?

— Откуда ты знаешь? — удивился Лебенталь.

— Какая разница! Я знаю, Бергер знает, Бухер знает и Агасфер тоже.

— А кто еще?

— Никто.

— Так. Вы знаете. Я и не заметил, что вы наблюдали за мной. Теперь буду осторожнее. Хорошо. Так вот, сегодня вечером.

— Лео, попробуй толкнуть коронку сегодня вечером. Это важнее. А здесь я могу тебя заменить. Давай мне деньги, я знаю, что надо делать. Это нетрудно.

— Ты знаешь, как это делать?..

— Да. Из ямы...

Лебенталь задумался.

— Есть один капо, в автоколонне. Завтра он поедет в город. Надо попробовать, может, клюнет. Ладно, хорошо. Может быть, я еще успею вернуться и сам займусь здесь.

Он протянул 509-му коронку.

— Зачем она мне? — удивился тот. — Ты же должен взять ее с собой!

Лебенталь презрительно покачал головой:

— Сразу видно, какой из тебя коммерсант! Ты думаешь, я получу что-нибудь, если она хоть на секунду попадет в лапы этим жуликам? Это делается не так. Если все будет хорошо, я вернусь и заберу ее. Спрячь пока. А теперь слушай сюда...

509-й лежал в ложбинке неподалеку от колючей проволоки, чуть ближе, чем это было разрешено. Здесь палисады делали резкий поворот, и потому этот участок местности плохо просматривался с пулеметных вышек, особенно ночью и в туман. Ветераны уже давно это поняли, но извлечь пользу из этого открытия сумел лишь Лебенталь.

Вся прилегающая к лагерю территория в радиусе нескольких сот метров была запретной зоной, доступ в которую был открыт только лицам, имевшим особое разрешение командования СС. Часть ее — контрольная полоса — была очищена от деревьев и кустарника, после чего к ней пристреляли пулеметы.

Лебенталь, наделенный сверхъестественным чутьем на все, что хоть как-то было связано с пищей, заметил, что уже несколько месяцев, каждый четверг, вечером, по дороге, ведущей мимо лагеря, проходят две девицы. Это были дамы из «Летучей мыши», пригородного увеселительного заведения. Их приглашали на неофициальную часть вечеров отдыха для солдат СС. Эсэсовцы с рыцарской щедростью разрешили им проходить через запретную зону. Это избавляло их от необходимости идти в обход, и они каждый раз экономили около двух часов. На то время, которое им было необходимо, чтобы миновать этот участок, со стороны Малого лагеря на всякий случай отключали ток. Руководство лагеря ничего об этом не знало; эсэсовцы делали это на свой страх и риск. Хотя рисковать им было нечем: никто из Малого лагеря не в состоянии был бежать.

Одна из этих девиц как-то раз, в порыве сиюминутной жалости, бросила Лебенталю через колючую проволоку кусок хлеба. Несколько слов, которые он успел шепнуть ей в темноте, и предложения в дальнейшем оплачивать подобные услуги оказалось достаточно: с тех пор они время от времени, особенно в дождливую погоду и в туман, приносили что-нибудь съедобное. Они незаметно бросали все это через проволоку, сделав вид, будто поправляют чулки или вытряхивают песок из туфель. Лагерь был полностью затемнен, и часовые с этой стороны частенько спали. Но даже если бы кто-нибудь из них заподозрил неладное, он бы не стал стрелять по девицам, а за те несколько минут, которые бы ему понадобились, чтобы спуститься, можно было спокойно унести ноги.

509-й услышал, как в городе рухнула башня. Столб огня взметнулся ввысь и разлетелся сотней пылающих мотыльков. Вскоре откуда-то издалека донеслись сигналы пожарных.

509-й ждал. Он вряд ли смог бы сказать, сколько времени прошло; время было в лагере пустым понятием. Наконец, из тревожной тьмы послышались голоса, а затем и шаги. Он выбрался из-под лебенталевского пальто, подполз к проволоке и прислушался. Слева приближались чьи-то легкие шаги. Он оглянулся — лагерь уже полностью погрузился во мрак, скрывший от него даже вереницы понуро бредущих мусульман. В то же мгновение он отчетливо услышал обрывок фразы, брошенной часовым:

— ...в двенадцать сменяюсь, значит, еще увидимся сегодня, а?

— Конечно, Артур! — ответил ему женский голос.

Шаги приближались. Вскоре 509-й уже мог различить на фоне неба два женских силуэта. Он посмотрел на пулеметные вышки. Вечер был темный и сырой, и он не мог видеть часовых, а значит, и они его — тоже. Он осторожно зашипел. Девицы остановились.

— Эй, ты где? — прошептала одна из них.

509-й поднял руку и помахал ей.

— Ах вон ты где. Деньги с собой?

— Да. Что у вас?

— Сперва гони монету. Три марки.

Деньги лежали в мешочке, к которому была привязана нитка. С помощью длинной палки он просунул их под проволокой на дорожку. Одна из девиц нагнулась, подняла деньги, торопливо пересчитала их и сказала:

— Лови!

Они достали из карманов пальто несколько картофелин и перебросили их через забор. 509-й ловил их, подставляя лебенталевское пальто.

— Теперь хлеб! — сказала вторая, та, что поплотнее.

Сквозь ряды колючей проволоки полетели куски хлеба. 509-й проворно сгребал их в кучу.

— Все! Больше ничего нет. — Девушки тронулись было дальше.

509-й зашипел.

— Ну что тебе? — спросила толстушка.

— Вы можете принести еще?

— Через неделю.

— Нет, сегодня, из казармы, на обратном пути. Они же вам дадут все, что вы захотите.

— Ты тот самый, что и всегда? — спросила толстушка и наклонилась вперед, вглядываясь в темноту.

— Они же все похожи друг на друга, Фритци, — сказала вторая.

— Я могу здесь подождать, — шептал 509-й. — У меня еще есть деньги.

— Сколько?

— Три.

— Нам пора, Фритци, — поторопила ее вторая. Все это время они громко топтались на месте, делая вид, будто продолжают шагать по дорожке, чтобы часовой ничего не заподозрил.

— Я могу ждать всю ночь. Пять марок!

— Ты что — новенький? — спросила Фритци. — А где тот, другой? Умер?

— Заболел. Он прислал меня вместо себя. Пять марок. А может быть, и больше.

— Пошли, Фритци. Нам нельзя здесь так долго торчать.

— Ну ладно. Посмотрим. Жди, если хочешь.

Девушки отправились дальше. 509-й слышал еще несколько секунд, как шуршали их юбки. Он отполз назад, волоча за собой пальто, и в изнеможении опустился на землю. У него было такое чувство, словно он вспотел. Но кожа его была совершенно сухой. Он повернулся и увидел Лебенталья.

— Порядок? — спросил Лео.

— Да. Вот картошка и хлеб.

Лебенталь наклонился к нему.

— Ну и стервы, — проговорил он, закончив осмотр. — Настоящие кровопийцы! Это же цены — еще почище, чем здесь, в лагере! Полторы марки хватило бы за глаза. Три марки! Да за три марки можно было с них и колбасы потребовать! Вот что значит — доверить другому такое ответственное дело!

509-й не слушал его.

— Лео, давай делить, — сказал он.

Они отползли за барак и разложили перед собой хлеб и картошку

— Картошка нужна мне, — заявил Лебенталь, — чтобы мне завтра было чем торговать.

— Нет, сейчас нам все нужно самим.

Лебенталь поднял голову.

— Да? А откуда я возьму деньги на следующий раз?

— У тебя же еще что-то осталось.

— И все-то ты знаешь!

Они стояли на четвереньках и смотрели друг другу в провалившиеся глаза, как два хищника перед схваткой.

— Сегодня ночью, на обратном пути, они принесут еще. Оттуда. Этим товаром торговать легче. Я сказал им, что у нас еще есть пять марок.

— Знаешь что?.. — начал было Лебенталь, но тут же умолк. — В общем, дело твое. Если у тебя есть деньги... — сказал он, выдержав паузу.

509-й не отрываясь смотрел ему в глаза. Наконец, Лебенталь, не выдержав, отвернулся и бессильно опустил на локти.

— Ты меня сведешь в могилу! — запричитал он тихо. — Чего ты хочешь? Зачем ты суешься не в свое дело?

509-й отчаянно боролся с желанием схватить картофелину, засунуть ее в рот, потом еще одну и еще, пока их никто не отнял.

— Как ты себе это представляешь? — бормотал Лебенталь. — Все сожрать, потратить все деньги, как идиоты — а потом?.. Где потом взять деньги?

Картошка. 509-й чувствовал ее запах. Хлеб. Руки не желали больше подчиняться разуму. Желудок свело от нестерпимой жажды пищи. Есть! Есть! Глотать! Быстро! Быстро!

— У нас есть коронка, — проговорил он с трудом и отвернулся. — Как с коронкой? Мы же получим за нее что-нибудь. Ты нашел кого-нибудь?

— Сегодня ничего не получается. Это долгая история. Надо рассчитывать только на то, что держишь в руках.

«Неужели он не хочет есть? — думал 509-й. — Что он болтает? Неужели у него от голода не разрывается желудок на части?»

— Лео, — сказал он, с трудом шевеля тяжелым языком, — подумай о Ломане. Если она доберется и до нас, будет поздно. Теперь каждый день на счету. Нам больше не нужно думать на целые месяцы вперед.

Со стороны женского лагеря донесся крик — тонкий и жалобный, словно зов испуганной птицы. Там какой-то мусульманин стоял на одной ноге, простирая руки к небу. Вторым пытался его сдержать. Казалось, будто они танцуют перед темными кулисами неба странно-нелепое «паде-де». Мгновение спустя они оба рухнули наземь, как два высохших деревца, и крик смолк.

509-й повернулся.

— Если мы станем такими, как эти, нам уже ничто не поможет, — сказал он. — Тогда нам крышка. Навсегда. Мы должны защищаться, Лео.

— Защищаться? Как?

— Защищаться, — уже спокойнее повторил 509-й. Он вновь обрел способность видеть. Запах хлеба уже не ослеплял его. — Чтобы выжить, — шепнул он почти беззвучно на ухо Лебенталю, — и отомстить...

Тот отпрянул:

— Я не хочу даже думать об этом!

509-й усмехнулся:

— Тебя никто и не заставляет. Ты только добывай жратву.

Лебенталь помолчал немного. Потом сунул руку в карман, достал деньги, пересчитал их, держа перед самыми глазами, и протянул 509-му.

— Здесь три марки. Последние. Теперь ты доволен?

509-й молча взял деньги.

Лебенталь разложил на земле хлеб и картошку.

— Чертовски мало — на двенадцать человек. — Он принялся считать.

— На одиннадцать. Ломан уже ничего не хочет. Да ему и не нужно уже ничего.

— Хорошо. Одиннадцать.

— Отнеси все Бергеру, Лео. Они ждут.

— Ладно. Вот твоя порция. Будешь ждать, пока они не вернутся?

— Да.

— Время еще есть. Они пойдут обратно не раньше часа, а то и двух.

— Ничего. Я подожду здесь.

Лебенталь пожал плечами.

— Если они опять принесут столько же, так не стоит и ждать. За такие деньги я могу и в Большом лагере добыть то же самое. Это же надо — такие цены! Ну и стервы!

— Да, Лео. Я попробую в этот раз быть умнее.

509-й опять забрался под пальто. Ему было холодно. Хлеб и две картофелины он держал в руке. «Сегодня ночью я ничего есть не буду, — подумал он и сунул хлеб в карман. — Я подожду до завтра. Если выдержу, значит...» — Он не знал, что это значило бы. Что-то такое... Что-то важное. Он попробовал понять — что, но ничего не получалось; мешали две картофелины в руке, одна большая и одна крохотная. Они были сильнее его. Он не выдержал, сунул в рот маленькую картофелину и проглотил ее в мгновение ока. Потом начал медленно-медленно жевать большую. Он не ожидал, что голод после этого станет еще невыносимей. Ему как ветерану следовало бы давно усвоить это; так было каждый раз, и каждый раз в это не хотелось верить. Он облизал пальцы и в отчаянии укусил себя за руку, чтобы не дать ей выхватить из кармана хлеб. «На этот раз я не позволю себе сразу же проглотить весь хлеб, как раньше! — думал он. — Я подожду до завтра. Сегодня я выиграл поединок с Лебенталем. Ему пришлось отдать мне три марки. Меня еще не сломали. У меня еще есть воля. Если я выдержу и не съем хлеб до завтра, значит... — В голове его шумел тяжелый, черный дождь. — Значит.. — Сжав кулаки, он посмотрел на горящую церковь. — Значит... Вот оно! Наконец-то: значит, я не животное. Не мусульманин. Не просто ходячий желудок, ненасытная утроба. Я ведь уже... это ведь... — Слабость вновь навалилась на него, рассудок грозил уступить искушению. — Я уже говорил это Лебенталю, но тогда у меня еще не лежал в кармане кусок хлеба. Говорить легко... Это ведь... сопротивление... это ведь... попытка снова превратиться в человека... это — начало...»

Глава шестая

Нойбауер сидел за столом в своем кабинете. Его собеседник, капитан медицинской службы Визе, маленький, похожий на обезьяну, с веснушками на лице и растрепанными рыжеватыми усиками, устроился напротив. Нойбауер был не в духе. И в его жизни бывали такие дни, когда все валится из рук и все дела идут наперекосяк. Последние новости в газете были слишком уж уклончивыми; дома Сельма замучила его своим нытьем; Фрейя бесшумно, как привидение, ходила по квартире с подозрительно покрасневшими глазами; два адвоката закрыли свои конторы в его торговой фирме, а тут еще является этот несчастный врачешка и надоедает ему своими просьбами.

— Сколько же вам нужно людей? — буркнул он недовольно.

— Пока хватит шести. С достаточно высокой степенью истощения.

Визе не имел отношения к лагерю. У него была небольшая клиника за городом, и это служило ему основанием считать себя деятелем науки. Он, как и некоторые другие врачи, занимался опытами над живыми людьми. Лагерь уже не раз предоставлял ему для этой цели заключенных. Он был в приятельских отношениях с бывшим гауляйтером, поэтому ему не задавали лишних вопросов. Трупы всегда аккуратно возвращались в лагерь и сдавались по всем правилам в крематорий. Этого было достаточно.

— Значит, вам нужны люди для клинических экспериментов? — спросил Нойбауер.

— Совершенно верно. Исследования для военной медицины. Пока, разумеется, секретные. — Визе улыбнулся, обнажив неожиданно крупные зубы, прятавшиеся под усами.

— Так-так. Секретные... — засопел Нойбауер. Он терпеть не мог этих высокомерных интеллигентов. Суют везде свой нос, корчат из себя неизвестно что и отбивают хлеб у старых бойцов, ветеранов партии. — Людей вы можете брать, сколько захотите. Мы будем только рады, если они еще хоть на что-нибудь сгодятся. От вас требуется только одно — письменное распоряжение.

Визе изумленно вскинул брови:

— Письменное распоряжение?

— Конечно. Письменное распоряжение вышестоящих инстанций.

— Но позвольте!.. Я не понимаю...

Нойбауер с трудом сдержал довольную усмешку. Он заранее предвидел реакцию капитана.

— Я и в самом деле ничего не понимаю, — повторил капитан. — До сих пор я прекрасно обходился без всяких бумаг.

Нойбауер знал это. Визе обходился без бумаг, потому что был приятелем гауляйтера. Но гауляйтера из-за какой-то темной истории отправили на фронт, и это давало Нойбауеру блестящую возможность насолить капитану.

— Да ведь это же чистая формальность, — охотно пояснил он. — Если армейское командование похлопочет за вас, вы без всяких проблем получите людей.

Визе был меньше всего заинтересован в этом. Армию он упомянул лишь для отвода глаз. Нойбауер знал и это. Визе нервно теребил усики.

— Я решительно не понимаю. До сих пор я получал людей без всякой волокиты.

— Для экспериментов? От меня?

— Здесь, в лагере.

— Тут, должно быть, какое-то недоразумение. — Нойбауер потянулся к телефону. — Сейчас мы все выясним.

Ему нечего было выяснять. Он и так прекрасно все знал. После нескольких фраз он

положил трубку.

— Все как я и предполагал, господин доктор. Раньше вы просили людей для легкой работы. И, разумеется, получали. В таких вещах наш отдел труда обходится без формальностей. Мы ежедневно обеспечиваем рабочей силой десятки предприятий. При этом люди остаются в распоряжении лагеря. В вашем случае все несколько иначе. Вы требуете людей для клинических опытов. Тут необходимо специальное распоряжение, так как заключенные официально покидают лагерь. Без приказа я не могу этого позволить.

Визе покачал головой.

— Какая разница? — заявил он раздраженно. — И раньше людей точно так же использовали для экспериментов, как и теперь.

— Этого я не знаю! — Нойбауер откинулся назад. — Я знаю только то, что сказано в документах. И я думаю, будет лучше, если мы все оставим как есть. Это явно не в ваших интересах — привлекать внимание властей к этому маленькому недоразумению.

Визе помолчал немного. Он понял, что сам попался на удочку.

— А если бы я попросил людей для легкой работы? Тогда бы вы выделили мне шесть человек?

— Конечно. Для этого у нас и существует отдел по вопросам труда.

— Прекрасно. В таком случае я прошу выделить мне шесть человек для легкой работы.

— Но позвольте, господин капитан! — воскликнул Нойбауер укоризненно, от души наслаждаясь триумфом. — Я не понимаю причин столь внезапных перемен в ваших планах. Сначала вы просите людей с высокой степенью физического истощения, а потом вдруг заявляете, что они нужны вам для легкой работы. Одно противоречит другому! Тот, кто у нас имеет эту самую степень истощения, — тот уже не сможет даже штопать носки, можете мне поверить! У нас здесь не курорт, а воспитательно-трудовой лагерь с образцовым, прусским порядком.

Судорожно глотнув, Визе резко вскочил и схватился за фуражку. Нойбауер тоже встал. Он был доволен, что ему удалось разозлить Визе. Но превращать капитана в своего врага вовсе не входило в его планы — а вдруг прежний гауляйтер в один прекрасный день вернется из своей опалы? Поэтому он сказал:

— У меня для вас другое предложение, господин доктор.

Визе повернулся. Он был бледен. Веснушки на его рыхлом лице теперь выделялись еще ярче.

— Слушаю вас!

— Если вам так срочно нужны люди, вы можете поискать добровольцев. Это избавит вас от формальностей. Если заключенный изъявляет желание послужить науке, мы ничего против не имеем. Это, правда, не совсем официально, но я, так и быть, возьму грех на душу. Особенно, если речь пойдет об этих тунеядцах-нахлебниках из Малого лагеря. Они подписывают соответствующее заявление — и дело в шляпе.

Визе медлил с ответом.

— В этом случае даже не требуется оплаты труда, — сердечно продолжал Нойбауер. — Официально люди находятся в лагере. Вы видите: я делаю все, что могу.

Визе все еще не доверял ему.

— Не знаю, что это вы вдруг стали таким несговорчивым. Я стараюсь для отечества...

— Мы все служим отечеству. И я вовсе не несговорчив. Просто мы любим порядок. Канцелярщина, знаете ли... Такому светилу науки, как вы, это может показаться ерундой, а для нас это — хлеб насущный.

— Значит, я могу забрать шесть добровольцев?

— И шесть, и десять, если хотите. Я даже дам вам в помощь первого лагерфюрера. Он проводит вас в Малый лагерь. Штурмфюрер Вебер. Очень толковый офицер.

— Прекрасно. Благодарю вас.

— Не стоит благодарности. Беседа с вами доставила мне истинное удовольствие.

Визе ушел. Нойбауер снял трубку телефона, попросил Вебера и кратко проинструктировал его.

— Пусть попотеет! Никаких приказов! Только добровольцы. Пусть уговаривает, пока не посинеет. Пусть хоть лопнет! Если никто не хочет, мы тут ни при чем.

Он положил трубку и ухмыльнулся. Плохое настроение как рукой сняло. Беседа с капитаном, этим интеллигентско-большевистским выскочкой, которому он так ловко показал, что и сам пока еще кое-что значит, подействовала на него благотворно. Особенно удачной была мысль о добровольцах. Пусть попробует найти дураков! Почти все заключенные уже знали, что к чему. Даже лагерный врач, тоже считавший себя ученым, вынужден был вылавливать свои жертвы по всему лагерю, где только мог, если для экспериментов нужны были здоровые люди. Нойбауер довольно хмыкнул и решил потом обязательно поинтересоваться, удалось ли Визе кого-нибудь найти.

— Рану видно?

— Почти не видно, — ответил Бергер. — Во всяком случае эсэсовцы вряд ли что-нибудь заметят. Это был задний зуб, второй с конца. Челюсть уже не разжать.

Они положили труп Ломана перед баракком. Утренняя поверка закончилась. Они ждали машину, забирающую трупы.

Агасфер стоял рядом с 509-м. Губы его шевелились.

— Ему каддиш^[3] не поможет, старик, — сказал 509-й. — Он был протестант.

— Но и не повредит, — ответил тот невозмутимо и снова забормотал.

Появился Бухер. Потом пришел Карел, мальчишка из Чехословакии. Ноги его были тоньше палок, а голова казалась непомерно большой для крохотного, величиной с кулак, личика. Он с трудом держался на ногах.

— Иди обратно, Карел, — сказал ему 509-й. — Здесь холодно.

Мальчуган помотал головой и подошел еще ближе. 509-й знал, почему он не уходил. Ломан иногда отдавал ему часть своего хлеба. А сегодня были похороны Ломана — без скорбного шествия за гробом, без кладбища, без траурно-горьковатого запаха цветов и венков, без слез и молитв. Они просто стояли и молча, с сухими глазами, смотрели на неподвижное тело, освещенное скудными лучами раннего солнца.

— Машина идет, — сказал Бергер.

Раньше в лагере была только «похоронная» команда. Но поскольку трупов становилось все больше и больше, пришлось завести лошадь с телегой, а когда лошадь издохла, ее заменил старый, давно отслуживший свое, приземистый грузовик с высокими бортами — в таких кузовах с обрешеткой обычно перевозят забитый скот. Грузовик этот тащился от барака к баракку, собирая трупы.

— А похоронная команда?

— Никого.

— Значит, нам придется грузить его самим. Позовите Вестхофа и Майера.

— Башмаки!.. — встрепенулся вдруг Лебенталь.

— Да, но у него должно быть что-нибудь на ногах. У нас есть что-нибудь подходящее?

— В бараке еще валяется какая-то рвань от Бухсбаума. Я принесу.

— Загородите меня! — приказал 509-й. — Быстро! Смотрите, чтобы никто не видел.

Он присел на корточки рядом с телом Ломана. Остальные встали так, чтобы его не могли видеть ни из грузовика, который остановился у барака 17, ни часовые на ближайших вышках. Он без труда снял туфли с ног Ломана: они были ему велики; высохшие ступни состояли из одних костей, обтянутых кожей.

— Ну где другая пара? Быстрей, Лео!

Лебенталь вышел из барака. Рваные башмаки он спрятал под курткой. Подойдя к 509-му, он незаметно уронил их ему под ноги. Тот сунул ему в руки другие. Лебенталь запихнул их под куртку, справа и слева, и, зажав их под мышками, направился обратно в барак. 509-й надел Ломану рваные ботинки Бухсбаума и с трудом поднялся. Машина стояла уже у барака 18.

— Кто там за рулем?

— Сам капо. Штрошнайдер.

Лебенталь вернулся обратно.

— Как же мы могли это забыть! — сказал он 509-му. — Подметки еще хорошие.

— Продать их можно?

— Можно обменять.

— Хорошо.

Подъехал грузовик. Тело Ломана лежало на солнце. Рот был приоткрыт и скошен набок. Один глаз поблескивал, как роговая пуговица. Никто не произносил ни звука. Все молча смотрели на него. Он был уже бесконечно далек от них.

Секции Б и В между тем уже погрузили свои трупы.

— Ну что встали? — закричал Штрошнайдер. — Священника ждете? А ну-ка, быстро этих вонючек наверх!

— Пошли, — сказал Бергер.

В секции Г в это утро было всего четыре трупа. Для трех в кузове еще нашлось место. Больше грузить было некуда. Ветераны не знали, куда им положить Ломана. Грузовик был битком набит уже закоченевшими трупами.

— Наверх! Бросайте наверх! — кричал Штрошнайдер. — Или мне помочь вам?.. Живо двое наверх, ленивые свиньи! Это единственное, что от вас еще требуется — подышать и грузить!

Им не под силу было поднять Ломана снизу на самый верх.

— Бухер! Вестхоф! — скомандовал 509-й. — Давайте!

Они снова положили труп на землю. Лебенталь, 509-й, Агасфер и Бергер помогли Бухеру и Вестхофу вскарабкаться на машину. Бухер был уже почти на самом верху, как вдруг остутился и закачался. В поисках опоры он ухватился за один из трупов. Как назло, именно этот труп еще не успел застыть и сполз вслед за ним на землю. Это было невероятно жалкое и унижительное зрелище: тело так покорно и легко соскользнуло вниз, словно это был не человек, а всего-навсего мягкая тряпичная кукла.

— Мать вашу за ногу! — заорал Штрошнайдер. — Что это еще за скотство!

— Быстро, Бухер! Еще раз! — шепнул 509-й.

Кряхтя от натуги, они вновь посадили Бухера наверх. На этот раз удачно.

— Сначала ее, — сказал 509-й. — Она мягче. Ее легче будет продвинуть вперед.

Это был труп женщины. Он был тяжелее, чем те, которые им приходилось грузить. На лице еще можно было различить губы. Она умерла не от голода. Вместо двух мешков кожи у нее были груди. Она была не из женского отделения, граничившего с Малым лагерем, иначе бы она была легче. По-видимому, она была из лагеря, в котором содержались евреи с южноамериканской визой. Там еще разрешалось членам семьи быть вместе.

Штрошнайдер вылез из кабины и посмотрел на женщину.

— Ну что, решили побаловаться с красоткой, а? Жеребцы! — Он оглушительно захохотал,

очень довольный своей шуткой.

Капо «похоронной» команды не обязан был собственноручно развозить трупы. Он делал это потому, что ему нравилось водить машину. Раньше он работал шофером и теперь никогда не упускал возможности подержать в руках руль. За рулем у него всегда было отличное настроение.

Наконец, восьмером они кое-как, дрожа от усталости, водрузили податливое тело обратно наверх. Потом принялись за Ломана. Штрошнайдер, чтобы как-то скоротать время, плевал в них жевательным табаком. После женщины Ломан показался им совсем легким.

— Зацепите его как-нибудь, — шептал Бергер Вестхофу и Бухеру. — Зацепите его рукой за что-нибудь.

Им удалось просунуть руку Ломана между досками обрешетки. Теперь она болталась снаружи, зато поперечная планка подмышкой надежно держала тело и не позволила бы ему соскользнуть с машины.

— Все! — выдохнул Бухер и в изнеможении сполз вниз.

— Ну что, готово? Саранча! — Штрошнайдер рассмеялся. Эти десять суетливо копошившихся скелетов показались ему очень похожими на огромных насекомых, которые вдесятером куда-то волокут своего дохлого, застывшего собрата.

— Саранча!.. — повторил он и посмотрел на ветеранов. Никто не смеялся. Тяжело дыша, они неотрывно смотрели на задний борт грузовика, над которым возвышался густой лес человеческих ног. Среди этого множества ног были и две детские ноги, обутые в грязные белые туфли.

— Ну что, тифозные ваши души, кто из вас будет следующий? — весело спросил Штрошнайдер, забираясь в кабину.

Никто не ответил. Настроение у Штрошнайдера окончательно испортилось.

— Дристуны несчастные!.. — проворчал он. — Хотя ваших гнилых мозгов даже на это не хватает...

Он неожиданно резко дал газ. Треск мотора вспорол воздух, как пулеметная очередь. Скелеты шарахнулись в сторону. Штрошнайдер удовлетворенно кивнул и развернул машину.

Они стояли, окутанные клубами синего дыма из выхлопной трубы, и смотрели вслед. Лебенталь закашлялся.

— Жирная, обожравшаяся свинья! — выругался он, отходя в сторону.

509-й остался стоять в дыму.

— Может, это помогает против вшей, — пояснил он.

Машина поехала в сторону крематория. Рука Ломана свисала через борт. Машину покачивало на ухабистой дороге, и рука болталась из стороны в сторону, словно махала на прощанье.

509-й смотрел вслед. Он нащупал в кармане золотую коронку. На какое-то мгновение ему почудилось, будто она исчезла вместе с Ломаном. Лебенталь все еще кашлял. 509-й повернулся. Он вдруг вспомнил про кусок хлеба в кармане, который до сих пор не съел. Он пощупал его, и кусок хлеба этот показался ему бесполезным утешением.

— Ну что с ботинками, Лео? — спросил он. — Что на них можно выменять?

По дороге в крематорий Бергер вдруг заметил идущих ему навстречу Вебера и Визе. Он тотчас же заковылял обратно.

— Вебер идет! С Хандке и каким-то штатским. По-моему, это живодер-лягушатник. Будьте осторожны!

Баракы сразу же превратились в растревоженные улы. Старшие офицеры СС почти никогда не бывали в Малом лагере, значит, что-то случилось.

— Агасфер, овчарку! Спрячь его! — крикнул 509-й.

— Ты думаешь, они будут проверять бараки?

— Не знаю. Может, и нет — с ними какой-то штатский.

— Где они? Время еще есть? — спросил Агасфер.

— Да. Только быстро!

«Овчарка» покорно легла на пол, и пока Агасфер гладил ее, 509-й связал сумасшедшему руки и ноги, чтобы тот не мог выскочить из барака. Он, правда, никогда не выходил наружу, но сегодняшний визит был необычным, и они решили не рисковать. Для верности Агасфер засунул ему в рот тряпку, так, чтобы тот мог дышать, но не мог залаять. После этого они затолкали его в самый темный угол. Агасфер поднял руку:

— Тихо! Место! Лежать!

«Овчарка» попробовала подняться.

— Лежать! Тихо! Место!

Сумасшедший покорно опустил на пол.

— Выходи строиться! — послышался с улицы голос Хандке.

Толкаясь и опережая друг друга, скелеты высыпали наружу и построились. Тех, кто сам не мог ходить, вывели под руки или вынесли и положили на землю.

Это было невысказанно жалкое зрелище полуживых, умирающих от голода и болезней людей. Вебер повернулся к Визе:

— Это то, что вам нужно?

Ноздри капитана затрепетали, словно он почуял запах жаркого.

— Превосходный материал!.. — пробормотал он и, надев очки в роговой оправе, принялся с живым интересом изучать шеренги заключенных.

— Вы сами хотите выбрать? — спросил Вебер.

Визе смущенно помялся:

— Мда. Э-э... Вообще-то речь шла о добровольном согласии...

— Ну хорошо, — снисходительно ответил Вебер. — Как вам будет угодно. Шесть человек — на легкую работу — выйти из строя!

Никто не шелохнулся. Вебер побагровел. Старосты блоков заголосили на все лады, дублируя команду, и стали поспешно выталкивать подчиненных вперед. Вебер лениво пошел вдоль строя. Вдруг он заметил в задней шеренге барака 22 Агасфера.

— Эй ты! С бородой! — крикнул он. — Выйти из строя! Ты что, скотина, не знаешь, что это запрещено — разгуливать по лагерю с бородой?.. Староста блока! Что это еще за фокусы? Зачем вы здесь находитесь? Выйти из строя, я сказал!

Агасфер вышел из строя.

— Слишком стар, — пробормотал Визе и удержал Вебера. — Я думаю, надо попробовать иначе.

— Друзья мои! — начал он ласково. — Вас всех нужно госпитализировать. В лагерном лазарете не осталось ни одной свободной койки. Шестерых я мог бы разместить у себя. Вам необходимы бульон, мясо, словом, усиленное питание. Шесть человек — те, кто больше всех нуждается в этом, — пять шагов вперед.

Желающих по-прежнему не было. В такие сказки здесь никто уже не верил. Тем более что ветераны узнали Визе. Они знали, что он уже не раз приезжал за людьми. Никто из них не вернулся.

— Вам, наверное, некуда девать жратву? — рявкнул Вебер. — Этому горю легко помочь. Шесть человек — выйти из строя. Да поживей!

В секции В какой-то скелет вывалился из строя и замер на месте, покачиваясь на ветру.

— Вот и хорошо, — одобрительно сказал Визе, придирчиво оглядывая его со всех сторон. — Мы уж вас поставим на ноги.

За первым последовал еще один. И еще. Все трое попали сюда недавно.

— А ну живее! Еще трое! — кричал Вебер, который уже начинал терять терпение. Эту выдумку с добровольцами он рассматривал как плод дурного настроения или похмельного синдрома Нойбауера. Приказ из канцелярии — и шесть человек тут как тут. Точка!

— Я лично гарантирую вам хорошее питание, друзья мои! — уговаривал Визе. Уголки его губ подрагивали. — Мясо, какао, бульон!

— Господин капитан, — перебил его Вебер. — Этот сброд не понимает, когда с ними так говорят.

— Мясо!.. — как загипнотизированный, повторил стоявший рядом с 509-м скелет Вася.

— Конечно, дорогой вы мой! — живо повернулся к нему Визе. — Ежедневно. Каждый день мясо.

Вася принялся жевать. 509-й предостерегающе толкнул его локтем. Это движение почти невозможно было заметить. Однако Вебер заметил его.

— Ах ты скотина! — Он ударил его ногой в живот. Удар был не очень сильный. Это было, как считал Вебер, не наказание, а предостережение. Но 509-й упал.

— Встать, симулянт!

— Ну что вы, зачем же так, — бормотал Визе, удерживая Вебера, — мне они нужны целыми.

Он склонился над 509-м и ощупал его. Вскоре 509-й открыл глаза. Он не смотрел на Визе. Он смотрел на Вебера.

Визе выпрямился:

— Вам необходимо в госпиталь, друг мой. Мы позаботимся о вас.

— У меня все в порядке, — выдохнул 509-й и с трудом поднялся на ноги.

Визе улыбнулся:

— Я врач, мне виднее. — Он повернулся к Веберу. — Так, это еще двое. Нужен еще один. Помоложе. — Он указал на Бухера, тоже стоявшего рядом с 509-м. — Может быть, этот?

— Марш! Вперед!

Бухер встал рядом с 509-м и остальными. Вебер тем временем заметил через образовавшийся в строю пробел чешского мальчика Карела.

— А вот еще один дохляк. Хотите его в придачу?

— Благодарю вас. Мне нужны взрослые. Этих шестерых вполне достаточно. Очень вам признателен.

— Хорошо. А вы — через пятнадцать минут доложите в канцелярии о прибытии. Староста блока! Переписать номера! И не забудьте умыться, грязные свиньи!

Они стояли, словно пораженные молнией. Никто не произнес ни слова. Они знали, что все это означает. Один лишь Вася улыбался. От голода у него помутился разум, и он все принял за чистую монету. Трое новеньких неподвижно стояли, тупо уставившись в пустоту; они покорно исполнили бы любой приказ, даже если бы от них потребовали броситься на колючую проволоку, заряженную электричеством. Агасфер лежал на земле и стонал. Хандке обработал его своей дубинкой, как только Вебер и Визе ушли.

— Йозеф! — позвал кто-то слабым голосом со стороны женского лагеря.

Бухер не шелохнулся. Бергер толкнул его:

— Это Рут Холланд.

Женский лагерь располагался слева от Малого лагеря и был отделен от него двумя рядами

незаряженной колючей проволоки. Он состоял из двух небольших барачков, построенных уже во время войны, когда опять начались массовые аресты. До этого женщин в лагере не было. Два года назад Бухер работал там около месяца столяром. Тогда он и познакомился с Рут Холланд. Изредка им удавалось украдкой поговорить друг с другом несколько минут. Потом Бухера перевели в другую команду. Они увиделись снова лишь после того, как он попал в Малый лагерь. Иногда, ночью или в туман, они шепотом переговаривались через проволоку.

Рут Холланд стояла за забором, отделявшим оба лагеря друг от друга. Ветер трепал подол ее полосатого халата и хлестал им по ее тонким ногам.

— Йозеф! — еще раз позвала она.

Бухер поднял голову.

— Отойди от проволоки. Тебя увидят!

— Я все слышала. Не делай этого!

— Отойди от проволоки, Рут. Часовой будет стрелять.

Она покачала головой. Ее коротко подстриженные волосы были совершенно седыми.

— Почему именно ты? Останься здесь! Не ходи! Останься, Йозеф!

Бухер беспомощно посмотрел на 509-го.

— Мы вернемся, — ответил тот за него.

— Он не вернется. Я знаю. И ты тоже знаешь. — Она впила пальцами в проволоку. —

Никто никогда не возвращается.

— Иди обратно, Рут. — Бухер покосился на пулеметные вышки. — Здесь стоять опасно.

— Он не вернется! Вы все это знаете!

509-й не отвечал. Отвечать было нечего. Он словно заполнился пустотой. Все чувства покинули его. Он ничего не чувствовал — ни по отношению к другим, ни по отношению к себе самому. Все было кончено, он знал это. Знал, но не чувствовал. Он чувствовал только, что ничего не чувствует.

— Он не вернется, — еще раз повторила Рут Холланд. — Пусть он останется.

Бухер не отрываясь смотрел в землю. Он был слишком оглушен случившимся, чтобы слышать ее слова.

— Пусть он останется, — твердила Рут Холланд. Это было похоже на заклинания. Монотонные, без эмоций. Это было уже за пределами всех эмоций.

— Пусть пойдет кто-нибудь другой. Он молод. Пусть вместо него пошлют кого-нибудь другого...

Никто не отвечал. Все понимали, что Бухеру придется идти, Хандке переписал их номера. Да и кто захотел бы пойти вместо него?

Они стояли и смотрели друг на друга. Те, кто должен был уйти, и те, кто оставался. Они смотрели друг на друга. Если бы вдруг сверкнула молния и сразила Бухера и 509-го, это было бы не так мучительно. Невыносимой для них была та безмолвная ложь, которую они читали в глазах друг у друга: «почему я? именно я?» — у одних и «слава Богу, не я! не я!» — у других.

Агасфер медленно поднялся с земли, постоял несколько мгновений, устремив невидящий взгляд в землю, потом, словно опомнившись, забормотал что-то себе под нос.

Бергер повернулся к нему.

— Это я виноват, — всхлипнул вдруг старик. — Я... моя борода... из-за нее он подошел к нам! Если бы не борода, ничего бы не было... Ой-ёй-ёй!..

Он ухватился обеими руками за бороду и стал трепать ее из стороны в сторону. Лицо его заливали слезы. Он был слишком слаб, чтобы вырвать волосы. Сидя на земле, он беспомощно тербил свою бороду, и голова его болталась, как у куклы.

— Ступай в барак! — резко сказал Бергер.

Агасфер уставился на него. Потом бросился ничком на землю и завыл.

— Нам пора, — произнес 509-й.

— А где коронка? — спросил Лебенталь.

509-й сунул руку в карман и протянул ее Лебенталью:

— Держи.

Лебенталь взял ее. Его трясло.

— Вот он, твой Бог! — пролепетал он и махнул рукой в сторону города и сгоревшей церкви. — Вот они, твои знаки! Твои огненные столбы!..

509-й еще раз полез в карман. Доставая коронку, он наткнулся на кусок хлеба. Выходит, он напрасно терпел всю ночь и все утро. Он протянул хлеб Лебенталью.

— Ешь сам! — в бессильной ярости ответил Лебенталь. — Он твой.

— Мне он уже не поможет.

Какой-то мусульманин заметил хлеб. С широко раскрытым ртом он проворно подковылял к 509-му, уцепился ему за руку и попробовал выхватить хлеб зубами. Тот оттолкнул его и сунул хлеб в руку Карела, который все это время молча стоял рядом с ним. Мусульманин потянулся к Карелу. Тот невозмутимо пнул его точно в берцовую кость. Мусульманин зашатался, и его тут же оттолкнули в сторону.

Карел посмотрел на 509-го.

— Вас куда — в газовую камеру? — спросил он деловито.

— Здесь нет газовых камер, Карел. Пора бы тебе уже это запомнить, — сердито объяснил Бергер.

— В Биркенау нам говорили то же самое. Если они вам дадут полотенца и скажут, что нужно помыться, значит — газ.

Бергер оттеснил его в сторону:

— Иди и ешь свой хлеб, пока никто не отобрал.

— Не отберут! — Карел закинул хлеб в рот. Он спросил просто так, без всякого злого умысла — так обычно спрашивают приятеля, куда тот держит путь. Он вырос в концентрационных лагерях и не знал ничего другого.

— Пошли, — сказал 509-й.

Рут Холланд заплакала. Пальцы ее, впившиеся в проволоку, были похожи на птичьи когти. Она стонала, обнажив зубы. Слез у нее не было.

— Пошли, — повторил 509-й. Он еще раз скользнул взглядом по лицам остающихся. Большинство уже равнодушно расплзлось по своим нарам. Только ветераны и еще несколько человек стояли с ними.

Ему вдруг показалось, что он не сказал еще что-то страшно важное. Что-то, от чего все зависит. Он отчаянно, изо всех сил, старался оформить это что-то в мысли и слова, но у него ничего не получалось.

— Не забывайте это, — просто сказал он, наконец.

Никто не ответил. Он видел, что они забудут. Они слишком часто видели такое. Бухер бы, может быть, не забыл, он был еще молод. Но он уходил вместе с ним.

Они шли по дорожке, с трудом передвигая непослушные ноги. Они не вымылись — приказ Вебера был просто шуткой. В лагере постоянно не хватало воды. Они шли вперед. Они не оглядывались. Остались позади ворота, разделявшие два лагеря. «Дохлая ворота». Вася вновь принялся жевать, громко причмокивая. Трое новеньких шли, как автоматы. Они поравнялись с первыми бараками рабочего лагеря. Их обитатели давно уже были на работах. Тоскливо-неприкаянный вид пустых бараков вызывал тягостное чувство, но 509-му показалось в эту минуту, что на свете не может быть ничего роднее и желаннее этих бараков. Они вдруг

превратились в осязаемый образ Жизни, в недоступное для него прибежище. Ему захотелось спрятаться в одном из этих бараков, забиться в самый дальний и темный угол, как можно дальше от этой ухабистой дороги, неумолимо ведущей в небытие. Не дожил два месяца, думал он тупо. А может быть, всего две недели. Все зря. Зря.

— Товарищ! — раздался вдруг совсем рядом чей-то голос. В этот момент они проходили мимо барака 13. Человек, окликнувший его, стоял у двери. Лицо его было покрыто клочками черной щетины.

509-й поднял голову.

— Не забываете это, — пробормотал он. Он не знал этого человека.

— Мы не забудем это, — ответил незнакомец. — Куда вас?..

Оставшиеся в бараках заключенные видели Вебера и Визе. Они понимали, что все это было неспроста.

509-й остановился. Он посмотрел на человека, стоявшего у двери барака. Стряхнув с себя оцепенение, он вновь вспомнил о том важном, что он еще должен был сказать, о том, чему нельзя было пропасть, потеряться.

— Не забывают это! — прошептал он страстно. — Никогда! Никогда!

— Никогда! — повторил незнакомец твердым голосом. — Куда вы идете?

— В какой-то госпиталь. Подопытными кроликами. Не забывают этого. Как тебя звать?

— Левинский, Станислав.

— Не забывай этого, Левинский, — сказал 509-й. Ему казалось, что с именем это звучит более убедительно. — Левинский, не забывай этого.

— Я никогда этого не забуду.

Левинский коснулся рукой его плеча. Для 509-го это было чем-то большим, чем просто прикосновение. Он еще раз кивнул ему. Лицо его чем-то отличалось от лиц в Малом лагере. 509-й почувствовал, что его наконец-то поняли. Он отправился дальше. Бухер ждал его. Вместе они догнали остальных, которые не останавливаясь брели по дороге.

— Мясо... — бормотал Вася. — Суп и мясо...

Спертый воздух канцелярии был пропитан застарелым запахом сапожного крема. Капо уже приготовил бумаги.

— Распишитесь здесь, — сказал он, безо всякого выражения посмотрев на шестерых заключенных.

509-й взглянул на стол. Он не понимал, с чего это вдруг потребовались их подписи. Заключенным отдавали приказ, без всяких подписей. Вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Это был один из писарей, сидевший за спиной у капо. Поймав взгляд 509-го, он едва заметно повернул голову справа налево.

Вошел Вебер. Все застыли по стойке «смирно».

— Продолжайте! — бросил он и взял со стола бумаги. — Еще не готово? Быстро! Распишитесь здесь!

— Я не умею писать, — сказал Вася, стоявший ближе всех к столу.

— Значит, ставь три креста.

Вася поставил три креста.

— Следующий!

Трое новеньких один за другим подошли к столу и расписались. 509-й тем временем лихорадочно соображал. У него появилось ощущение, что еще должен быть какой-то выход. Он еще раз взглянул на писаря, но тот уткнулся в свои бумаги и не поднимал головы.

— Твоя очередь! — зарычал Вебер. — Что размечтался?

509-й взял со стола листок. Глаза плохо слушались его, несколько машинописных строк путались и расплывались.

— Ты еще и читать тут собрался? — Вебер толкнул его. — Подписывай, пес шелудивый!

Того, что 509-й успел прочесть, было вполне достаточно: «...изъявляю добровольное желание...» Он положил листок обратно на стол. Вот она — последняя, отчаянная попытка! Это и имел в виду писарь.

— А ну живее, дохлая кляча! Или ты хочешь, чтобы я тебе помог?

— Я не изъявляю добровольного желания, — сказал 509-й.

Капо уставился на него, раскрыв рот. Писари изумленно подняли головы, но тут же уткнулись в свои бумаги. Наступила гробовая тишина.

— Что? — переспросил Вебер, еще не веря своим ушам.

509-й набрал в грудь воздуха.

— Я не изъявляю добровольного желания.

— Значит, ты отказываешься подписать бумагу?

— Да.

Вебер провел языком по губам.

— Так. Значит, ты не подпишешь? — Он взял левую руку 509-го, завел ее за спину и рванул вверх. 509-й упал. Вебер крепко держал его вывернутую руку, и теперь, потянув ее вверх, он приподнял 509-го от пола и наступил ему на спину. 509-й вскрикнул и затих.

Вебер взял его второй рукой за шиворот и поставил на ноги, но тот опять повалился на пол.

— Слабак! — презрительно буркнул Вебер. Потом, открыв дверь в соседнюю комнату, позвал:

— Кляйнерт! Михель! Возьмите-ка эту кисейную барышню и приведите в чувство. Оставьте его там. Я сейчас приду.

509-го выволокли из комнаты.

— Давай! — обратился Вебер к Бухеру. — Подписывай!

Бухера била дрожь. Он не хотел дрожать, но ничего не мог с собой поделать. Он вдруг остался один. 509-го с ним больше не было. Все в нем кричало о смирении. Он чувствовал, что если сейчас же не сделает того, что сделал 509-й, то будет поздно, и он послушно, как автомат, исполнит любой приказ.

— Я тоже не подпишу, — пролепетал он.

Вебер ухмыльнулся.

— Смотри-ка! Еще один... Прямо как в старые добрые времена!

Бухер даже не успел почувствовать удара. Его мгновенно проглотила черная ревущая бездна. Очнувшись, он увидел над собой Вебера. «509-й... — подумал он тупо. — 509-й на двадцать лет старше меня. С ним он сделал то же самое. Я должен продержаться!» В ту же секунду какой-то свирепый дракон впился железными когтями в его плечи, обдав их невыносимым жаром из огнедышащей глотки, и все вновь пропало.

Во второй раз он очнулся уже в другом помещении, лежа на цементном полу, рядом с 509-м. Откуда-то издалека, словно сквозь шум прибоя, доносился голос Вебера:

— Я мог бы заставить кого-нибудь расписаться за вас и весь разговор. Но я не сделаю этого. Для начала я спокойно, не спеша, сломя ваше упрямство. Вы сами подпишете. Вы будете ползать на коленях и умолять меня, чтобы я позволил вам подписать бумагу. Если, конечно, вы еще в состоянии будете это сделать.

Голова Вебера четко выделялась на фоне видневшегося в окне неба. 509-му она показалась огромной. Эта голова означала смерть, а небо за ней — жизнь. Жизнь! Плевать, какая! Разбитая, вшивая, окровавленная — прожить еще хоть час, хоть минуту, несмотря ни на что! Но тут опять

навалилось деревянное бесчувствие, крохотные милосердные огоньки нервов вновь погасли, погрузив его в спасительный мрак. «Зачем я сопротивляюсь? — тяжело подумал кто-то за него, когда он опять пришел в себя. — Какая разница, забьют ли меня здесь насмерть, или я подпишу и меня отправят на тот свет с помощью шприца, быстрее, чем здесь, и без боли?..» Потом он услышал свой собственный голос, которым говорил кто-то другой:

— Нет... я не подпишу... можете забить меня насмерть...

Вебер рассмеялся:

— Да-да, тебе бы, конечно, очень этого хотелось, скелетина! Чтобы все поскорее кончилось, верно? Не-ет, «забить насмерть» — эта процедура у нас длится неделями. А мы только начинаем.

Он опять взял в руку ремень с пряжкой. Первый удар пришелся 509-му в переносицу. Глаза остались целыми: они слишком глубоко ввалились. Второй рассек губы. Они треснули, как сухой пергамент. После двух-трех ударов пряжкой по черепу он снова потерял сознание.

Вебер отодвинул его в сторону и принялся за Бухера. Тот пытался уворачиваться от ударов, но был слишком неповоротлив. Вебер попал ему по носу. Он скорчился, и тот ударил его ногой в пах. Бухер закричал. После этого он еще успел почувствовать, как пряжка несколько раз впилась ему в затылок и шею, и провалился в бушующую мглу.

Он смутно слышал чьи-то голоса, но глаза не открывал и не шевелился. Он знал, что пока он не подает признаков жизни, бить его не станут. Голоса неслись над ним нескончаемым потоком. Он пытался не слушать их, но они становились все отчетливее и все глубже проникали в его сознание, все больнее впивались в его мозг.

— Сожалею, господин доктор, но если люди не хотят... Вы же видите, Вебер пытался их убедить!

Нойбауер был в прекрасном расположении духа. Результат превзошел все его ожидания.

— Кстати, это вы его об этом попросили? — спросил он у Визе.

— Разумеется, нет.

Бухер попробовал осторожно приоткрыть глаза. Но они плохо слушались его; оба века подпрыгнули вверх, как у куклы с открывающимися глазами. Он увидел Визе и Нойбауера. Потом он заметил 509-го. Тот тоже лежал с открытыми глазами. Вебера в комнате не было.

— Разумеется, нет! — повторил Визе. — Как цивилизованный человек я...

— Как цивилизованный человек, — перебил его Нойбауер, — вы хотите забрать этих людей для своих экспериментов, не так ли?

— Это необходимо для науки. Наши опыты помогут сохранить десятки тысяч других жизней. Неужели вы не понимаете этого?

— Понимаю. А вы — неужели вы не понимаете, что вот это все — вопрос дисциплины, не менее важный вопрос?

— Каждый судит со своей колокольни, — надменно произнес Визе.

— Конечно, конечно. Мне очень жаль, что я не смог сделать для вас больше. Но у нас не принято заставлять заключенных делать то, чего они не хотят делать. А эти двое, похоже, не торопятся покидать лагерь. — Он повернулся к 509-му и Бухеру. — Значит, вы хотите остаться в лагере?

509-й беззвучно пошевелил губами.

— Что? — грозно переспросил Нойбауер.

— Да, — ответил 509-й.

— А ты?

— Я тоже, — прошептал Бухер.

— Вот видите, господин капитан! — улыбнулся Нойбауер. — Людям нравится здесь. Тут уж

ничего не поделаешь.

Визе не ответил на улыбку.

— Дурачье! — презрительно бросил он в сторону 509-го и Бухера. — На этот раз речь действительно шла о простых опытах по искусственному вскармливанию.

Нойбауер выпустил облако дыма из рта.

— Тем лучше — двойное наказание, за несоблюдение субординации. Впрочем, если хотите, можете попробовать еще раз, может быть, вам удастся найти еще двух добровольцев, господин доктор.

— Благодарю вас, — холодно ответил Визе.

Проводив капитана, Нойбауер вернулся в комнату, окутанный синим облаком табачного дыма. 509-й почувствовал его запах и вдруг ощутил в легких жгучую, немилосердную потребность в никотине. Она, казалось, не имела к нему самому никакого отношения; это была какая-то чужая, посторонняя потребность, которая словно когтями впиалась в его легкие. Сам того не замечая, он глубоко дышал, стараясь уловить хоть крохотную часть этого дыма, и одновременно следил краем глаза за Нойбауером. Он никак не мог понять, почему их не отправили с Визе. Наконец, его осенило. Было только одно объяснение: они отказались выполнить приказ офицера СС и должны теперь за это подвергнуться публичному наказанию. Вид наказания не вызывал сомнений. Здесь людей вешали за неподчинение простому капо, не говоря уже об офицерах. Он понял, что совершил ошибку, отказавшись подписать бумагу. У Визе они все-таки имели бы маленький шанс. А теперь их уже ничто не спасет.

Мучительное раскаяние сдавило ему горло, свело судорогой желудок, затмило разум, и в то же время он странно-отчетливо чувствовал безумное, испепеляющее желание курить.

Нойбауер взгляделся в номер на груди 509-го. Это был маленький номер.

— Давно в лагере? — спросил он.

— Десять лет, господин оберштурмбаннфюрер.

Десять лет. Нойбауер и не подозревал, что в лагере еще были заключенные, попавшие сюда в первые годы режима. «Это лишний раз подтверждает, что на меня им грех жаловаться, — подумал он. — Не много наберется лагерей, в которых еще остались такие старожилы. — Он затыкнулся. — В один прекрасный день это может обернуться выгодой. Никогда не знаешь, что будет завтра.»

Вошел Вебер. Нойбауер вынул из рта сигару и рыгнул. На завтрак ему подавали яичницу-болтунью с копченой колбасой, одно из его любимых блюд.

— Оберштурмфюрер Вебер, — сказал он. — Такого приказа не было, — он кивнул в сторону 509-го и Бухера.

Вебер молча смотрел на него. Он ждал шутки. Но шутки не последовало.

— Мы повесим их сегодня вечером, во время поверки, — сказал он, наконец.

Нойбауер опять рыгнул.

— Такого приказа не было, — повторил он. — Кстати, зачем вы делаете это сами?

Вебер медлил с ответом. Он не понимал, с чего это Нойбауер вдруг стал уделять внимание таким мелочам.

— Для такой работы у вас хватает подчиненных, — продолжал Нойбауер. Вебер в последнее время стал чересчур самостоятельным. Пожалуй, это ему не повредит, если он лишний раз вспомнит, кто здесь отдает приказы. — Что с вами, Вебер? Нервы сдают?

— Нет.

Нойбауер повернулся к 509-му и Бухеру. Повесить, говорит Вебер. Правильно, конечно. Но зачем? День оказался совсем не таким уж плохим, каким он представлялся ему утром. А кроме того, Веберу следовало бы показать, что не все обязательно должно быть так, как ему хотелось

бы.

— Это не было прямым отказом выполнить требование офицера, — заявил он. — Я распорядился брать только добровольцев. Эти двое мало похожи на добровольцев. Дайте им по двое суток бункера, и на этом все. И на этом все, Вебер! Вы меня понимаете? Я хотел бы, чтобы мои приказы исполнялись.

— Слушаюсь.

Нойбауер ушел. Довольный и исполненный чувства превосходства. Вебер презрительно посмотрел ему вслед. «Нервы! — подумал он. — У кого это здесь, интересно, когда-нибудь были нервы? И кто из нас раскис, хотел бы я знать! Двое суток бункера!» — Он с досадой повернулся назад. Солнечный луч упал на разбитое лицо 509-го. Вебер пристально взгляделся в его черты.

— Да ведь я тебя, кажется, знаю. Откуда?

— Не знаю, господин оберштурмфюрер.

Он прекрасно знал, откуда, и молил бога, чтобы Вебер не вспомнил.

— Откуда-то я тебя знаю... Что у тебя с лицом?

— Я упал, господин оберштурмфюрер.

509-й перевел дыхание. Все это было ему хорошо знакомо. Это была одна из множества шуток, придуманная еще в самые первые дни существования лагерей: никто не должен был признаваться, что его били.

Вебер еще раз внимательно посмотрел на него.

— Откуда же я знаю эту рожу? — пробормотал он себе под нос. Потом открыл дверь в соседнюю комнату.

— Отправьте этих двух в бункер. Двое суток. — Он опять повернулся к Бухеру и 509-му. — Только не думайте, что улизили от меня, засранцы! Я вас еще подвешу!

Их волоком потащили из комнаты. 509-й зажмурил глаза от боли. Потом в ноздри ему ударил свежий воздух. Он снова открыл глаза и увидел небо. Синее и огромное. Он повернул голову и посмотрел на Бухера. Они остались в живых. Пока. В это трудно было поверить.

Глава седьмая

Они вывалились из своих камер, когда шарфюрер Бройер, два дня спустя, велел открыть двери. Последние тридцать часов они оба, как утопающие, барахтались где-то между обмороком и полуобмороком. В первый день они еще перестукивались друг с другом, потом силы покинули их.

Их вынесли наружу. Они лежали на «танцплощадке», рядом со стеной, окружавшей крематорий. Их видели сотни глаз. Никто не прикасался к ним. Никто не спешил унести их отсюда. Никто не хотел их замечать. Никаких указаний о том, что с ними должно произойти дальше, не было. Поэтому они как бы не существовали. Тот, кто осмелился бы приблизиться к ним, мог сам угодить в бункер.

Через два часа в крематорий были доставлены последние трупы.

— А что с этими? — лениво спросил охранник-эсэсовец. — Тоже в печь?

— Это двое из бункера.

— Они уже откинули копыта?

— Похоже на то.

Эсэсовец заметил, как рука 509-го медленно сжалась в кулак и вновь обмякла.

— Еще нет, — сказал он. У него болела спина. Это ночь с Фритци, в «Летучей мыши», — даже страшно вспомнить! Он закрыл глаза. Он выиграл пари у Хоффмана. У Хоффмана с Вильмой. Бутылка хеннесси. Отличный коньяк. Но теперь он чувствовал себя, как выжатый лимон.

— Спросите в бункере или в канцелярии, что с ними делать, — сказал он заключенному из «похоронной» команды.

Тот вскоре вернулся обратно. С ним пришел рыжий писарь.

— Этих двоих освободили из бункера, — доложил он. — Их надо отправить в Малый лагерь. Приказ господина коменданта.

— Ну тогда убирайте их отсюда. — Эсэсовец нехотя посмотрел в свой список. — У меня по списку тридцать восемь выбывших. — Он пересчитал трупы, аккуратно уложенные в шеренги перед входом. — Тридцать восемь. Все верно. Убирайте этих двух, а то опять мне все перепутаете.

— Четыре человека! — скомандовал капо «похоронной» команды. — Этих двоих живо в Малый лагерь!

Четверо заключенных подняли Бухера и 509-го с земли.

— Сюда! Быстро! — зашептал им рыжий писарь. — Подальше от мертвяков. Сюда!

— Да они же почти готовы, — сказал один из четверых.

— Заткнись! Давай живей!

Они оттащили их от стены. Писарь склонился над ними, приложил ухо к груди 509-го, потом Бухера.

— Они еще живы. Тащите носилки! Быстро! — сказал он, озираясь по сторонам. Он опасался, как бы случайно не появился Вебер и не приказал их повесить. Он дождался, пока принесли носилки. Это были кое-как сколоченные грубые доски, на которых обычно переносили трупы.

— Кладите их на носилки! Быстрее!

У ворот и вокруг крематория всегда было опасно. Здесь постоянно болтались эсэсовцы, и в любую минуту мог появиться шарфюрер Бройер. Он очень не любил отпускать заключенных живыми из бункера. Приказ Нойбауера был выполнен, 509-го и Бухера выпустили из бункера, и

они автоматически снова превратились в дичь. Каждый мог сорвать на них зло, не говоря уже о Вебере, для которого было бы просто делом чести угробить их, если бы он случайно узнал, что они еще живы.

— Что за ерунда! — проворчал один из носильщиков. — Тащить их через весь лагерь, чтобы завтра их опять отправили сюда. Они же не протянут и двух часов.

— Какое твое собачье дело, идиот! — вдруг злобно зашипел на него писарь. — Берись за ручки и вперед! Есть среди вас хоть один нормальный человек или нет?

— Есть, — сказал другой носильщик, постарше, берясь за носилки, на которых лежал 509-й. — А что с ними случилось? Что-нибудь особенное?

— Они из 22-го барака. — Писарь посмотрел по сторонам и подошел вплотную к носильщику. — Эти двое позавчера отказались подписать бумагу.

— Какую бумагу?

— Заявление о добровольном согласии для врача-лягушатника. Остальных он забрал с собой.

— Как?.. И после этого их не повесили?

— Нет. — Писарь шел рядом с носилками. — Их надо отправить обратно в барак. Приказ коменданта. Так что шевелитесь, ребята, пока этот приказ кто-нибудь не отменил.

— Ах вот оно что! Понимаю...

Пожилой носильщик вдруг зашагал так широко, что чуть не сшиб своего напарника.

— Ты что, спятил? — обозлился тот.

— Нет. Давай-ка сначала поскорее унесем их отсюда подальше. Потом я тебе все объясню.

Писарь отстал. Четверо носильщиков шагали молча и сосредоточенно. Они почти бежали, пока наконец административный корпус не остался позади. Солнце клонилось к горизонту. 509-й и Бухер просидели в бункере на полдня дольше, чем было приказано. Бройер не смог лишиться себя этого маленького удовольствия.

Передний носильщик обернулся:

— Ну так в чем дело? Это что, какие-нибудь важные птицы?

— Нет. Это двое из тех шестерых, которых Вебер в пятницу забрал из Малого лагеря.

— А что с ними делали? Похоже, что их просто избили.

— Это само собой. Потому что они отказались идти с капитаном медслужбы, который приходил вместе с Вебером. Из опытной лаборатории где-то поблизости от города, говорит рыжий писарь. Он уже не в первый раз берет людей из лагеря.

Напарник удивленно присвистнул:

— Мать честная! И после этого они еще живы?..

— Как видишь.

Первый покачал головой:

— А после бункера их еще и отправляют обратно в барак? И не на виселицу? Что это случилось? Такого я давно не видал!

Они приблизились к первым баракам. Было воскресенье. Рабочие команды, которые целый день работали, только что вернулись в лагерь. На дорожках было полно заключенных. Через минуту все уже были в курсе дела.

В лагере знали, зачем увели тех шестерых. Знали и то, что 509-й с Бухером угодили в бункер; это стало известно через писарей, но об этом моментально забыли. Никто не ожидал их увидеть живыми. И вот они возвращаются. И даже те, кому неизвестны были подробности, могли убедиться, что возвращаются они не потому, что оказались непригодными, — иначе бы они сейчас не были так похожи на отбивные.

— Пусти-ка. Я помогу тебе, — сказал кто-то из толпы заднему носильщику. — Вдвоем

сподручнее.

Он взялся за одну ручку носилок. Его примеру последовал еще один, и через миг каждые носилки несли уже по четыре человека. В этом не было никакой необходимости, 509-й и Бухер весили очень мало. Но заключенным хотелось хоть что-нибудь сделать для них, а ничего другого в эту минуту они сделать не могли. Они несли их так бережно, словно те были из стекла. А впереди, далеко опережая их, летела неслыханная весть: двое, отказавшиеся выполнить приказ, возвращаются живыми. Двое из Малого лагеря. Двое из бараков полуживых мусульман. Никто не знал, что 509-й и Бухер были обязаны своим спасением лишь очередной причуде Нойбауера. Да это было и неважно. Важно было только то, что они отказались и вернулись живыми.

Левинский стоял перед баракон 13 уже задолго до того, как показались носилки.

— Это правда?

— Правда. Вот они. Или не они?

Левинский подошел ближе и склонился над носилками.

— Кажется... Да, это он, тот, с которым я разговаривал. А те четверо? Умерли?

— В бункере были только эти двое. Писарь говорит, остальные уехали с Визе. А эти — нет.

Эти отказались.

Левинский медленно выпрямился и увидел рядом с собой Гольдштейна.

— Отказались. Ты мог себе такое представить?

— Нет. А от тех, что в Малом лагере, тем более никак не ожидал.

— Я не о том. Я имею в виду, что их отпустили.

Гольдштейн и Левинский молча смотрели друг на друга. К ним подошел Мюнцер.

— Похоже, наши герои тысячелетнего рейха раскисли, — сказал он.

— Что? — повернулся к нему Левинский. Мюнцер высказал именно то, о чем они с Гольдштейном подумали. — С чего ты это взял?

— Распоряжение самого старика, — ответил Мюнцер. — Вебер хотел их повесить.

— Откуда ты это знаешь?

— Рыжий писарь рассказал. Он сам слышал.

Левинский замер на несколько секунд, словно боясь пошевелиться, потом повернулся к маленькому седому заключенному, стоявшему рядом.

— Сходи к Вернеру, — шепнул он ему. — Скажи ему об этом. Скажи, что один из этих двоих — тот самый, который просил, чтобы мы этого не забывали.

Тот кивнул и через минуту растворился, скользнув, словно тень, вдоль стены барака. Носильщики тем временем не останавливаясь шли дальше. У дверей бараков толпилось все больше заключенных. Кое-кто с боязливой поспешностью подходил к носилкам и смотрел на неподвижные тела 509-го и Бухера. Рука 509-го соскользнула вниз и волочилась по земле. К нему тут же подскочили сразу двое и бережно положили руку обратно на носилки.

Левинский и Гольдштейн смотрели вслед удаляющимся носильщикам.

— Надо же! Два ходячих скелета — и вот, пожалуйста! Какое же нужно иметь мужество, чтобы вот так вот просто взять и отказаться, а? — произнес Гольдштейн. — Никак не ожидал от этих парней, которых отправили подышать в Малый лагерь.

— Я тоже не ожидал. — Левинский все еще смотрел им вслед. — Они должны остаться живых, — сказал он неожиданно — Они ни в коем случае не должны сдохнуть. Знаешь, почему?

— Нетрудно догадаться. Ты имеешь в виду, что тогда все было бы как надо?

— Да. Если они отдадут концы, — завтра же все будет забыто. А если нет...

«А если нет, то они станут живым доказательством того, что в лагере кое-что изменилось», — подумал Левинский про себя. Подумал, но не произнес вслух. — Нам это может пригодиться, — сказал он вместо этого. — Особенно теперь.

Гольдштейн кивнул.

Носильщики приближались к Малому лагерю. В небе неистовствовало пламя заката. Бараки по правую сторону от дороги были озарены этим светом. Слева все затаилось в темно-синем мраке; лица людей здесь, как всегда, были бледны и размыты, в то время как на противоположной стороне они, казалось, светились изнутри, овеванные каким-то загадочным, словно внезапно с небес пролившимся светом спасенной Жизни. Носильщики шли прямо сквозь этот свет. В нем отчетливо были видны пятна крови и грязи на лицах и одеждах двух узников, лежавших на носилках, и они, эти два жалких, истерзанных пленника, теперь вдруг стали похожи на раненых героев во главе скорбно-триумфального шествия. Они не сдались. Они еще были живы. Они победили.

Бергер трудился над ними, не покладая рук. Лебенталь раздобыл где-то похлебку из брюквы. Они попили немного воды и снова провалились в тяжелый, близкий к обмороку сон. Потом — через час, а может быть, через день — 509-й почувствовал, медленно поднимаясь со дна какого-то черного глубокого колодца, как руки его коснулось что-то теплое и мягкое. Робкое, мимолетное воспоминание. Где-то далеко-далеко. Тепло. Он открыл глаза.

«Овчарка» еще раз лизнула его в руку.

— Воды... — прошептал 509-й.

Бергер, занятый тем, что смазывал их ссадины и царапины йодом, поднял голову, взял жестяную банку с супом и поднес ее к губам 509-го:

— На, попей.

509-й сделал несколько глотков.

— Что с Бухером? — спросил он, с трудом выговаривая слова.

— Лежит рядом с тобой, — ответил Бергер. — Жив, — добавил он, заметив, что 509-й собирается спросить еще что-то. — Отдыхай.

На вечерней поверке должны были присутствовать все без исключения. Их вынесли из барака и положили на землю рядом с больными, которые не могли ходить. Уже давно стемнело, однако ночь была светлой.

Рапорт принимал блокфюрер Больте.

— Эти двое готовы, — сказал он, взглядевшись в лица 509-го и Бухера с таким выражением, с каким смотрят на раздавленное насекомое. — Почему они лежат вместе с больными?

— Они еще живы, господин шарфюрер.

— Пока, — вставил староста блока Хандке.

— Не сегодня, так завтра. Им прямая дорога через трубу, даю голову на отсечение.

Больте ушел. Он очень торопился. У него завелось немного денег, и ему не терпелось сыграть в карты.

— Разойдись! — скомандовали старосты блоков. — Дежурные, на месте!

Ветераны осторожно понесли 509-го и Бухера обратно в барак. Хандке, заметив это, осклабился:

— Они что у вас — фарфоровые, а?

Ему никто не ответил. Он постоял еще с минуту, словно раздумывая, куда податься, и наконец, ушел.

— Скотина! — прорычал Вестхоф и плюнул ему вслед. — Дерьмо вонючее!

Бергер пристально посмотрел на него. Вестхофа давно уже терзал лагерный коллер. Он был беспокоен, подолгу о чем-то думал с мрачным видом, разговаривал сам с собой, легко раздражался и постоянно скандалил.

— Уймись! — резко оборвал его Бергер. — Не устраивай здесь спектакль. Мы и без тебя

знаем, кто такой Хандке.

Вестхоф набычился:

— Заключенный, как и мы все. И такое паскудство!.. Вот в чем дело...

— Это не новость. Здесь полно других, которые еще хуже. Власть ожесточает людей. Тебе давно пора усвоить это. Давай-ка лучше помоги нам.

Они освободили для 509-го и Бухера по отдельной «койке». Для этого шестерым пришлось перебраться на пол. В том числе и Карелу, мальчишке из Чехословакии. Он тоже помогал нести их в барак.

— Шарфюрер ничего не понимает, — сказал он Бергеру.

— Да?..

— Они не уйдут через трубу. Завтра точно не уйдут. Надо было поспорить с ним.

Бергер молча смотрел на крохотное, по-деловому озабоченное личико. «Уйти через трубу» на лагерном жаргоне означало угодить в крематорий.

— Послушай, Карел, — укоризненно произнес Бергер, — с эсэсовцами можно спорить только тогда, когда точно знаешь, что проспоришь. А еще лучше — не спорить никогда.

— Они завтра не уйдут через трубу. 509-й и Бухер точно не уйдут. Вот эти — да. — Карел кивнул на трех мусульман, лежавших на полу.

Бергер еще раз посмотрел на него.

— Ты прав, — согласился он.

Карел кивнул. Просто, без всякой гордости. В этих делах он был специалистом.

На следующий день вечером они уже могли говорить. Лица их были настолько изможденными, что даже не распухли. Они только почернели, словно их измазали свинцовой краской, но глаза не пострадали, и разбитые губы уже начинали заживать.

— Попробуйте не шевелить ими, когда говорите, — посоветовал Бергер.

Это было несложно. Они научились этому за годы, проведенные в лагере. Каждый, кто просидел длительное время за колючей проволокой, умел разговаривать, не шевеля губами и с совершенно неподвижным лицом.

После вечерней баланды неожиданно раздался стук в дверь. На мгновение сердца у всех судорожно сжались, все подумали одно и то же: пришли за 509-м и Бухером.

Стук повторился. Стучали вкрадчиво, едва слышно.

— 509-й! Бухер! — шепотом позвал Агасфер. — Притворитесь мертвыми!

— Открой, Лео, — прошептал 509-й. — Это не СС. Эти приходят по-другому...

Стук оборвался. Через несколько секунд в матовом четырехугольнике окна появилась чья-то тень и махнула рукой.

— Открой, Лео, — сказал 509-й. — Это кто-то из рабочего лагеря.

Лебенталь открыл дверь, и тень бесшумно скользнула внутрь.

— Левинский, — произнес незнакомец в темноту. — Станислав. Кто здесь не спит?

— Все. Давай сюда.

Левинский протянул руку в сторону Бергера, который ему ответил.

— Куда? Как бы не наступить на кого.

— Стой, подожди. — Бергер сам пробрался к нему. — Сюда. Садись вот сюда.

— Эти двое — живы?

— Да. Лежат слева от тебя.

Левинский сунул что-то Бергеру в руку.

— Держи.

— Что это?

— Йод, аспирин и вата. Еще моток марли. А вот это — перекись водорода.

— Да это же целая аптека! — удивился Бергер. — Откуда?

— Украли. Из госпиталя. Один из наших убирает там.

— Хорошо. Это нам пригодится.

— Здесь сахар. Кусковой. Растворите его в воде, и пусть они выпьют. Сахар — это полезно.

— Сахар? — переспросил Лебенталь. — А сахар-то у тебя откуда?

— Оттуда. Тебя зовут Лебенталь? — спросил Левинский в темноту.

— Да, а что?

— А то, что ты об этом спрашиваешь.

— Я спросил совсем не потому, — обиделся Лебенталь.

— Я не могу тебе сказать, откуда сахар. Его принес один из 9-го барака. Для этих двоих.

Здесь еще немного сыра. А это вам шесть сигарет от 11-го барака.

Сигареты! Шесть штук! Немыслимое сокровище. Они помолчали с минуту.

— Лео, — первым нарушил молчание Агасфер, — у него это получается лучше, чем у тебя.

— Чушь. — Левинский говорил отрывисто и торопливо, словно запыхавшись. — Они принесли все это перед тем, как заперли бараки. Знали, что я пойду к вам, как только все утихнет.

— Левинский, — прошептал 509-й, — это ты?

— Я.

— Ты можешь уходить ночью?

— Конечно. Как бы я иначе оказался здесь? Я механик. Все очень просто: кусочек проволоки — и все в ажуре. Я умею обращаться с замками. А кроме того, всегда можно вылезти в окно. А вы как выбираетесь отсюда?

— Здесь двери не запирают. Уборные — на улице, — ответил Бергер.

— Ах да. Я и забыл. — Лебенталь помолчал немного. — А остальные подписали? — спросил он, повернувшись в сторону 509-го. — Те, которые были с вами?

— Да.

— А вы нет?

— А мы нет.

Лебенталь склонился к нему:

— Мы бы никогда не поверили, что вы выкарабкаетесь.

— Я бы тоже не поверил, — ответил 509-й.

— Я имею в виду не только то, что вы выдержали. Я имею в виду, что вы так легко отделались.

— И я о том же.

— Оставь их в покое, — вмешался Бергер. — Они совсем ослабли. Зачем тебе все эти подробности?

Левинский заерзал в темноте.

— Это гораздо важнее, чем ты думаешь. — Он встал. — Мне пора обратно. Я еще приду к вам. Скоро. Принесу еще что-нибудь. Да и поговорить с вами надо кое о чем.

— Хорошо.

— Здесь ночью часто проверяют?

— Зачем? Чтобы подсчитать трупы?

— Хорошо. Значит, не проверяют.

— Левинский, — позвал шепотом 509-й.

— Да.

— Ты точно придешь еще?

— Точно.

— Слушай! — 509-й лихорадочно подыскивал нужные слова. — Мы еще... нас еще не сломали... Мы еще... сгодимся на что-нибудь...

— Вот потому-то я и приду еще — не из любви к ближнему.

— Хорошо. Тогда все в порядке. Значит, ты обязательно придешь...

— Обязательно.

— Не забывай нас...

— Ты мне однажды уже говорил это. Я не забыл. Потому я и пришел к вам. Я приду еще.

Левинский пробрался наощупь к выходу. Лебенталь закрыл за ним дверь.

— Постой! — зашептал вдруг Левинский с улицы. — Я забыл еще кое-что. Держи!

— Ты не можешь узнать, откуда сахар? — спросил Лебенталь.

— Не знаю. Посмотрим. — Левинский все еще говорил прерывистым голосом, как будто ему не хватало дыхания. — Держи вот это... Прочтите потом... Мы раздобыли это сегодня...

Он сунул Лебенталю в руку сложенный в несколько раз клочок бумаги, вновь выскользнул наружу и тут же исчез в тени, отбрасываемой бараком.

Лебенталь закрыл дверь.

— Сахар... — произнес Агасфер. — Дайте пощупать один кусочек. Не есть — только пощупать.

— У нас еще есть вода? — спросил Бергер.

— Есть. — Лебенталь протянул ему миску.

Бергер размешал в воде два кусочка сахара и подполз к 509-му и Бухеру.

— Выпейте это. Только медленно. По очереди, глоток — один, глоток — другой.

— Кто там ест? — спросил кто-то со среднего яруса.

— Никто. Кто здесь может есть?

— Я слышу! Кто-то ест.

— Тебе приснилось, Аммерс, — сказал Бергер.

— Ничего мне не приснилось! Дайте мне мою долю. Вы сожрете ее, там внизу! Дайте мне мою долю!

— Подожди до утра.

— До утра вы все сожрете. Вот так всегда — мне достается меньше всех. Я... — Аммерс всхлипнул. На него никто не обращал внимания. Он уже несколько дней был болен, и ему постоянно казалось, что все его обманывают.

Лебенталь пробрался к 509-му.

— Слушай, с этим сахаром... — зашептал он смущенно, — я спросил совсем не потому... Я совсем не для того, чтобы торговать. Я хотел добыть для вас еще.

— Да, Лео.

— У меня ведь еще есть коронка. Я еще не продал ее. Я ждал. А сейчас я могу повернуть это.

— Хорошо, Лео. Что там тебе дал Левинский? У двери.

— Кусок бумаги. Но это не деньги. — Лебенталь еще раз ощупал клочок бумаги, который держал в руках. — Похоже на обрывок газеты.

— Газеты?

— На ощупь как будто газета.

— Что? — переспросил Бергер. — У тебя кусок газеты?

— Посмотри-ка, что там! — попросил 509-й.

Лебенталь подполз к двери и приоткрыл ее.

— Точно. Это газета. Обрывок.

— Ты можешь прочесть, что там написано?

— Сейчас?

— А когда же еще? — раздраженно ответил Бергер.

Лебенталь поднял бумагу выше, поднес ее к глазам.

— Света маловато.

— Открой дверь совсем. Или полезай наружу. На дворе — луна.

Лебенталь раскрыл дверь нараспашку и присел на корточки у порога, держа обрывок газеты так, чтобы на него попало хоть чуть-чуть неверного, трепетного света. Он долго молча изучал написанное.

— По-моему, это военная сводка, — произнес он, наконец.

— Читай! — шепотом воскликнул 509-й. — Читай же ты, наконец, Лео!

— У кого-нибудь есть спичка? — спросил Бергер.

— Ремаген... — с трудом разобрал Лебенталь. — На Рейне...

— Что?

— Американцы перешли Рейн у Ремагена!

— Что, Лео? Ты правильно прочел? Перешли Рейн? Может, ты перепутал что-нибудь? Может, это какая-нибудь французская река?

— Нет. «Рейн...» «у Ремагена...» «американцы...»

— Не болтай ерунду! Читай правильно! Лео, ради Бога, читай правильно!

— Все верно, — подтвердил Лебенталь. — Здесь так написано. Теперь я вижу.

— Перешли Рейн? Как же так? Тогда выходит, что они уже в Германии! Ну давай, читай дальше, Лео! Читай! Читай!

Они вдруг загалдели все разом. 509-й не чувствовал, как трескались его губы.

— Перешли Рейн? Но как? На самолетах? На лодках? Как? Спустились на парашютах, что ли? Читай, Лео!

— «Мост...» — разобрал еще одно слово Лебенталь. — «Им... удалось... завладеть мостом... Мост... находится... под обстрелом... немецких тяжелых орудий...»

— Мост? — не поверил Бергер.

— Да. Мост под Ремагеном...

— Мост... — повторил 509-й. — Мост через Рейн? Значит, армия... Читай дальше, Лео! Там, наверное, еще что-нибудь написано!

— Остальное — мелким шрифтом. Я ничего не могу разобрать.

— Неужели ни у кого нет спичек? — с отчаянием спросил Бергер.

— Держи, — отозвался кто-то из темноты, — здесь еще две штуки.

— Лео, иди сюда!

Они сгрудились у двери.

— Сахар! — скулил Аммерс. — Я знаю, у вас есть сахар. Я слышал. Отдайте мне мою долю.

— Бергер, дай ты этому кретину кусок сахара! — не выдержал 509-й.

— Нет. — Бергер искал, обо что бы зажечь спичку. — Завесьте окна одеялами и куртками! Лео, давай сюда, в угол, под одеяло! Готов?

Он зажег спичку. Лебенталь начал быстро читать, из всех сил стараясь успеть. Это была обычная сводка, в которой, как всегда, все выглядело вполне безобидно: мост не имеет военного значения, американцы подверглись уничтожающему обстрелу и оказались отрезанными от основных частей; виновных в том, что мост не был взорван, ждет военный трибунал...

Спичка погасла.

— «Мост не был взорван», — повторил 509-й. — Вы понимаете, что это означает?

— Их застигли врасплох.

— Это означает, что оборона Западного вала прорвана, — осторожно, словно не веря, что

все это происходит с ним наяву, произнес Бергер. — Оборона Западного вала прорвана! Они прорвались!

— Это не парашютный десант, а ударные части. Парашютистов сразу сбросили бы за Рейном.

— Боже мой! А мы ничего не знали! Думали, что немцы все еще во Франции!

— Лео, читай еще раз! — потребовал 509-й. — Мы должны быть уверены. За какое число газета? Дата есть?

Бергер зажег вторую спичку.

— Гасите свет! — крикнул кто-то.

Лебенталь уже читал.

— За какое число? — прервал его 509-й.

Лебенталь отыскал глазами дату:

— Одиннадцатое марта 1945 года.

— Одиннадцатое марта... А сегодня какое?

Никто толком не знал, был ли сейчас конец марта или уже начался апрель. В Малом лагере они разучились считать. Но они знали, что одиннадцатое марта уже прошло.

— Дай-ка посмотреть, быстрее! — попросил 509-й.

Не обращая внимания на боль, он ползком пробрался в угол, где, накрытый одеялом, сидел Лебенталь. Тот подвинулся, освобождая ему место. 509-й впился глазами в обрывок газеты; крохотный огонек догорающей спички освещал только заголовок.

— Бергер, прикури сигарету, быстро!

— Зачем ты приполз сюда? — укоризненно произнес Бергер и сунул ему в рот прикуренную сигарету.

Спичка погасла.

— Лео, отдай мне эту бумажку, — попросил 509-й.

Лебенталь молча протянул ему обрывок газеты. 509-й сложил его в несколько раз и сунул под рубаху. Теперь он чувствовал его своей кожей. Только после этого он сделал затяжку и протянул сигарету следующему:

— Держи. Передай дальше.

— Кто там курит? — спросил тот, который дал спички.

— Вам тоже перепадет. Каждому по затяжке.

— Я не хочу курить, — скулил Аммерс. — Я хочу сахару.

509-й полез обратно на нары. Бергер и Лебенталь помогли ему.

— Бергер, — прошептал он уже сверху. — Теперь ты поверил?

— Да.

— Мы выберемся отсюда! Мы должны...

— Завтра поговорим, — сказал Бергер. — Спи.

509-й откинулся назад. У него кружилась голова. Он решил, что это от сигареты. Маленький красный светлячок тем временем кочевал по бараку, все больше отдаляясь от закутка ветеранов.

— Вот, попейте еще сладкой воды, — сказал Бергер.

509-й сделал несколько глотков.

— Остальной сахар припрячьте. Не растворяйте его в воде. Мы можем обменять его на еду. Настоящая еда важнее.

— У них есть еще сигареты! — проскрипел вдруг чей-то голос. — Эй вы, гоните остальные сигареты!

— Больше нет, — откликнулся Бергер.

— А я говорю — есть! Давайте все сюда!

— То, что сейчас принесли, — это для двоих, которые вернулись из бункера.

— Ерунда! Это для всех. А ну выкладывай!

— Смотри в оба, Бергер, — прошептал 509-й. — Возьми на всякий случай дубинку. Мы должны обменять сигареты на еду. Лео, ты тоже будь начеку!

— Хорошо, не беспокойся.

Ветераны сбились в кучку. В темноте послышались топот, грохот падения, ругань, удары и крики. Лежавшие на нарах тоже вдруг все разом загалдели и устроили свалку.

Бергер выждал с минуту и крикнул:

— СС!

Словно стая перепуганных крыс, все бросились по своим местам, со стонами и проклятиями, давясь и толкаясь. Не прошло и полминуты, как все стихло.

— Не надо было вообще начинать курить, — сказал Лебенталь.

— Это точно. Сигареты спрятали?

— Давно.

— Надо было, конечно, и первую приберечь. Но когда слышишь такие новости — тут уж... 509-й почувствовал вдруг страшную усталость.

— Бухер, — произнес он через силу. — Ты тоже все слышал?

— Да.

Головокружение усиливалось. «Через Рейн...» — подумал 509-й и ощутил в легких дым от сигареты. Это уже было с ним недавно, он что-то смутно припоминал. Но когда? Где? Дым медленно въедался в стенки легких, мучительно и неотвратимо. Нойбауер. Да, это был дым его сигары, когда он лежал на мокром полу. Казалось, с той минуты прошла уже целая вечность; страх шевельнулся было вновь, где-то глубоко, но тут же исчез, и вместо дыма сигареты появился другой дым — дым с Рейна, и вдруг ему почудилось, будто он лежит на лугу, а вокруг клубится туман, и луг все накрывается и накрывается, и наконец он мягко — и в первый раз без страха — соскользнул во тьму.

Уборная была битком набита скелетами. Снаружи, из длинной очереди, выстроившейся перед дверью, им кричали, чтобы они поторапливались. Многие валялись на земле, корчась от боли. Другие, со страхом озираясь по сторонам, пристраивались у стены и опорожнялись, не в силах больше терпеть. Один скелет стоял, как аист, на одной ноге, опершись рукой о стену барака; раскрыв рот, он не мигая смотрел куда-то вдаль. Он постоял так некоторое время и рухнул замертво. Такое случалось нередко: скелеты, которые еще минуту назад не в состоянии были даже ползти, вдруг тяжело поднимались во весь рост, неподвижно стояли какое-то время, уставившись пустыми глазами вдаль, и падали замертво — словно их последним желанием перед смертью было подняться с земли и выпрямиться, еще раз хоть на миг уподобиться человеку.

Лебенталь осторожно переступил через мертвого скелета и направился к двери. Стоявшие в очереди разом возмущенно загоготали, как потревоженные гуси. Они решили, что он хочет нахально пролезть вперед. Кто-то вцепился в его одежду, по спине и по голове его застучал град костлявых, невесомых кулаков. Но никто из них не решался оставить свое место в очереди: обратно его бы уже не пустили. И все же скелетам удалось свалить Лебенталья наземь, и они принялись пинать его ногами. Причинить вреда они ему не могли, у них совершенно не было сил.

Лебенталь встал на ноги. Он не собирался никого обманывать. Он искал Бетке из транспортной команды. Ему сказали, что тот направился сюда. Он подождал еще немного у выхода, стараясь держаться подальше от обозленной очереди. Бетке был его клиентом. Через него он собирался сбыть коронку Ломана.

Бетке не появлялся. Лебенталь недоумевал, зачем тому понадобилось тащиться в эту вонючую уборную. Правда, здесь тоже шла торговля, но у такого туза, как Бетке, конечно, были возможности поинтереснее.

Так и не дождавшись его, Лебенталь отправился в умывальник, располагавшийся напротив, в соседнем бараке. Барак этот примыкал своим единственным крылом к уборной. Умывальник представлял собой несколько длинных цементных желобов, над которыми протянулись железные трубы со множеством маленьких отверстий. Эти цементные корыта облепили со всех сторон, словно мухи, десятки заключенных. Большинство — чтобы напиться или набрать воды и жестяную консервную банку и отнести в барак. Чтобы вымыться, воды было слишком мало. А тот, кто, раздевшись, все же пытался это сделать, рисковал остаться без одежды.

Умывальник тоже был частью черного рынка, но уже для более приличной публики. В уборной можно было разжиться в лучшем случае коркой хлеба, какими-нибудь отходами или парой окурков. В умывальнике же собирались в основном маленькие капиталисты из рабочего лагеря.

Лебенталь постепенно протиснулся вглубь помещения.

— Что у тебя? — тут же обратился к нему незнакомый тип.

Лебенталь коротко взглянул на него. Это был какой-то одноглазый оборванец.

— Ничего.

— У меня морковь.

— Не требуется.

В умывальнике Лебенталь моментально преобразился. Здесь он казался гораздо решительнее, чем в бараке.

— Осел!

— Сам придурок.

Лебенталь уже знал кое-кого из торговцев. Он бы, пожалуй, поторговался с одноглазым, если бы ему не нужно было искать Бетке. После этого ему предлагали еще кислую капусту, кость и несколько картофелин — все по баснословной цене. В самом дальнем углу он заметил молодого паренька с женскими чертами лица, который, казалось, забрел сюда случайно. Он что-то жадно ел из консервной банки; Лебенталь даже на расстоянии мог видеть, что это отнюдь не баланда. Тем более что тот усиленно жевал. Рядом с ним стоял хорошо упитанный заключенный лет сорока, который тоже явно не вписывался в интерьер умывальника. Он без сомнения принадлежал к лагерной аристократии. Его лысая жирная голова лоснилась. Рука его медленно ползла вниз по спине паренька. Волосы юноши не были острижены. Они были тщательно расчесаны на пробор. И сам он был весь опрятен и чист.

Лебенталь отвернулся. Потеряв надежду разыскать Бетке, он хотел было уже вернуться к одноглазому с морковкой, как вдруг увидел того, кого искал. Бетке решительно пробирався в тот угол, где стоял смазливый паренек, бесцеремонно расталкивая торговцев и покупателей. Лебенталь преградил ему путь. Бетке оттолкнул его в сторону и остановился перед юношей.

— Так вот ты где, оказывается, шляешься, Людвиг! Блядское твоё отродье! Наконец-то я тебя застукал!

Людвиг ничего ему не ответил. Испуганно уставившись на него, он давился пищей, торопясь поскорее проглотить то, что было во рту.

— С этим паскудой! С этим лысым кухонным кобелем! — ядовито прибавил Бетке.

Кухонный кобель не обращал никакого внимания на Бетке.

— Ешь, мой мальчик, — произнес он лениво. — Я дам тебе еще, если ты не наешься.

Бетке, побагровев, ударил кулаком по банке. Содержимое ее выплеснулось Людвигу в лицо. Кусок картошки упал на пол. Два скелета бросились к нему и сцепились друг с другом. Бетке пинками отогнал их прочь.

— Ты что — мало получал жратвы от меня? — вновь повернулся он к Людвигу.

Людвиг, съезжившись, обеими руками прижимая банку к груди, испуганно смотрел то на Бетке, то на Лысого.

— Похоже, что мало, — бросил «кухонный кобель» в сторону Бетке. — Ешь, не обращай внимания, — сказал он юноше. — Не хватит, — я принесу еще. Я не такой. И бить я тебя никогда не буду.

Бетке готов был броситься на Лысого с кулаками. Но он не решался. Он не знал, какими тот располагал связями. Такие вещи в лагере были чрезвычайно важны. Если Лысый окажется любимчиком кухонного капо, то эта драка может иметь для него, Бетке, печальные последствия. У кухонного начальства мощные связи. Говорили даже, что оно проворачивает свои темные дела вместе со старостой лагеря и несколькими ээсовцами. А его собственный капо, наоборот, не доверял ему. Бетке понимал, что тот не станет рвать за него глотку. Потому что он вовремя не позаботился о том, чтобы подмазать его. Весь лагерь был опутан сетями интриг. Если он сейчас не проявит благоразумие, он может запросто лишиться своего места и снова превратиться в простого заключенного. Прощай тогда возможность бывать в городе, а значит — и тот скромный доход, который ему обеспечивали поездки на вокзал и в депо.

— Что это все значит? — спросил он Лысого уже спокойнее.

— А тебе какое дело?

Бетке судорожно глотнул.

— Мне до этого есть дело. — Он повернулся к Людвигу. — Кто тебе раздобыл этот костюм?

Пока Бетке говорил с Лысым, Людвиг поспешно прикончил содержимое банки и, бросив ее

на пол, неожиданно быстро шмыгнул между ними и стал пробиваться к выходу. Два скелета уже дрались за право выскоблить и вылизать банку.

— Приходи еще! — крикнул Лысый Людвигу вдогонку. — У меня этого добра хватает!

Он рассмеялся. Бетке попытался было схватить паренька, но споткнулся об одного из барахтавшихся на полу скелетов. Поднявшись, он с досады наступил каблуком на чью-то руку. Один из скелетов запищал, как мышь. Другой, его соперник улизнул с банкой, воспользовавшись неожиданной помощью.

Лысый засвистел мелодию вальса «Южные розы» и вызывающе медленно прошел мимо Бетке. Он и в самом деле был неплохо упитан и даже имел живот. Толстый зад его покачивался при ходьбе. Почти все заключенные, работавшие на кухне, были в теле. Бетке плюнул ему вслед. Но плюнул так осторожно, что попал всего лишь в Лебенталья.

— Это ты? — буркнул он сердито. — Ну, что надо? Пошли. Откуда ты знаешь, что я здесь?

Лебенталь не отвечал ни на один из вопросов. Он уже приступил к работе. А на работе он не любил лишних разговоров. У него было два клиента, которые заинтересовались коронкой Ломана: Бетке и другой заключенный, старший одной из внешних команд. Обоим нужны были деньги. Старший был в кабале у некоей Матильды, с которой он работал на одной фабрике и которая время от времени за определенную мзду соглашалась встретиться с ним наедине. Она весила почти двести фунтов и казалась ему сказочной красавицей. В лагере, где основным чувством было чувство голода, вес служил мерой красоты. Он предложил Лебенталю несколько фунтов картошки и фунт жира. Лебенталь отказался и теперь мысленно поздравил себя с этим. Он мгновенно оценил коммерческое значение только что разыгравшейся перед ним сцены и теперь делал ставку на педераста. Извращенная любовь казалась ему более жертвенной, чем обыкновенная. После того, что он увидел, он просто обязан был поднять цену.

— Коронка при тебе? — спросил Бетке.

— Нет.

Они тем временем уже вышли из барака.

— Я не привык покупать kota в мешке.

— Коронка как коронка. Задний зуб. Солидное, довоенное золото.

— Ни хрена! Сначала покажи! Иначе не о чем толковать.

Лебенталь знал, что здоровяк Бетке просто отобрал бы у него коронку, если бы он вздумал показать ее. И он ничего не смог бы сделать. Если бы он пожаловался, его бы повесили.

— Хорошо. Нет так нет, — произнес он невозмутимо. — С другими разговаривать проще.

— «С другими»! — передразнил Бетке. — Болтун! Ты сначала найди хоть одного.

— У меня есть несколько желающих. Кстати, один из них только что был здесь.

— Да что ты говоришь? Хотел бы я видеть этого «желающего»! — Бетке презрительно посмотрел вокруг. Он знал, что покупка коронки имеет смысл только для того, у кого есть связь с городом.

— Ты сам видел моего клиента минуту назад, — сказал Лебенталь. Это была ложь.

Бетке раскрыл рот от неожиданности.

— Что? Этот лысый кобелина?

Лебенталь поднял плечи.

— Раз я здесь, значит должна быть на то причина... Может, кто-то хочет сделать другу подарок, и для этого ему нужны деньги. На воле золото пользуется спросом. Еды-то у него хватает — чтобы меняться.

— Хитрая твоя рожа! — зло прошипел Бетке. — Старая лиса!

Лебенталь молча приподнял ставни своих тяжелых век и снова захлопнул их.

— Что-нибудь такое, чего не достать в лагере, — продолжал он как ни в чем не бывало. —

Что-нибудь шелковое, например.

У Бетке перехватило дыхание.

— Сколько? — прохрипел он.

— Семьдесят пять, — твердо произнес Лебенталь. — Льготная цена. — Он собирался запросить тридцать.

Бетке долго молча смотрел на него.

— А ты знаешь, что я тебя запросто могу отправить на виселицу?

— Конечно. Если сможешь доказать. Но какой тебе от этого толк? Никакого. Тебе нужна коронка. Так что давай говорить, как деловые люди.

Бетке помолчал немного.

— Только денег не будет, — сказал он, наконец. — Еда. Понял?

Лебенталь не спешил с ответом.

— Заяц, — продолжал Бетке. — Мертвый заяц. Попал под колеса. Что скажешь?

— Твой заяц — это кошка или собака?

— Заяц, тебе говорят. Я сам его переехал.

— Так кошка или собака?

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза.

— Собака, — не выдержал Бетке.

— Овчарка?

— «Овчарка»! А слона не хочешь?.. Пес средних размеров. Что-то вроде терьера. Жирный.

Лебенталь сохранял непроницаемую мину. Собака — это значит мясо. Невероятное везение.

— Мы не сможем ее сварить. Даже содрать шкуру. У нас для этого ничего нет.

— Шкуру я и сам могу содрать.

Бетке все больше воодушевлялся. Он понимал, что не может конкурировать с Лысым по части еды. Значит, чтобы отвоевать Людвигу, он должен был раздобыть что-нибудь такое, чего нельзя достать в лагере. «Шелковые трусы», — подумал он. Это наверняка подействовало бы, да и ему самому от этого польза — лишнее удовольствие.

— Ладно, я даже сварю ее тебе, — добавил он.

— Все равно это все слишком сложно. Тогда нам нужен еще и нож.

— Нож? Зачем тебе нож?

— У нас ведь нет ножей. Чем же мы ее будем резать? Лысый мне сказал...

— Ну ладно, ладно! — нетерпеливо оборвал его Бетке. — Нож так нож. — «Трусы хорошо бы голубые. Или лиловые. Лучше лиловые. Рядом с депо как раз есть магазин. Там можно что-нибудь подобрать. Капо отпустит, куда он денется. А коронку можно продать дантисту, там же, рядом с магазином...» — Черт с тобой, будет тебе и нож. Но на этом — все!

Лебенталь видел, что больше сейчас из него не выжать.

— Ну и, само собой, конечно, буханка хлеба, — деловито произнес он. — Мясо едят с хлебом. Когда?

— Завтра вечером. Как стемнеет. За уборной. Приноси коронку.

— Это молодой терьер?

— Слушай, ты что, вообще рехнулся? Откуда я могу знать? Так себе, не молодой и не старый. А что?

— Если старый, то варить надо дольше.

Бетке, казалось, вот-вот вцепится Лебенталью зубами в глотку.

— Та-ак... А еще какие будут пожелания? — спросил он сдавленным голосом. — Брусничный соус? Икра?..

— Как насчет хлеба?

— Насчет хлеба я тебе ничего не говорил.

— А Лысый...

— Заткнись ты со своим Лысым!.. Там видно будет. — Бетке вдруг заторопился. Ему не терпелось завести как следует Людвига, рассказав ему о трусах. В конце концов, пусть этот кухонный жеребец его откармливает, он ничего не имеет против. А он потом вдруг возьмет и выложит свой запасной козырь — трусы! Людвиг тщеславен. А нож можно стащить. Хлеб тоже не проблема. А собака — никакой не терьер, а всего лишь такса. — Значит, завтра вечером, — буркнул он на прощанье. — Жди за уборной.

Лебенталь отправился обратно. Он все еще не мог поверить в свою удачу. В бараке он, конечно, скажет — заяц. Не потому, что кто-то мог побрезговать собачьим мясом — кое-кто в лагере уже пробовал есть мясо с трупов, — а просто потому, что это маленькое удовольствие — слегка преувеличить успех — было неотъемлемой частью всякого бизнеса. А кроме того, он всегда относился к Ломану с симпатией, и ему хотелось как можно выгоднее обменять его коронку, чтобы это непременно было что-нибудь особенное. Нож легко будет потом продать, а это новый оборотный капитал.

Вечер был сырой, и по лагерю ползли белые клочья тумана. Лебенталь осторожно, крадучись, пробирался сквозь темень в барак. Мясо и хлеб он спрятал под курткой.

Неподалеку от барака он увидел на дороге чью-то тень, которая, словно маятник, раскачивалась из стороны в сторону. Простые заключенные так не ходили. Приглядевшись, он узнал старосту блока 22. Хандке шагал по дороге так, как будто это была палуба корабля. Лебенталь прекрасно понимал, что это означало. У Хандке, который, похоже, где-то крепко выпил, начинался очередной приступ бешенства. Попасть в барак так, чтобы он не заметил, предупредить остальных и спрятать мясо уже было нельзя. Поэтому Лебенталь бесшумно скользнул за угол барака и притаился в тени.

Первым, кто попался Хандке под руку, был Вестхоф.

— Эй ты! — крикнул Хандке.

Вестхоф остановился.

— Ты почему не в бараке?

— Я иду в уборную.

— Ты сам — уборная. А ну иди сюда!

Вестхоф подошел ближе. Туман и темнота мешали ему как следует рассмотреть лицо Хандке.

— Как тебя зовут?

— Вестхоф.

Хандке покачнулся.

— Тебя зовут не Вестхоф. Тебя зовут вонючая жидовская морда. Как тебя зовут?

— Я не еврей.

— Что? — Хандке ударил его в лицо. — Из какого блока?

— Из двадцать второго.

— Этого еще не хватало! Из моего собственного! Сукин сын! Секция?

— Секция «Г».

Вестхоф не бросился на землю. Он остался стоять. Хандке сделал шаг в его сторону. Вестхоф, увидев теперь отчетливо его лицо, хотел было бежать, но Хандке успел пнуть его ногой в берцовую кость. Будучи старостой блока, он был довольно упитан и, конечно, сильнее любого из обитателей Малого лагеря. Вестхоф упал, и Хандке ударил его ногой в грудь.

— Лечь, я сказал! Жид пархатый!

Вестхоф лег на живот.

— Секция «Г» — выходи строиться! — заорал Хандке.

Скелеты высыпали на улицу. Они уже знали, что будет дальше. Кого-то из них избьют. Каждый раз, когда Хандке напивался, дело кончалось экзекуцией.

— Это все? — пролепетал Хандке. — Деж...дежурный!

— Так точно! — ответил Бергер.

Хандке постоял несколько мгновений, вперив мутный взгляд в размытые туманом шеренги заключенных. Бухер и 509-й тоже стояли в строю. Они уже постепенно начинали вставать и двигаться. Агасфера не было. Он остался в бараке с «овчаркой». Если бы Хандке заметил его отсутствие, Бергер доложил бы, что он умер. Но Хандке был пьян. Впрочем, он и трезвым толком не знал, что у него делается в бараке. Он не любил заходить внутрь, боясь дизентерии и тифа.

— Кто здесь еще отказывается выполнять... мо... мои приказания? — наконец, грозно спросил он. — Жи... жидовские хари!

Никто не отвечал.

— Стоять... см... смирна! как ку... культурные люди!

Они стояли по стойке «смирно». Хандке продолжал таращиться на них. Потом тяжело повернулся и молча принялся пинать лежавшего на земле Вестхофа. Тот закрыл голову руками. В наступившей тишине были слышны только глухие удары сапог по ребрам Вестхофа. 509-й почувствовал, как весь напрягся стоявший рядом с ним Бухер. Он схватил и крепко сжал его запястье. Бухер попытался вырвать руку, но 509-й не отпускал ее. Хандке с тупым усердием продолжал пинать Вестхофа. Наконец, он устал и в завершение прыгнул несколько раз Вестхофу на спину. Тот не шевелился. Хандке повернулся к строю. Лицо его заливал пот.

— Жиды! — сказал он, тяжело дыша. — Вас нужно давить, как вшей, понятно?.. Кто вы? Отвечайте!

— Жиды, — ответил за всех 509-й.

Хандке одобрительно кивнул и несколько секунд глубокомысленно смотрел в землю. Потом молча повернулся и потопал к забору, отделявшему женские бараки от Малого лагеря. Он остановился перед забором; было слышно, как он сопит. Раньше он был наборщиком в типографии и попал в лагерь за изнасилование. Год назад его назначили старостой блока. Через несколько минут он вернулся на дорожку и, не обращая никакого внимания на стоявших в строю подчиненных, пошел прочь.

Бергер с Карелом перевернули Вестхофа на спину. Он был без сознания.

— Он, наверное, переломал ему ребра? — спросил Бухер.

— Он попал ему по голове, — ответил Карел. — Я видел.

— Ну что, отнесем его в барак?

— Нет, — сказал Бергер. — пусть пока побудет здесь. Здесь лучше. Внутри слишком тесно. У нас еще есть вода?

Кто-то принес консервную банку с водой. Бергер расстегнул куртку Вестхофа.

— Может, все-таки лучше занести его внутрь? — предложил Бухер. — Эта сволочь еще может вернуться.

— Он больше не придет. Я его знаю. Он уже выпустил пар.

Из-за угла барака вынырнул Лебенталь.

— Что, мертв?..

— Нет. Пока нет.

— Он пинал его ногами, — прибавил Бергер. — обычно ему хватало кулаков. Наверное, ему

сегодня перепало шнапсу больше, чем обычно.

— Я принес еду, — сообщил Лебенталь, придерживая рукой спрятанный под курткой товар.

— Тише! Ты что, хочешь, чтобы весь барак услышал? Что у тебя?

— Мясо, — послушно перешел на шепот Лебенталь. — За коронку.

— Мясо?

— Да. Много мяса. И хлеб. — Про зайца он ничего не сказал. У него пропало желание после того, что случилось. Он взглянул на неподвижное тело Вестхофа, рядом с которым сидел на корточках Бергер. — Может, он потом съест немного мяса? Оно вареное.

Туман становился все гуще. Бухер стоял у забора из двух рядов колючей проволоки, который отделял Малый лагерь от женских бараков.

— Рут! — позвал он шепотом. — Рут!

Чья-то тень приблизилась к забору с той стороны. Бухер из всех сил всматривался в туман, но ничего не мог разобрать.

— Рут! — еще раз позвал он. — Это ты?

— Да.

— Ты меня видишь?

— Да.

— Я принес тебе поесть. Ты видишь мою руку?

— Да, да.

— Это мясо. Сейчас я брошу его тебе. Лови!

Он бросил маленький кусок мяса через забор. Это была половина его порции. Он услышал, как мясо шлепнулось на землю. Тень наклонилась и принялась шарить по земле.

— Слева от тебя! — шептал Бухер. — Левее! Оно должно лежать примерно в метре от тебя, слева. Нашла?

— Нет.

— Левее. Чуть дальше. Вареное мясо! Ищи, Рут!

Тень вдруг застыла на месте.

— Нашла?

— Да.

— Ну вот и хорошо. Съешь его сразу же. Ну как, вкусно?

— Да. А еще у тебя есть?

Бухер растерялся.

— Нет. Я уже съел свой кусок.

— У тебя есть еще что-то! Бросай сюда!

Бухер подошел вплотную к забору. Он почти висел на проволоке; колючки впились ему в грудь. Внутренние ограждения лагеря не были под током.

— Ты не Рут!.. Эй! Ты Рут?..

— Да, Рут. Еще! Бросай!

Внезапно он окончательно понял, что это была не Рут. Рут ни за что не сказала бы ничего подобного. Туман, волнение, эта тень и шепот ввели его в заблуждение.

— Ты ведь не Рут! Скажи, как меня звать!

— Тссс! Тише! Бросай!

— Как меня звать? Как меня звать?

Тень не отвечала.

— Это мясо было для Рут! Для Рут! — шептал Бухер. — Отдай его ей! Ты поняла? Отдай его ей!

— Да, да. У тебя еще есть?

— Нет. Отдай его ей! Это — ее! слышишь? Ее, а не твое!

— Да, конечно!

— Отдай его ей. Или... или я...

Бухер не договорил. Что он, в самом деле, мог сделать? Он знал, что тень давно уже проглотила мясо. Словно сбитый ударом невидимого кулака, он в отчаянии повалился на землю.

— Ты... ты... подлая тварь! Чтоб ты сдохла!.. Чтоб ты подавилась этим мясом!

Это было слишком — после стольких месяцев первый раз получить кусок мяса и так по-идиотски прошляпить его! Он всхлипывал без слез.

Тень шептала ему из-за забора:

— Дай еще! А я тебе кое-что покажу... Смотри!

Она подняла юбку. А может быть, это ему померещилось — белесая зыбь тумана искажала все движения, и женская фигура за колючей проволокой стала вдруг похожа на нелепое, фантастическое животное, ни с того, ни с сего пустившееся в пляс.

— Стерва!.. — шепотом твердил Бухер. — Стерва!... Чтоб ты сдохла! Идиот! Боже, какой я идиот!..

Ему надо было удостовериться в том, что это Рут, прежде чем бросить мясо, или подождать, пока рассеется туман. Но тогда он, возможно, не выдержал бы и сам съел мясо. Он хотел как можно скорее отдать его Рут. Туман показался ему неожиданной удачей. И вот — он стонал и в отчаянии молотил кулаками по земле.

— Идиот! Что же я наделал!

Кусок мяса означал кусок жизни. Ему хотелось теперь громко кричать от горя.

Проснувшись от холода, он поплелся обратно. Перед самым баракон он споткнулся о чье-то тело, упал и тут только заметил 509-го.

— Кто это лежит здесь? Вестхоф? — спросил он.

— Да.

— Умер?

— Да.

Бухер наклонился и посмотрел на Вестхофа. На влажном от тумана лице были видны темные пятна — следы ударов, оставленные сапогами Хандке. При виде этого лица он опять вспомнил о потерянном куске мяса. Ему вдруг показалось, что между этими двумя событиями есть какая-то связь.

— Черт возьми! — сказал он. — Почему мы ему не помогли?

509-й поднял голову.

— Что за чушь ты несешь? Разве мы могли что-нибудь сделать?

— Могли. Наверное. Почему бы и нет? Мы смогли и не такое.

509-й не ответил. Бухер опустился рядом с ним на землю.

— Мы вырвались из лап Вебера... — добавил он.

509-й молча смотрел в туман. «Вот оно! — думал он. — Опять!.. Дурацкий героизм. Старая песня. Этот мальчик впервые за столько лет, с отчаянием затравленного зверя, бросил вызов своим мучителям, чудом остался жив, — и вот через день фантазия уже водит его за нос, подсовывая ему романтические картины, из-за которых он совершенно забывает об осторожности.»

— Ты думаешь, что если нас не прикончил сам лагерфюрер, то уж какого-то пьяного старосту блока нам и подавно нечего бояться, да?

— Да. А разве не так?

— И что же, по-твоему, мы должны были сделать?

— Не знаю. Что-нибудь. Но только не стоять и не смотреть, как он спокойно убивает Вестхофа.

— Да, мы могли броситься на Хандке вшестером или ввосьмером. Ты это имеешь в виду?

— Нет. Это не помогло бы. Он сильнее нас.

— А что мы могли сделать еще? Сказать ему, чтобы он успокоился? И не делал глупостей?

Бухер не отвечал. Он знал, что говорить с Хандке было бесполезно. 509-й с минуту наблюдал за ним, потом сказал:

— Слушай меня внимательно... У Вебера нам нечего было терять. Мы отказались и вопреки всякой логике почему-то остались живы. Но если бы мы сегодня попытались как-нибудь помешать Хандке, он угробил бы еще двоих-троих, а потом донес бы на весь барак. Бергера, а с ним еще пару человек повесили бы как главных мятежников. И Вестхофа, конечно, в первую очередь. Тебя скорее всего тоже. Следующий шаг — лишение пищи на пару дней. Это означало бы еще с десяток трупов. Согласен?

Бухер, помедлив, нехотя ответил:

— Не знаю.

— Ну а как еще могла закончиться эта история, если не так, как я тебе описал? Ты можешь придумать другой конец?

— Нет, — ответил Бухер, подумав с минуту.

— Я тоже не могу... У Вестхофа был приступ коллера. Как и у Хандке. Если бы он сказал то, что хотел от него Хандке, он отделался бы двумя-тремя синяками. Он был неплохим товарищем и мог бы принести еще много пользы. Но вел себя, как шут. — 509-й повернулся к Бухеру; в голосе его звучала горечь. — Ты думаешь, только ты один жалеешь о том, что случилось?

— Нет.

— Может быть, он держал бы язык за зубами и остался бы жив, если бы мы не вернулись, если бы Вебер доконал нас. Может быть, именно поэтому он забыл про осторожность. Тебе это не пришло в голову?

— Нет. — Бухер испуганно уставился на 509-го. — Ты действительно думаешь?..

— Не знаю. Может быть. Я видел, как люди совершали и не такие глупости. Люди, до которых Вестхофу — далеко. И чем лучше люди, тем удивительнее глупости, которые они совершают, когда им кажется, что надо проявить отвагу. Эта проклятая хрестоматийная чушь!.. Ты знаешь Вагнера из 21-го барака?

— Да.

— Теперь это развалина. А когда-то был мужчина. Смелый. Даже слишком смелый. Он давал сдачи. Целых два года эсэсовцы не могли на него нарадоваться. Вебер почти любил его. А потом он сломался. Навсегда. А ради чего? Он бы нам сейчас очень пригодился. Он не мог совладать со своим мужеством. Таких было много. Из них осталось — раз-два и обчелся. А тех, кто еще на что-то способен, и того меньше. Поэтому я и держал тебя сегодня вечером, когда Хандке топтал сапогами Вестхофа. И поэтому же я ответил ему на вопрос, кто мы, так, как он хотел. Понял ты это наконец или нет?

— Ты думаешь, что Вестхоф...

— Теперь уже все равно. Вестхофа больше нет...

Бухер молчал. Теперь, когда завеса тумана немного приподнялась, а кое-где сквозь нее даже сочился лунный свет, ему стало лучше видно 509-го. Тот уже сидел. Лицо его было раскрашено кровоподтеками в черный, синий и зеленый цвета. Бухеру вдруг вспомнились все те услышанные ими от кого-то старые истории о 509-м и Вебере. «Да ведь он сам один из тех, о которых только

что рассказывал», — подумал он.

— Слушай, — вновь заговорил 509-й. — Слушай внимательно. Это всего лишь дешевая фраза из плохого романа — что дух нельзя сломить. Я видел людей — настоящих людей, — которых они превращали в кричащих от боли животных. Почти любое сопротивление можно сломить; это вопрос времени и условий. У этих — он махнул рукой в сторону эсэсовских казарм — есть и то, и другое... Они это всегда прекрасно знали. И никогда не отказывали себе в этом удовольствии. Пойми: главное — результат сопротивления, а не то, как оно выглядит. Безрассудная храбрость — это самоубийство. Эти наши жалкие крохи непокорности — это все, что у нас осталось. Мы должны запрятать их так далеко, чтобы они не могли их найти, и пользоваться ими только в случае крайней нужды, как мы это сделали у Вебера. А иначе...

Лунный свет незаметно подкрался к Вестхофу, скользнул по мертвому лицу, пополз по шее.

— Кто-то из нас обязательно должен уцелеть, — прошептал 509-й. — Ради того, что будет потом... Нельзя, чтобы все оказалось зря. Кто-то должен остаться. Кого еще не сломали...

Он в изнеможении откинулся назад. Мысли изнуряли так же, как ходьба. Обычно голод и слабость не давали сосредоточиться. Но иногда сознание неожиданно прояснялось, в голове появлялось ощущение удивительной легкости, все казалось предельно доступным, и некоторое время можно было видеть далеко-далеко вперед, пока вновь не опускался туман усталости.

— Кто-то, кто еще не сломан и не хочет ничего забывать...

509-й посмотрел на Бухера. «Он на двадцать лет младше меня, — подумал он. — Он еще многое мог бы успеть. Он еще не сломан. А я?.. Проклятое время!.. Гложет и гложет!.. И только выбравшись отсюда, можно будет понять, что от тебя еще осталось. Только выбравшись отсюда и попробовав все начать сначала, можно действительно понять, сломан ты или нет. Каждый год из этих десяти лет, проведенных в лагере, равен двум, а то и трем годам на свободе. Откуда же тут взяться силам? А сил понадобилось бы много».

— Никто не упадет перед нами на колени, если мы выберемся отсюда, — произнес он вслух. — Они станут все отрицать и постараются поскорее все забыть. И нас в том числе. И многие из нас — тоже захотят поскорее все забыть.

— Я не забуду это, — мрачно заявил Бухер. — Ни Вестхофа — ничего!

— Хорошо. — Волна усталости накрыла его с головой. Он закрыл глаза, но тотчас же вновь открыл их. Он должен был высказать еще кое-что, пока не забыл. Бухеру полезно было это узнать. Может, он будет единственным из ветеранов, кому посчастливится выжить. Он должен знать это.

— Хандке — не нацист, — с трудом проговорил он. — Он такой же заключенный, как и мы. На свободе он скорее всего никогда не убил бы человека. А здесь он делает это, потому что ему позволяет это его власть. Он прикрыт. Он не несет никакой ответственности. Вот в чем дело. Власть — и отсутствие ответственности, слишком много власти в руках преступников, слишком много власти вообще, в каких бы то ни было руках, понимаешь?

— Да, — ответил Бухер.

509-й кивнул.

— Это и еще другое — лень души, страх... паралич совести — вот наше несчастье... Я сегодня... весь вечер... думал об этом...

Усталость превратилось уже в черное свинцовое облако, которое все сильнее прижимало его к земле. Он достал из кармана кусок хлеба.

— Вот, возьми. Мне не нужно, я съел свое мясо. Отдай Рут...

Бухер молча смотрел на него и не шевелился.

— Я все слышал... там... у забора... — проговорил 509-й непослушным языком. — Отдай ей... — Голова его упала на грудь, но он еще раз встрепенулся, и пестрый, разукрашенный

синяками и кровоподтеками череп его на мгновение засветился в лунном свете. — Это тоже... важно — давать...

Бухер взял хлеб и отправился к забору. Туман уже висел на уровне плеч. Под ним все было ясно. Плетущиеся в уборную мусульмане казались призраками с отрубленными головами. Вскоре пришла Рут. И у нее тоже не было головы.

— Нагнись, — шепнул ей Бухер.

Они опустились на корточки друг против друга. Бухер бросил ей хлеб. Он хотел было рассказать ей о том, как приносил ей мясо, но сдержался.

— Рут, — сказал он вместо этого. — Мы выберемся отсюда.

Она не могла ответить ему. Рот ее был набит хлебом. Она только смотрела на него широко распахнутыми глазами.

— Я твердо верю в это!

Он не знал, откуда в нем вдруг взялась эта вера. Она как-то была связана с 509-м и с тем, что он сказал. Он вернулся обратно. 509-й крепко спал. Голова его почти касалась головы Вестхофа. Лица их были покрыты кровоподтеками. Бухеру на секунду почудилось, что это 509-й, а не Вестхоф был мертв. Он не стал будить его. Он знал, что тот уже вторую ночь ждет здесь Левинского. Ночь была не очень холодной, но Бухер все-таки стащил с Вестхофа и еще с двух трупов куртки и укрыл ими 509-го.

Получив каждый свою долю, они принялись медленно жевать хлеб. Внизу, глубоко в долине, пылал город. Позади была гора трупов. Никто из ветеранов не нарушал молчание. Они ели хлеб, и вкус его был необычным, не таким, как всегда. Этот хлеб был чем-то вроде причастия, возвышавшего их над остальными обитателями барака. Над мусульманами. Они начали борьбу. У них теперь были товарищи. У них была цель. Они смотрели на холмы и на поля вокруг них, и на город, и на ночное небо — и не замечали в этот миг ни колючей проволоки, ни пулеметных вышек.

— Ни то, и ни другое. С ними нет эсэсовцев. И идут они нам навстречу, а не в сторону лагеря. Это штатские.

— Штатские?

— Конечно, штатские. Шляпы видишь? И женщины с ними. Дети тоже. Детей много.

Расстояние между двумя колоннами быстро сокращалось.

— Принять вправо! Принять вправо! — понеслась вдоль колонны узников команда. — Еще правее! Крайняя шеренга справа, в кювет — марш!

Охранники заметались вдоль колонны.

— Вправо! Живее! Освободить левую часть дороги! Кто сунется влево — получит пулю!

— Да это же погорельцы! — выпалил вдруг сдавленным голосом Вернер. — Это же народ из города. Беженцы.

— Беженцы?

— Беженцы, — подтвердил Вернер.

— Пожалуй, ты прав, — прищурил глаза Левинский. — И в самом деле — беженцы. Но на этот раз немецкие беженцы!

Слово это, подхваченное десятками губ, прошелестело от головы колонны до последних рядов. Беженцы! Немецкие беженцы! Des gïfugïys allemands! Неслыханно, но — факт: они, столько лет не знавшие поражений, столько лет гнавшие по дорогам Европы колонны невольников, теперь вынуждены были бежать из своих собственных городов.

Это были женщины, дети и пожилые мужчины. Они понуро брели друг за другом с чемоданами, сумками, узлами. Некоторые везли свой скарб на маленьких тележках.

Поток беженцев был уже совсем близко. На дороге стало вдруг очень тихо. Слышно было только шарканье подошв по земле. В какие-то считанные минуты колонна узников преобразилась. Они ни о чем не сговаривались. Они даже не обменялись друг с другом быстрыми, понимающими взглядами. Эти замученные работой, чуть живые от голода люди, словно получили чей-то беззвучный приказ, который воспламенил их кровь, пробудил сознание, хорошенько встряхнул их нервы и мышцы: они вдруг перешла на строевой шаг. Ноги перестали заплетаться, головы поднялись, лица стали жестче, в глазах засветилась жизнь.

— Отпустите меня, — попросил Гольдштейн.

— Перестань!..

— Отпустите меня! Пока они пройдут!

Они отпустили его. Он покачнулся, сцепил зубы и зашагал самостоятельно. Левинский и Вернер стиснули его с двух сторон плечами. Они могли бы и не делать этого. Гольдштейн шел сам. Откинув голову назад, тяжело дыша, но сам, без посторонней помощи.

Шарканье сотен подошв перешло в мерную поступь. Иностранцы — бельгийцы, французы и небольшая группа поляков — печатали шаг вместе со всеми.

Колонны поравнялись друг с другом. Беженцы направлялись в окрестные села. Им пришлось идти пешком, потому что вокзал был разрушен. Их сопровождало несколько штатских с повязками СА^[4]. Женщины выбились из сил. Мужчины шли в мрачном оцепенении. Слышен был детский плач.

— Вот так же и мы уходили из Варшавы, — прошептал поляк за спиной у Левинского.

— А мы из Люттиха, — вставил какой-то бельгиец.

— А мы из Парижа...

— А нас они гнали совсем по-другому... Этим такого и не снилось.

Они не испытывали по отношению к ним злорадства. Или ненависти. Женщины есть женщины, а дети есть дети, на каком бы языке они ни говорили. А злой рок обычно выбирает себе жертвы среди невинных, обходя стороной грешников. Многие из этих усталых беженцев не

сделали и даже не пожелали ничего такого, что позволило бы назвать их участь справедливой. Заслужили они эту участь или не заслужили — узникам сейчас было совсем не до того. То, что они сейчас испытывали, не имело никакого отношения к судьбе отдельных людей к судьбе города и даже всей страны или нации; скорее это было чувство огромной, абстрактной справедливости, воссиявшей над ними, словно солнце, в тот миг, когда они поравнялись с толпой беженцев. Вселенское зло торжествовало победу; заповеди добра были осмеяны и втоптаны в грязь, закон жизни поруган, заплеван и расстрелян; разбой стал обычным делом, убийство превратилось в заслугу, террор был возведен в ранг закона — и вот неожиданно, в этот миг, когда, казалось, сама земля затаила дыхание, четыреста жертв произвола почувствовали, что пробил час и зазвучал некий голос, и маятник, замерев на секунду, двинулся обратно. Они почувствовали, что спасены не просто страны и народы, но самая Жизнь. То, чему придумано много имен, самое древнее и простое из которых — Бог. И это означает: Человек.

Показался хвост встречной колонны. Замыкали невеселое шествие две запряженные сивыми лошадьми фуры с багажом. На какое-то мгновение беженцы и узники лагеря словно поменялись ролями: первые стали вдруг похожи на пленников, а вторые — словно вырвались на свободу. Эсэсовцы нервно бегали взад-вперед вдоль колонны, из всех сил стараясь перехватить хоть какой-нибудь условный знак, хоть какое-нибудь украдкой брошенное слово. Но их усилия были напрасны. Колонна безмолвно шагала вперед; вскоре опять послышалось привычное шарканье, вновь навалилась усталость, Гольдштейну вновь пришлось обхватить руками плечи Вернера и Левинского — и все же, когда показались черно-белые барьеры у входа в лагерь и железные ворота с древним прусским девизом «Каждому свое», они вдруг увидели этот девиз, столько лет звучавший чудовищной издевкой, совсем другими глазами.

Лагерный оркестр ждал у ворот. Играли марш «Фридрикус Рекс». За оркестром стояло несколько эсэсовцев во главе со вторым лагерфюрером. Заключение перешли на строевой шаг.

— Выше ногу! Равнение направо!

Команда корчевщиков еще не вернулась.

— Смирно! По порядку номеров — рассчитайсь!

Вернер и Левинский внимательно следили за лагерфюрером. Тот, покачавшись на носках, крикнул:

— Личный обыск! Первая шеренга — пять шагов вперед марш!

Замотанные в тряпку части нагана в ту же секунду перекочевали назад, в руки Гольдштейна. Левинский почувствовал, что весь взмок.

Шарфюрер СС Гюнтер Штайнбрэннер, как сторожевая овчарка, не спускавший глаз с заключенных, все же успел заметить это едва уловимое движение. Расчищая себе дорогу кулаками, он двинулся в сторону Гольдштейна. Вернер сжал губы. Если тот не успел передать все Мюнцеру — конец!

Прежде чем подоспел Штайнбрэннер, Гольдштейн вдруг повалился наземь. Штайнбрэннер пнул его ногой в бок.

— Встать, сволочь!

Гольдштейн попытался выполнить команду. Встал на колени, выпрямился; на губах у него появилась пена. Он застонал и вновь рухнул на землю.

Штайнбрэннер заглянул в серое, как полотно, лицо Гольдштейна, в его мутные глаза, пнул его еще раз и хотел было поднести ему под нос горящую спичку, чтобы поднять его на ноги, но вспомнил, как недавно насмешил товарищей, воюя с мертвецом. Еще раз попадать впросак ему было совсем ни к чему. Глухо ворча, он нехотя отошел в сторону.

— Ну что там? — лениво спросил второй лагерфюрер командофюрера. — Откуда они? С

оружейного завода?

— Нет. Эти были на расчистке.

— А-а! А где же те?

— Сейчас будут. Уже тащатся на гору, — ответил обершарфюрер, который привел команду с расчистки.

— Хорошо. Тогда освобождайте место. Этих болванов обыскивать ни к чему. Давайте, чешите отсюда.

— Первая шеренга! Кру-гом! Пять шагов вперед — марш! Кругом! — скомандовал обершарфюрер. — Смирно! Правое плечо вперед — марш!

Гольдштейн поднялся. Его качало из стороны в сторону, но он удержался на ногах и остался в строю.

— Выбросил? — почти беззвучно спросил Вернер.

— Нет.

Вернер облегченно вздохнул.

— Точно нет?

— Нет.

Они вошли на территорию лагеря. Эсэсовцы больше не обращали на них никакого внимания. За ними шла команда с военного завода. Этих обыскивали по-настоящему.

— У кого — ?.. — спросил Вернер. — У Ремме?

— Нет. У меня.

Они вышли на апель-плац и заняли свое место.

— А если бы ты не смог встать? — спросил Левинский. — Что тогда? Как бы мы тогда все это забрали у тебя?

— Я бы смог.

— Откуда ты знаешь?

Гольдштейн улыбнулся.

— Когда-то я хотел стать актером...

— Так ты прикидывался?..

— Не совсем. Только когда он приказал встать.

— А пена?

— Это — самое простое.

— И все-таки ты должен был отдать это Мюнцеру. Почему не отдал?

— Я тебе это уже объяснял.

— Тихо! — шепнул Вернер. — СС!

Они замерли.

Глава одиннадцатая

Пополнение прибыло после обеда. Около полутора тысяч человек медленно тащились в гору. Среди них оказалось гораздо меньше доходяг, чем можно было предположить. Всех, кто на марше выбивался из сил и не мог идти дальше, немедленно пристреливали.

Процедура сдачи и приемки затянулась. Конвоиры-эсэсовцы, пригнавшие новую партию, попытались под шумок сбыть с рук десятка два мертвецов, которых они забыли вовремя списать. Но лагерные бюрократы были начеку. Они требовали, чтобы им показали всех до единого, от первого до последнего, живых или мертвых, и принимали только тех, кто живым прошел через лагерные ворота. При этом не обошлось без курьезов, солдаты СС немало позабавились. Около двадцати заключенных выдохлись уже почти перед самыми воротами. Товарищи попытались тащить их с собой, но раздалась команда «Бегом марш!», и многих пришлось предоставить их собственной участи. Усеяв последние сто пятьдесят — двести метров дороги, они хрипели, стонали, пищали, словно подбитые птицы, или просто лежали с распахнутыми от ужаса глазами, не в силах даже кричать. Они знали, что их ждет. На марше они постоянно слышали, как одиночные выстрелы позади колонны одну за другой обрывали сотни жизней их товарищей.

Эсэсовцы сразу же заметили комизм ситуации.

— Смотрите, как они канючат, чтобы их пустили в лагерь! — крикнул Штайнбреннер.

— Пошел! Пошел! — подгоняли отставших эсэсовцы из конвоя.

Те пытались двигаться ползком.

— Черепашьи бега! — ликовал Штайнбреннер. — Ставлю на лысого в середине!

Лысый, который полз, широко расставив руки и колени, был похож на выбившуюся из сил лягушку, распластавшуюся на мокром асфальте. Он быстро догнал ползущего перед ним заключенного; у того то и дело бессильно подламывались руки, но он упорно стремился дальше, оставаясь почти на месте. Все они ползли, как-то нелепо вытянув головы — словно устремив их к спасительным воротам и в то же время напряженно прислушиваясь к тому, что происходит сзади, каждую секунду ожидая выстрела в затылок.

— Давай-давай, Лысый! Жми!

Эсэсовцы встали вдоль дороги с двух сторон, образовав живой коридор. Сзади неожиданно прогремело два выстрела. Шарфюрер из отряда конвоиров с ухмылкой сунул револьвер обратно в кобуру. Он стрелял вверх.

Заключенные, услышав выстрелы, обезумели от страха. Они решили, что кого-то из последних уже пристрелили. От волнения они совсем забуксовали. Один из них вытянул руки вперед и замер на месте. Губы его дрожали, на лбу выступили крупные капли пота. Другой покорно лег на землю и уронил голову на руку. Он больше не шевелился.

— Еще одна минута! — кричал Штайнбреннер. — Шестьдесят секунд! Через минуту двери в рай закрываются. Кто не успеет, останется здесь.

Он посмотрел на часы и взялся за половинку ворот, сделав вид, будто и в самом деле собираются их закрыть. В ответ грянул жалобный хор человекоподобных насекомых. Шарфюрер из конвоиров снова выстрелил в воздух. Насекомые еще отчаяннее засучили ножками. Только заключенный, который лежал ничком, уронив голову на руки, больше не шевелился. Он уже закончил свой путь.

— Ура! — торжествовал Штайнбреннер. — Мой Лысый успел!

Он дал своему фавориту ободряющий пинок в зад. Одновременно с ним ворот достигло еще несколько человек, но большинство отставших все еще были далеко от цели.

— Еще тридцать секунд! — объявил Штайнбреннер голосом спортивного

радиокомментатора.

Ползущие еще торопливее заскребли асфальт, еще громче зашуршали и заскулили. Двое из них, лежа на животе, изо всех сил работали руками и ногами, не двигаясь с места, словно пловцы, борющиеся с сильным течением. Кто-то плакал фальцетом.

— Пищит, как мышь, — заметил Штайнбрэннер, не отрывая глаз от секундной стрелки. — Еще пятнадцать секунд!

Раздался новый выстрел. На этот раз стреляли не в воздух. Заключенный, неподвижно лежавший ничком, вздрогнул, вытянулся и, казалось, еще сильнее прижался к земле. Вокруг головы его расплылась, словно нимб, черная лужа. Молившийся рядом с ним заключенный попытался вскочить на ноги. Ему удалось встать на одно колено, но он тут же потерял равновесие, упал набок и перевалился на спину. Судорожно зажмурил глаза, он продолжал шевелить руками и ногами, словно не замечал, что месит воздух, как младенец в люльке. Это зрелище вызвало взрыв хохота.

— Как ты его собираешь сделать, Роберт? — спросил один из эсэсовцев шарфюрера, который только что застрелил первого. — Сзади через грудь или сбоку через нос?

Роберт не спеша обошел вокруг барахтавшейся жертвы. Задумчиво посмотрел на нее несколько секунд, остановившись сзади, и выстрелил сбоку в голову. Тело, лежащее перед ним, вздрогнуло, выгнулось и обмякло, несколько раз тяжело ударив башмаками по асфальту. Одна нога слегка согнулась в колене, медленно выпрямилась, еще раз согнулась и выпрямилась...

— Этот у тебя не получился, Роберт.

— Получился, — равнодушно возразил Роберт, даже не взглянув на своего критика. — Это просто мышца сокращается. Нерв.

— Все! — объявил Штайнбрэннер. — Ваше время истекло! Ворота закрываются!

Часовые и в самом деле начали медленно закрывать ворота. Раздался вопль ужаса.

— Ну, ну, ну! Не все сразу, господа! — покрикивал Штайнбрэннер с сияющими глазами. — Прошу вас, соблюдайте порядок, не толкайтесь! А еще говорят, что нас здесь не любят!

Трое так и не добрались до ворот. Они лежали на дороге в нескольких метрах друг от друга. Двоих Роберт спокойно прикончил выстрелами в затылок. С третьим пришлось повозиться. Он не спускал с Роберта глаз, и как только тот заходил сзади, он поворачивался и смотрел на него снизу вверх, стараясь хоть на несколько секунд отсрочить выстрел. Дважды Роберт терпеливо менял позицию, и каждый раз он в отчаянном рывке успевал повернуться настолько, чтобы видеть его.

— Как хочешь, — пожав плечами, сказал наконец Роберт и выстрелил ему в лицо.

— Это будет сорок, — прибавил он, пряча пистолет в кобуру.

— Сорок, которых ты уложил? — поинтересовался Штайнбрэннер.

Роберт кивнул:

— В этот раз.

— Черт возьми, да ты, оказывается, парень не промах! — воскликнул Штайнбрэннер, с восхищением и завистью глядя на него, словно он только что установил спортивный рекорд. Роберт был всего на два-три года старше его. — Вот это я понимаю!..

К ним подошел эсэсовец постарше, обершарфюрер.

— Вы все никак не настреляетесь! — заворчал он. — Вам, конечно, наплевать, что нам опять устроят театр из-за этих проклятых бумаг. Они тут выкобениваются, как будто им пригнали одних королей и принцев!..

Регистрация вновь прибывших заключенных длилась уже три часа. За это время тридцать шесть человек потеряли сознание. Четверо из них тут же скончались. За целый день эсэсовцы не

дали своим подконвойным ни капли воды. Двое из шестого блока попытались незаметно подобраться к новеньким с ведром воды, но были схвачены и теперь висели с вывернутыми плечевыми суставами на крестах рядом с крематорием.

Регистрация продолжалась. Еще через два часа мертвых было уже семеро, потерявших сознание около восьмидесяти. С шести часов люди стали падать один за другим. К семи часам на земле, вокруг строя, валялось около ста двадцати человек, и теперь уже трудно было сказать, кто из них мертв, а кто без сознания. И те и другие не шевелились.

В восемь часов регистрация тех, кто еще мог стоять, закончилась. Стемнело. Небо было покрыто серебряными кудрявыми облачками. Вернулись рабочие команды. Сегодня их заставили работать сверхурочно, чтобы успеть до их возвращения разобраться с вновь прибывшими. Те, кто был на расчистке, опять нашли оружие. Уже в пятый раз. И на том же самом месте. Там же они обнаружили записку: «Мы думаем о вас». Они уже знали, что это рабочие военного завода прячут для них по ночам оружие.

— Сегодня мы наверняка проскочим. Посмотри, что здесь творится! — прошептал Вернер.

— Жаль, что мы сегодня так мало несем! — ответил ему Левинский. Под мышкой у него был зажат плоский пакет. — У нас еще есть два дня, не больше. А потом расчистка кончится, и...

— Развести команды по баракам! — скомандовал Вебер. — Поверка будет позже.

— Ах ты ж мать честная! И почему у нас сегодня нет с собой целого пулемета или пушки? — пробормотал Гольдштейн. — Такое везение!..

Они зашагали к баракам.

— Вновь прибывших — на дезинфекцию! — объявил Вебер. — Нам здесь не нужна чесотка. Или тиф. Где капо вещевого склада?

Капо подскочил к нему.

— Вещи этих людей продезинфицировать и подвергнуть дезинсекционной обработке! Хватит у нас подменных комплектов?

— Так точно, господин штурмфюрер. Месяц назад поступило еще две тысячи.

— Верно, — вспомнил Вебер. Одежду прислали из Освенцима. В лагерях смерти этого добра всегда было в избытке, и они делились им с другими лагерями. — А ну-ка живо всех в корыто!

— Раздеться! — понеслась во все концы плаца команда. — Приготовиться к дезинфекции! Личные вещи положить перед собой, одежду и белье — сзади!

Строй чуть заметно колыхнулся. Команда и вправду могла означать, что их поведут мыться. Однако такая же команда дается и перед газовыми камерами. В лагерях смерти узников загоняют в эти камеры голыми, объявив им, что они должны вымыться. Но вместо воды из отверстий, сделанных в потолке, вдруг начинает струиться невидимая, неосязаемая смерть.

— Что делать? — шепнул заключенный Зульцбахер, раздеваясь, своему соседу Розену, — Может упасть в обморок?..

Им опять — уже в который раз — нужно было за каких-нибудь несколько секунд принять решение, от которого зависела их жизнь. Что это за лагерь?.. Если лагерь смерти с газовыми камерами, то лучше изобразить обморок и обрести крохотный шанс прожить чуть дольше: до тех, кто лежит на земле без сознания, очередь обычно доходит позже. Шанс этот, если очень повезет, может обернуться спасением; даже в лагерях смерти убивают не всех. Но если это обычный лагерь, то падать в обморок опасно — могут как нетрудоспособному сразу же влить «обезболивающий» укол.

Розен покосился на тех, что лежали без сознания. Он заметил, что их даже не пытались привести в чувство. «Кажется, все-таки не газовые камеры, — подумал он, — иначе бы они

постарались затолкнуть туда как можно больше».

— Нет, — ответил он шепотом. — Рано.

Темные шеренги словно выкрасили вдруг в грязно-белый цвет: заключенные стояли в строю голыми. Каждый из них был человеком. Но они давно забыли об этом.

Всех вновь прибывших прогнали через огромный чан с концентрированным дезинфицирующим раствором. На вещевом складе каждому из них швырнули по паре одежек, и вот они снова стояли на плацу.

Торопливо одеваясь, они не могли насладиться своим счастьем, если это можно назвать счастьем, — они попали не в лагерь смерти. Вещи, которые им выдали на складе, — снятые с мертвых и наспех выстиранные — болтались, как на вешалке, или трещали по швам. Зульцбахеру достались среди прочих тряпок женские трусы с красной оторочкой, Розену — простреленный стихарь^[5] священника. Вокруг отверстия, оставленного пулей, причудливо расплылось желтоватое кровавое пятно. Многие получили деревянные башмаки с острыми краями, присланные сюда из какого-то расформированного голландского лагеря. Для непривычных, и к тому же еще сбитых до крови ног это были настоящие орудия пыток.

Началось распределение по блокам. И тут завывали городские сирены. Все устремили глаза на лагерфюрера.

— Продолжать! — прокричал Вебер сквозь шум.

Эсэсовцы и капо нервно забегали взад-вперед, путаясь друг у друга под ногами. Шеренги заключенных по-прежнему оставались неподвижными. Только головы чуть заметно приподнялись, и лица смутно белели в лунном свете.

— Головы вниз! — скомандовал Вебер.

Эсэсовцы и капо понеслись вдоль строя, дублируя команду. Время от времени они и сами поглядывали вверх. Голоса их тонули в шуме сирен, и они пустили в ход дубинки.

Вебер, засунув руки в карманы, неторопливо похаживал по краю плаца. Он больше не давал никаких указаний. К нему подлетел Нойбауер.

— В чем дело, Вебер? Почему люди до сих пор не в бараках?

— Их еще не распределили по блокам, — флегматично ответил Вебер.

— Плевать! Здесь им все равно нельзя оставаться. Их могут принять за воинские подразделения.

Сирены завывали уже на другой ноте.

— Теперь уже поздно, — сказал Вебер. — В движении они станут еще заметнее.

Он остановился и посмотрел на Нойбауера. Нойбауер заметил это. Он знал: Вебер только и ждет того, чтобы он побежал в укрытие. Хочешь, не хочешь — придется торчать здесь вместе с ним.

— Что за идиотизм!.. — проворчал он сквозь зубы. — Посылать нам этот сброд!.. То хотят, чтобы мы избавлялись от своих собственных, а то вдруг подсовывают целую партию чужих! Не понимаю! Почему бы всю эту ораву сразу не отправить в лагерь смерти?

— Лагеря смерти расположены слишком далеко на востоке.

— Что вы хотите этим сказать? — насторожился Нойбауер.

— Слишком далеко на востоке. А дороги и железнодорожные линии теперь нужны для других целей.

Страх вдруг опять сдавил Нойбауеру желудок ледяными лапами.

— А-а. Ну конечно. Для переброски крупных сил на фронт. Мы им еще покажем! — сказал он, чтобы подбодрить себя.

Вебер промолчал. Нойбауер мрачно покосился на него.

— Дайте команду «лечь». Может, так они будут меньше похожи на армейскую часть.

— Слушаюсь. — Вебер лениво сделал несколько шагов вперед. — Ложи-ись!

— Ложи-и-сь! — подхватили команду эсэсовцы.

Шеренги повалились наземь, словно скошенные. Вебер вернулся обратно. Нойбауер собрался было уйти, но что-то в поведении Вебера не нравилось ему. Он остался. «Вот еще одна неблагодарная тварь, — подумал он. — Не успел получить из моих рук орден, как уже опять обнаглел. Тоже мне герой! Что ему терять? Две-три побрякушки на своей дурацкой груди, больше ничего! Наемник несчастный!..»

Тревога оказалась ложной. Вскоре раздались сигналы отбоя. Нойбауер повернулся:

— Как можно меньше света! Заканчивайте поскорее. В темноте все равно ничего не видно. Теми, с кем не успели разобраться, пусть с утра займутся старосты блоков и кто-нибудь из канцелярии.

— Слушаюсь.

Нойбауер постоял еще немного, глядя, как вновь прибывших разводят по баракам. Люди с трудом поднимались на ноги. Многие, измучившись за день, сразу же уснули, как мертвые, и теперь товарищи не могли их добудиться. У других просто не было больше сил еще куда-то идти.

— Мертвых — во двор крематория. Всех, кто без сознания, — брать с собой.

— Слушаюсь.

Колонна была наконец кое-как построена и медленно двинулась вниз, по дороге, ведущей к баракам.

— Бруно! Бруно!

Нойбауер обернулся, как ошпаренный кипятком. Через плац, со стороны ворот, шла его жена. Она была близка к истерике.

— Бруно! Где ты? Что случилось? Ты...

Она увидела его и остановилась. Следом за ней шла Фрейя.

— Что вам здесь нужно? — спросил он сдавленным от злости голосом, стараясь, чтобы его не слышал стоявший поблизости Вебер. — Кто вас сюда пустил?

— Часовой... Он же нас знает! Тебя долго не было, и я подумала, может, с тобой что-нибудь случилось. Все эти люди... — Сельма с удивлением смотрела по сторонам, словно только что проснулась.

— Я же вам велел ждать в моей служебной квартире!.. — продолжал Нойбауер по-прежнему тихо. — Я же вам запретил приходить сюда!..

— Папа, — ответила Фрейя, — мама страшно испугалась. Эта огромная сирена, так близко от...

В эту минуту колонна повернула на главную дорожку и пошла мимо них, совсем рядом.

— Что это?.. — прошептала Сельма.

— Это? Ничего! Новая партия заключенных, которые только сегодня прибыли.

— Но...

— Никаких «но»! Вам здесь не место! Уходите! — Нойбауер увлек жену и дочь в сторону. — Быстрее! Вперед!

— Как они выглядят!.. — Сельма с ужасом смотрела на плывущие мимо лица.

— Выглядят? Это заключенные! Враги отечества! Как они, по-твоему, должны выглядеть? Как коммерсанты?

— А те, которых они несут, они...

— Ну хватит! — рявкнул Нойбауер. — С меня довольно! Этого мне еще не хватало! Что за сюсюканье? Они прибыли в лагерь сегодня. Мы никакого отношения к тому, как они выглядят, не имеем. Наоборот — здесь их будут откармливать. Я правильно говорю, Вебер?

— Так точно, оберштурмбаннфюрер. — Вебер скользнул по Фрейе чуть ироничным взглядом и отправился дальше.

— Ну вот, видите! А теперь — уходите! Здесь вам оставаться нельзя. Запрещено. Это не зоопарк!

Нойбауер подталкивал женщин в сторону ворот. Он боялся, как бы Сельма не сказала чего-нибудь лишнего. Нужно было постоянно быть начеку. Положиться нельзя ни на кого. Даже на Вебера. Будь оно все проклято! И принесла же их сюда нелегкая именно сегодня, когда здесь эти вновь прибывшие оборванцы! Он забыл сказать Сельме, чтобы они остались в городе. Хотя они все равно не осталась бы там. Услышав сирены, сразу же примчалась бы сюда. Черт ее знает, что у нее с нервами. Вроде такая солидная женщина. А тут услышала сирену — и ведет себя, как сопливая девчонка.

— А с часовым я еще разберусь! Это же надо — просто так взять и впустить вас сюда!.. Так они скоро начнут пускать сюда всех подряд!

Фрейя обернулась:

— Я думаю, желающих попасть сюда будет не так уж много.

У Нойбауера на секунду перехватило дыхание. Что это? Фрейя! Его родная дочь, его плоть и кровь! Бунт! Он посмотрел на невозмутимое лицо дочери. Нет, она сказала это просто так, без всякой задней мысли. Он вдруг рассмеялся.

— Не знаю, не знаю. Вот эти вот, которые прибыли сегодня, — эти просили, чтобы их оставили здесь. И не просто просили, а клянчили. Клянчили! И плакали! Ты не представляешь себе, как они будут выглядеть через пару недель. Их будет не узнать! Этим наш лагерь и знаменит. Лучший во всей Германии. Настоящий санаторий!

В Малом лагере оставались неоприходованными еще двести человек. Это были самые слабые из вновь прибывших. Они, как могли, поддерживали друг друга. Зульцбахер и Розен тоже оказались в их числе. Заключенные Малого лагеря построились перед своими бараками. Они уже знали, что Вебер сегодня сам участвует в распределении по блокам. Бергер, опасаясь, как бы 509-й и Бухер не попались лагерфюреру на глаза, послал их вместо дежурных на кухню, за едой. Однако они вскоре вернулись ни с чем: начальство распорядилось выдавать ужин только после того, как все будут распределены по блокам.

Света нигде не было. Лишь время от времени вспыхивали на несколько секунд карманные фонарики Вебера и шарфюрера Шульте. Старосты блоков поочередно рапортовали Веберу.

— Остальных можно сунуть сюда, — сказал он второму старосте лагеря.

Тот принялся отсчитывать людей. Вебер не спеша двинулся дальше.

— Почему здесь меньше народу, чем там? — спросил он, поравнявшись с секцией «Г» 22-го блока.

Староста Хандке вытянулся в струну:

— Это помещение меньше, чем другие, господин штурмфюрер.

Вебер включил фонарик. Кружок света медленно пополз по застывшим лицам. 509-й и Бухер стояли в задней шеренге. Луч скользнул по лицу 509-го, ослепив его, пополз дальше и вдруг прыгнул обратно.

— Знакомая рожа. Откуда я тебя знаю?

— Я уже давно в лагере, господин штурмфюрер.

Кружок света опустился ниже и высветил номер на груди.

— Пора бы тебе уже и подохнуть!

— Это один из тех, которых недавно вызывали в канцелярию, господин штурмфюрер, — доложил Хандке.

— Ах да, точно. — Кружок света еще раз скользнул вниз, к номеру, и пополз дальше. —

Запишите-ка этот номер, Шульте.

— Слушаюсь! — ответил ему молодой, по-мальчишески звонкий голос шарфюрера Шульте. — Сколько человек сюда?

— Двадцать. Нет, тридцать. Пусть потеснятся.

Шульте и лагерный староста отсчитали людей и записали номера. Ветераны, не сводившие глаз с Шульте, не заметили, чтобы он записывал номер 509-го. Вебер не произнес его вслух, а фонарь он почти сразу же выключил.

— Готово? — спросил Вебер.

— Так точно.

— Писанину оставьте на завтра. Пусть писари займутся этим с утра. А ну марш в строй! И поскорее подышайте! А не то мы вам поможем.

Вебер широко и уверенно зашагал обратно, в сторону Большого лагеря. Шарфюрер поспешил вслед за ним. Хандке потоптался еще немного на месте и рявкнул:

— Дежурные! Выйти из строя!

— Оставайтесь! — шепнул Бергер 509-му и Бухеру. — На кухню сходят и без вас. Не хватало вам еще раз нарваться на Вебера!

— Шульте записал мой номер?

— Я не заметил.

— Нет, — сказал Лебенталь. — Я стоял впереди и все видел. Он в спешке так и забыл записать.

Тридцать новеньких еще некоторое время почти неподвижно стояли в колышущейся от ветра тьме.

— В бараке еще есть место? — спросил, наконец, Зульцбахер.

— Воды! — произнес кто-то рядом с ним хриплым голосом. — Воды! Ради бога, дайте нам воды!

Кто-то принес до половины наполненное ведро с водой. Новенькие все разом бросились к ведру и опрокинули его. У них не было ни кружек, ни пустых консервных банок. Ползая по земле, они пытались зачерпнуть пролитую воду ладонями. Многие из них со стоном лизали землю, ловили ускользящую влагу языком и черными, запекшимися губами.

Бергер заметил, что Зульцбахер и Розен не участвовали в этой свалке.

— У нас здесь есть кран, рядом с уборной, — сказал он им. — Вода, правда, еле-еле течет, но напиток всегда хватает. Возьмите ведро и сходите туда.

— А вы пока сожрете наши пайки, да? — оскалился один из новеньких.

— Я схожу, — сказал Розен и взялся за ведро.

— Я с тобой, — Зульцбахер тоже ухватился за дужку ведра.

— Ты лучше останься, — остановил его Бергер. — Бухер сходит с ним и покажет кран.

Розен и Бухер ушли.

— Я здесь староста секции, — обратился Бергер к новеньким. — У нас здесь всегда был порядок. Я вам советую вместе с нами поддерживать этот порядок. Если, конечно, хотите пожить подольше.

Ему никто не ответил. Он так и не понял, слушали они его или нет.

— В бараке еще есть место? — вновь спросил Зульцбахер.

— Нет. Приходится спать по очереди. Часть людей ночует на улице.

— А поесть сегодня ничего не дадут? Мы целый день прошагали и вообще ничего не ели.

— Дежурные пошли на кухню. — Бергер промолчал о том, что на вновь прибывших сегодня

вряд ли что-нибудь дадут.

— Меня зовут Зульцбахер. Это лагерь смерти?

— Нет.

— Точно нет?

— Нет.

— О-о... Слава Богу!.. И у вас нет газовых камер?

— Нет.

— Слава Богу, — повторил Зульцбахер.

— Ты так говоришь, как будто попал в гостиницу, — вмешался Агасфер. — Не спеши радоваться. Откуда вас пригнали?

— Мы добирались сюда пять дней. Пешком. Нас было три тысячи человек. Наш лагерь расформировали. Всех, кто не мог идти — пристреливали.

— Откуда вас пригнали?

— Из Ломе.

Часть новеньких лежали на земле.

— Воды! — проскрежетал один из них. — Где этот тип с ведром? Сам небось сначала налакается от пуза! Собака!..

— А ты бы, конечно, поступил иначе? — спросил его Лебенталь.

Тот молча уставился на него пустыми глазами.

— Воды! — повторил он наконец уже спокойнее. — Воды! Пожалуйста!..

— Так вы, значит, из Ломе? — переспросил Агасфер.

— Да.

— А ты случайно не знал там Мартина Шиммеля?

— Нет.

— А Морица Гевюрца? Лысый такой, с перебитым носом?..

Зульцбахер с трудом напряг свою память и покачал головой:

— Нет.

— А может Гедалье Гольда? У этого было одно ухо... — не унимался Агасфер. — Такие вещи бросаются в глаза. Он был в двенадцатом блоке, а? — с надеждой в голосе прибавил он.

— В двенадцатом?

— Да. Четыре года назад.

— О Господи!.. — Зульцбахер отвернулся. Глупее вопроса нельзя было и вообразить. Четыре года назад! Почему не сто?

— Оставь его, старик, — сказал 509-й. — Он устал.

— Мы были друзьями, — виновато пробормотал Агасфер. — Я подумал, может, узнаю, что с ними стало.

Бухер и Розен вернулись обратно с ведром воды. У Розена шла кровь из носа. Стихарь его был разорван у плеча, куртка нараспашку.

— Новенькие дерутся из-за воды, — пояснил Бухер. — Если бы не Маанер, не знаю, что бы мы делали. Он там быстро навел порядок. Сейчас все стоят в очереди. Нам здесь надо сделать то же самое, иначе они опять опрокинут ведро.

Вновь прибывшие поднялись с земли.

— Становись в очередь! — Крикнул Бергер. — всем хватит. Воды много. Кто полезет без очереди, не получит ни капли!

Все покорно выстроились друг за другом. Лишь двое бросились к ведру, но их тут же сбили с ног дубинками. Агасфер и 509-й вынесли свои кружки, и дело пошло.

— Ну что, сходим еще разок? — обратился Бухер к Розену и Зульцбахеру, когда ведро

опустело. — Теперь уже, наверное, неопасно.

Возвратились с кухни дежурные. На вновь прибывших им ничего не выдали. Сразу же вспыхнул скандал. В секциях «А» и «Б» дело дошло до драки. Старосты секций ничего не могли сделать. У них остались почти одни мусульмане, а новенькие были крепче и ловчее.

— Придется им что-нибудь выделить, — тихо сказал Бергер 509-му.

— Только баланду. Хлеб — ни в коем случае. Нам он нужен больше, чем им. Мы слабее.

— Именно поэтому и придется поделиться с ними. Иначе они сами у нас все отнимут. Ты же видишь, что там творится.

— Да, но отдать надо только баланду. Хлеб нужен нам самим. Давай поговорим вон с тем, которого зовут Зульцбахер.

Они отозвали его в сторону.

— Послушай, — сказал Бергер. — На вас мы сегодня ничего не получили. Но мы поделим с вами баланду.

— Спасибо, — ответил Зульцбахер.

— Что?

— Спасибо.

Они удивленно смотрели на него. В лагере не принято было благодарить.

— Ты можешь нам помочь? Ваши опять все опрокинут, а второй раз, сам понимаешь, никто нам ничего не даст. Есть среди вас еще кто-нибудь, на кого можно рассчитывать?

— Розен. И те двое, рядом с ним.

Ветераны и четверо новеньких встретили своих дежурных, возвращавшихся с кухни, окружили их плотным кольцом, и только после того, как Бергер построил остальных своих подчиненных, они поднесли принесенную еду ближе.

Началась раздача. У новеньких не было мисок. Им приходилось тут же, стоя, съесть свои порции и отдавать миски другим. Розен следил за тем, чтобы никто не подходил дважды. Кое-то из старожилов недовольно ворчал.

— Завтра получите свою баланду обратно, — успокаивал их Бергер. — Вы ее сегодня просто одолжили им. — Он повернулся к Зульцбахеру. — Хлеб нам нужен самим. Наши слабее, чем вы. Может, утром они уже что-нибудь выдадут на вас.

— Хорошо. Спасибо вам за баланду. Завтра мы отдадим вам ее обратно. А где нам спать?

— Мы освободим для вас часть нар. Вам придется спать сидя. И все равно на всех места не хватит.

— А вы?

— Мы пока будем здесь, на улице. Потом поменяемся. Мы разбудим вас.

Зульцбахер покачал головой.

— Если они уснут, — их уже будет не растолкать.

Часть новеньких уже спали прямо перед баракком с открытыми ртами.

— Пусть лежат, — сказал Бергер. — А где остальные?

— В бараке. Сами нашли себе места. И в темноте их уже оттуда не выкуришь. Придется, наверное, сегодня оставить все как есть.

Бергер взглянул на небо.

— Может, сегодня будет не так холодно. Сядем у стены, вплотную друг к другу. У нас есть три одеяла.

— Завтра все должно быть по-другому, — заявил 509-й. — В нашей секции не принято действовать нахрапом.

Они сидели у стены, тесно прижавшись друг к другу. Снаружи сегодня оказались почти все

ветераны, даже Агасфер, Карел и «овчарка». Здесь же были Зульцбахер с Розеном и еще около десяти новеньких.

— Мне очень жаль, что так получилось, — сказал в ответ Зульцбахер.

— Ерунда. Ты за других не в ответе.

— Я могу подежурить внутри, — предложил Карел. — Сегодня ночью умрет шесть наших. Они лежат справа от двери. Когда они умрут, мы можем их вынести и по очереди спать на их местах.

— Как ты узнаешь в темноте, умерли они или нет?

— Очень просто. Если наклониться к лицу совсем близко, сразу услышишь — дышит или нет.

— Пока мы их вытаскиваем, их места уже сто раз займут, — возразил 509-й.

— Так я же и говорю! — увлеченно подхватил Карел. — Как только кто-нибудь умрет, я приду и скажу вам, и кто-нибудь из вас сразу же ляжет на его место, а его мы вынесем!

— Хорошо, Карел, — согласился Бергер, — подежурь.

Становилось все прохладнее. Из барака то и дело доносились какие-нибудь звуки: заключенные стонали, бормотали, испуганно вскрикивали во сне.

— Боже мой, — произнес Зульцбахер, обращаясь к 509-му. — какое счастье! Мы ведь думали, что это лагерь смерти. Хоть бы они не отправили нас дальше!..

509-й не отвечал. «Счастье... — повторил он мысленно. — А ведь действительно...»

— Расскажи, как вас гнали, — попросил через некоторое время Агасфер.

— Они расстреляли всех, кто не мог идти. Нас было три тысячи...

— Это мы знаем. Ты уже говорил это не раз.

— Да... — вяло подтвердил Зульцбахер.

— Что вы видели по дороге? — спросил 509-й. — Что делается в стране?

Зульцбахер задумался.

— Позавчера нам повезло — вечером было вдоволь воды, — произнес он, наконец. — Люди иногда давали нам что-нибудь. Иногда нет. Нас было слишком много.

— Один парень ночью принес нам четыре бутылки пива, — вставил Розен.

— Да я не это имею в виду! — нетерпеливо перебил их 509-й. — Как выглядят города? Разрушены?

— Мы шли не через города. Мы их всегда обходили.

— Ну хоть что-нибудь вы видели?..

Зульцбахер посмотрел на 509-го.

— Что можно увидеть, если ты еле ноги передвигаешь, а сзади стреляют?.. Поездов мы не видели.

— А почему ваш лагерь закрыли?

— Фронт был уже близко.

— Да?.. А еще что вы знаете о фронте? Ну говори же! Говори! Где находится Ломе? Сколько километров от Рейна? Далеко?

У Зульцбахера слипались глаза, он отчаянно боролся со сном.

— Да... Порядочно... Километров пятьдесят... а может, семьдесят... Завтра... поговорим...

Спать... хочу... — голова его упала на грудь.

— Примерно семьдесят километров, — сказал Агасфер. — Я там был.

— Семьдесят? А отсюда? — 509-й принялся вычислять расстояние между их лагерем и Ломе. — Двести — двести пятьдесят...

Агасфер покачал головой:

— 509-й, ты все время думаешь о километрах... А ты хоть раз подумал о том, что они могут

сделать с нами то же самое — лагерь закрыть, всех построить и по этапу... Только куда? А что будет с нами?.. Мы же не можем идти.

— Тем, кто не может идти — пуля в затылок!.. — встrepенувшись, выпалил Розен и в то же мгновенье опять заснул.

Все молчали. Так далеко в будущее они еще не заглядывали. Теперь оно само вдруг повисло над ними, словно жуткая, грозная туча. 509-й неотрывно смотрел, как громоздятся друг на друга серебряные облака в темном небе. Потом перевел взгляд на тускло поблескивающую дорогу в долине. «Не надо было отдавать им баланду... — мелькнуло у него в мозгу. — Мы должны копить силы для марша, если погонят по этапу. Хотя — от одной миски баланды не разжиреешь; этих „калорий“ хватило бы на каких-нибудь пять минут ходьбы. А их гнали пять дней подряд...»

— Может, они не будут расстреливать тех, кто останется?.. — произнес он вслух.

— Конечно, нет, — лениво съязвил Агасфер. — Они выдадут им новую одежду, накормят их на прощанье мясом и помашут ручкой...

509-й посмотрел на него. Лицо старика оставалось невозмутимым. Его уже трудно было чем-нибудь испугать.

— Лебенталь идет, — сказал Бергер.

— Лео, ну что там слышно, в Большом лагере? — спросил 509-й Лебенталя, когда тот подсел к ним.

— Они хотят сбить с рук как можно больше новеньких. Левинский узнал об этом от рыжего писаря. Как они их собираются «сбивать с рук», пока неизвестно. Ясно только, что они постараются это сделать как можно быстрее. Чтобы легче было списать трупы: «последствия длительного марша при переброске в другой лагерь» — и дело с концом.

Кто-то из вновь прибывших закричал во сне, всплеснув руками, и тут же вновь захрапел с широко открытым ртом.

— Так значит, в расход пойдут только новенькие, или?..

— Левинский и сам не знает. Но он велел передать, чтобы мы были осторожны.

— Да, нам надо быть осторожными. — 509-й помолчал немного. — Это значит, что мы должны держать язык за зубами. Он ведь это имеет в виду, а?

— Конечно. А что же еще?

— Если мы предупредим новеньких, они затаятся, — заявил Майер. — И если эсэсовцам понадобится определенное количество трупов, они не станут долго гоняться за новенькими, а сделают трупы из нас.

— Верно. — 509-й посмотрел на Зульцбахера, который спал, тяжело уронив голову на плечо Бухера. — Что будем делать? Помалкивать?

Это было тяжелое решение. Если эсэсовцы действительно устроят охоту на вновь прибывших и не наберут нужного количества жертв, они вполне могут наведаться в «отделение шадящего режима». Тем более что новенькие покрепче, чем обитатели Малого лагеря.

Они долго молчали.

— Какое нам до них дело? — сказал наконец Майер. — Мы должны в первую очередь думать о себе.

Бергер тер воспаленные глаза. 509-й теребил свою куртку. Агасфер повернулся к Майеру. В глазах его на секунду отразился бледный свет луны.

— Если нам нет дела до них, — сказал он, — то и до нас тоже никому нет дела.

Бергер поднял голову.

— Ты прав.

Агасфер не ответил. Он спокойно сидел у стены; его старый, высохший череп с глубоко

запавшими глазами, казалось, знал что-то такое, чего не мог знать никто, кроме него.

— Мы скажем только этим двум, — кивнул Бергер на Зульцбахера и Розена. — А они пусть предупредят остальных, если захотят. Больше мы ничего сделать не можем. Мы ведь не знаем, что нас еще ждет.

Из барака вышел Карел.

— Один уже умер.

509-й поднялся.

— Давайте вынесем его. — Он повернулся к Агасферу. — Пошли с нами, старик. Ляжешь на его место.

Глава двенадцатая

Они построились по блокам на плацу Малого лагеря. Шарфюрер Ниманн невозмутимо покачивался на носках. Это был тридцатилетний светловолосый мужчина невоенной наружности в очках, с узким лицом, маленькими оттопыренными ушами и скошенным подбородком. Без мундира его можно было бы принять за мелкого служащего. Он и был им до того, как поступил на службу в СС и стал настоящим мужчиной.

— Внимание! — Голос у Ниманна был высокий, чуть придушенный. — Вновь прибывшие пять шагов вперед — марш!

— Осторожно! — пробормотал 509-й Зульцбахеру.

Перед Ниманном выросли две шеренги.

— Больные и нетрудоспособные — выйти из строя! — скомандовал он.

Шеренги ожили, чуть заметно зашевелились, но команду выполнять никто не торопился. В такие номера уже не верили; все были научены горьким опытом, своим и чужим.

— А ну живее! Кому к врачу или на перевязку — справа становись!

Несколько человек нерешительно вышли из строя и встали справа.

— Что у тебя? — спросил Ниманн у одного из них

— Растертые пятки и сломанный палец на ноге, господин шарфюрер.

— А у тебя?

— Двусторонняя паховая грыжа, господин шарфюрер.

Ниманн спросил еще несколько человек. Двоих отправил обратно. Это был обычный прием, к которому иногда прибегали, чтобы ввести заключенных в заблуждение, усыпить их бдительность. Подействовал он и на этот раз. Кучка больных, стоявших в стороне, стала увеличиваться. Ниманн деловито кивнул головой.

— У кого больное сердце, кто не годится для тяжелой работы, но может штопать носки и чинить обувь — выйти из строя!

Еще несколько человек пристроилось к кучке больных. Ниманн набрал уже около тридцати человек и понимал, что ему вряд ли удастся выманить еще кого-нибудь.

— А остальные, я вижу, в отличной форме! — пролаял он злобно. — Сейчас проверим! Напра-а-во! Бего-о-м марш!

Две шеренги, превратившись в колонну по два, побежали по кругу. Остальные стояли по стойке «смирно» и думали о том, что им тоже грозит опасность. Любого из них, кто, не выдержав долгого стояния в строю, свалится, Ниманн мог запросто забрать с собой, как довесок к полученному товару. Тем более что никто не знал его дальнейших планов. Возможно, он собирался проделать то же самое со старожилками.

Бегущие сделали уже шесть кругов. У них уже заплетались ноги. Однако они поняли, что их гоняли вокруг плаца вовсе не для того, чтобы установить степень их пригодности для тяжелых работ. Это были гонки за право на жизнь. Лица их заливал пот, а в глазах метался, словно огонь, отчаянный, безжалостный страх смерти, не инстинктивный, а осознанный, опирающийся на опыт; такой страх не способно испытывать ни одно живое существо, кроме человека.

Больные, которые сами вышли из строя, теперь тоже поняли, что происходит, и забеспокоились. Двое из них попытались пристроиться к бегущим. Ниманн заметил это.

— Назад! Назад, я сказал!

Но они не слушали его. Обезумев от страха, они бежали по кругу вместе со всеми. У обоих на ногах были деревянные башмаки, которые они, конечно, сразу же потеряли. Носков им вчера вечером не выдали, и теперь они бежали босиком, не обращая внимание на стертые до крови

ноги. Ниманн следил за ними краем глаза. Некоторое время они беспрепятственно бежали вместе с остальными. Но как только на их искаженных лицах появилась жадная надежда, как только они подумали, что, может быть, им все-таки удастся перехитрить смерть, Ниманн сделал несколько шагов вперед и, когда они поравнялись с ним, подставил им ногу. Они со всего маху полетели на землю, попытались было подняться, но Ниманн двумя пинками опрокинул их на спину. Они ползком двинулись вслед бегущим.

— Встать! — крикнул Ниманн своим придушенным тенором. — Марш назад!

Все это время он стоял спиной к бараку 22. Карусель смерти продолжала кружиться. На земле уже лежало четыре человека. Двое из них потеряли сознание. На одном был гусарский мундир, на другом некое подобие обрезанного кафтана поверх дамской сорочки с дешевыми кружевами. Они получили все это вчера на вещевом складе. Капо, раздававший одежду из Освенцима, отнесся к своим обязанностям с юмором. Кроме «дамы» и «гусара», на плацу можно было насчитать еще с десятков заключенных, одетых, как на маскарад.

509-й заметил среди бегущих Розена. Тот ковылял согнувшись в самом хвосте колонны. Он уже еле переставлял ноги. 509-й видел, что он вот-вот свалится. «Тебя это не касается, понял? — сказал он сам себе. — Не смей делать глупостей! Каждый должен думать о себе». Колонна опять поравнялась с баракком. До него было всего лишь несколько метров. Розен бежал уже самым последним. 509-й взглянул на Ниманна, все еще стоявшего спиной к баракку, стрельнул глазами по сторонам. Никому из старост блоков не было до него никакого дела; все смотрели на тех двоих, которым Ниманн сделал подножку. Хандке даже шагнул вперед, вытянув шею. 509-й схватил Розена, тащившегося в этот момент мимо него на подгибающихся ногах, за руку, потянул его на себя и толкнул назад, в середину строя.

— Быстро! В барак! Спрячься!

Он еще несколько секунд слышал позади тяжелое дыхание Розена и видел краем глаза какое-то едва уловимое движение; затем все стихло. Ниманн ничего не заметил. Он так ни разу и не обернулся. Хандке тоже ничего не видел. 509-й знал, что дверь барака была открыта. Он надеялся, что Розен его понял. И еще он надеялся, что тот не выдаст его, если все-таки попадетсЯ. Он должен был сообразить, что ему это уже все равно не помогло бы. Ниманн до этого не пересчитал новеньких, и у Розена появился шанс спастись. 509-й только теперь почувствовал, что у него дрожат колени, а во рту все пересохло. В ушах зазвенела кровь.

Он осторожно покосился на Бергера. Бергер не сводил глаз с движущегося по кругу полуживого табуна, который уже заметно поредел. По его напряженному лицу 509-й понял, что он все видел.

— Он уже в бараке!.. — шепнул ему сзади Лебенталь.

Дрожь в коленях стала еще сильнее. Ему пришлось прислониться к Бухеру.

Повсюду валялись деревянные башмаки, которые вчера выдали многим из вновь прибывших. Они еще не успели к ним привыкнуть и сразу же растеряли их во время бега. Только двое все еще отчаянно клацали своими деревяшками по асфальту. Ниманн протирал стекла очков. Они запотели. От тепла, которое он испытывал, читая в глазах заключенных страх смерти, страх, неумолимо гнавший их вперед, придававший им силы, подымавший их с земли, когда они падали, толкавший их дальше. Он ощущал это тепло желудком и глазами. В первый раз он ощутил его, когда убил своего первого еврея. По правде сказать, он совсем этого не хотел. Это случилось как-то само собой. Всегда чем-то печально озабоченный, затурканный, он сначала даже испугался мысли о том, что ему надо ударить еврея. Но когда он увидел, как тот ползает на коленях и со слезами на глазах выпрашивает себе пощаду, он вдруг почувствовал, что за одно мгновение стал другим — сильным и могущественным; он почувствовал, как гудит в жилах кровь; горизонт отступил вдаль, разгромленная четырехкомнатная квартира мелкого еврейского

конфекционера — замкнутый мешанский мирок, уставленный мебелью с зеленой репсовой обивкой — превратилась в дикую азиатскую пустыню времен Чингис-хана, а торговый служащий Ниманн стал вдруг господином над жизнью и смертью; в голову ударил дурман власти — безграничной власти! — и он все хмелел и хмелел от этого нового, неожиданного чувства, и сам не заметил, как нанес первый удар по мягкому, податливому черепу, покрытому скудными крашеными волосами.

— Группа — стой!

Заклученные не поверили своим ушам. Им уже казалось, что этот бег по кругу никогда не кончится и что они так и будут бегать, пока не свалятся замертво. Люди, бараки, плац — все это, словно неожиданно окрашенное солнечным затмением в какой-то зловеще-серый цвет, продолжало кружиться у них перед глазами. Они держались друг за друга, чтобы не упасть. Ниманн надел очки. Он вдруг почему-то заторопился.

— Трупы сложить сюда!

Все в недоумении уставились на него: трупов пока еще не было.

— Тех, кто сошел с дистанции, — поправился он. — Кто лежит на земле.

Шатаясь, словно пьяные, они отправились собирать своих лежавших на земле товарищей. Они брали из за ноги и за руки и тащили на середину плаца. В одном месте им пришлось «распутывать» целый клубок тел. Бегущие падали здесь друг на друга, когда кто-то неожиданно споткнулся. В неразберихе снующих взад и вперед людей 509-й увидел Зульцбахера. Прячась за спинами стоявших перед ним заключенных, он то пинал кого-то из лежавших на земле по ногам, то дергал его за волосы и за уши; потом наклонился к нему и рывком поднял его на колени. Тот бессильно повалился на землю. Зульцбахер просунул ему руки под мышки и еще раз попробовал поднять его на ноги, но у него ничего не получалось. Тогда он принялся неистово молотить по нему кулаками. Какой-то староста блока оттолкнул его в сторону, но он вновь бросился к лежавшему. Староста пнул его ногой. Он решил, что Зульцбахер имеет зуб на лежавшего и хочет, пользуясь случаем, отыграться за все.

— Козлина вонючий! — проворчал он злобно. — Ты отстанешь от него или нет? Он и без тебя сдохнет.

Через ворота, сделанные в проволочном ограждении, въехал приземистый грузовик, на котором обычно возили трупы. За рулем сидел капо Штрошнайдер. Мотор трещал, как пулемет. Штрошнайдер подъехал вплотную к куче. Началась погрузка. Кое-кто попытался улизнуть: многие уже пришли в сознание. Но Ниманн был начеку и никого не отпускал, краем глаза следя и за теми, кто сам напросился к врачу.

— Все! Этих погрузят больные. Которые вызвались на прием к врачу. Остальные — разойдись!

Люди в ту же секунду со всех ног бросились прочь, в бараки. Больные погрузили всех, кто был без сознания, в кузов, и машина тронулась. Штрошнайдер ехал медленно, чтобы остальные могли поспеть за ним. Ниманн шел рядом.

— Все ваши муки теперь позади! — обратился он к своим жертвам изменившимся, почти приветливым голосом.

— Куда их? — спросил кто-то из новеньких 509-го.

— Наверное в сорок шестой блок.

— А что там такое?

— Не знаю, — ответил 509-й. Он не стал рассказывать то, что было известно в лагере о блоке 46 — что у Ниманна в одном из помещений этого опытно-экспериментального блока имелась пара медицинских шприцев и канистра с бензином и что никто из заключенных, которых он забрал с собой, уже не вернется. И что вечером Штрошнайдер отвезет их всех в

крематорий.

— Кого это ты там дубасил? — спросил 509-й Зульцбахера.

Зульцбахер взглянул на него, но ничего не ответил. Он вдруг несколько раз судорожно глотнул, словно в горле у него застрял комок ваты, и отошел прочь.

— Это был его брат, — ответил за него Розен.

Зульцбахера вырвало; из рта у него шел лишь зеленоватый желудочный сок.

— Смотри-ка! Ты все еще здесь? Они, наверное, про тебя забыли, а?

Хандке остановился перед 509-м и не спеша ощупал его взглядом с ног до головы. Это было вечером. Блоки построились на поверку.

— Тебя же должны были записать. Надо будет поинтересоваться... — Он покачивался с пятки на носок, не сводя с 509-го своих голубых выпуклых глаз. 509-й затаил дыхание. — А?..

509-й не отвечал. Разозлить сейчас чем-нибудь старосту блока было бы самоубийством. Молчание всегда было лучшим средством защиты. Ему теперь оставалось только надеяться на то, что Хандке просто захотелось покуражиться, а в худшем случае — что он опять забудет об этом.

— Что? — повторил Хандке и улыбнулся, обнажив свои желтые, изъеденные кариесом зубы.

— Его номер записали, — спокойно произнес Бергер.

— Да что ты говоришь! — притворно удивился Хандке. — Ты это точно знаешь?

— Да. Шарфюрер Шульте записал его. Я сам видел.

— В темноте? Ну тогда все в порядке. — Хандке продолжал раскачиваться. — Тогда я тем более могу спокойно поинтересоваться, верно? Ему ведь от этого хуже уже не будет, а?

Никто не отвечал.

— Ты еще успеешь разок пожрать, — ласково-доверительно сообщил Хандке 509-му. — Сейчас будет ужин. Блокфюрера спрашивать о тебе бесполезно. Он не в курсе. Я уж знаю, кого о тебе нужно спрашивать, будь спокоен, подлюга!

Он обернулся и, увидев начальство, заорал:

— Смирно!..

Пришел Больте. Блокфюрер, как всегда, торопился. Ему не везло уже целых два часа. И вот, когда наконец пошла настоящая карта, пришлось прервать игру и тащиться сюда. Он еле-еле дождался конца поверки, рассеянно выслушал рапорт и, едва взглянув для вида на кучу трупов, сразу же исчез. Хандке отправил дежурных на кухню, а сам поплелся к проволочному заграждению, отделявшему Малый лагерь от женских барачков. Перед забором он остановился и уставился тяжелым взглядом на ту сторону.

— Пошли в барак, — сказал Бергер. — Кому-то надо остаться и посматривать за ним.

— Я могу, — вызвался Зульцбахер.

— Если он уйдет, скажешь нам. Сразу же!

Ветераны забрались в барак. Все предпочитали не попадаться Хандке лишний раз на глаза.

— Что же делать? — озабоченно пробормотал Бергер. — Неужели эта скотина не шутит?

— Может, он еще забудет. Похоже, что ему опять моча в голову ударила. Эх, достать бы где-нибудь шнапса да накачать его!

— Шнапс!.. — Лебенталь сплюнул. — Это невозможно! Совершенно невозможно!

«Может он просто пошутил?» — подумал вслух 509-й. Он и сам не очень-то верил в это. Хотя в лагере такое часто случалось. Эсэсовцы были большими мастерами держать людей в постоянном страхе. Многие не выдерживали. Одни бросались на проволоку, у других отказывало сердце.

— У меня есть деньги, — шепнул Розен 509-му. — Возьми их. Я их спрятал, когда нас пригнали. Держи, здесь сорок марок. Дай их ему. У нас так иногда делали.

Он сунул деньги 509-му в руку. 509-й машинально взял их, пощупал, почти не отдавая себе отчета в том, что он делает.

— Это не поможет, — сказал он. — Он возьмет их, сунет в карман, а потом сделает то, что хотел сделать.

— А ты пообещай ему достать еще.

— Где я возьму еще?

— У Лебенталя есть кое-что, — подсказал Бергер. — Лео, у тебя есть что-нибудь?

— Да, у меня есть. Но если мы его приучим к деньгам, он будет приходить каждый день и требовать еще. Пока не вытащит у нас все. И тогда мы, как говорится, опять окажемся там, откуда пришли. Только уже без денег.

Все молчали. Никому и в голову не пришло бы осудить Лебенталя за чересчур трезвый практицизм. Он рассуждал по-деловому, вот и все. Вопрос был предельно ясен: стоило ли жертвовать крохотным оборотным капиталом Лебенталя только ради нескольких дней отсрочки для 509-го? Ветераны стали бы тогда получать меньше еды. Может быть, как раз настолько, чтобы двое-трое, а то и все они отбросили концы. Любой из них не задумываясь отдал бы все, что у них было, если бы это действительно могло спасти 509-го. Но шансов на спасение у него почти не было, если Хандке не шутил. Лебенталь был прав. И не стоило рисковать жизнью целого десятка только ради того, чтобы продлить существование одного-единственного всего лишь на два-три дня. Это был один из неписанных законов лагеря, неумолимый закон, благодаря которому они до сих пор были живы. Он был известен им всем. Но в этот раз им не хотелось подчиняться ему. Они искали выход.

— Прибить бы эту гадину!.. — вздохнул Бухер.

— Чем? — откликнулся Агасфер. — Он в десять раз сильнее нас всех, вместе взятых.

— А если мисками?.. Все вместе, одновременно...

Бухер умолк. Он и сам понимал, что это идиотизм. Эсэсовцы повесили бы человек десять, если бы затея удалась.

— Где он там? — спросил Бергер.

— Стоит. На том же самом месте.

— Может, забудет?

— А зачем бы он тогда ждал? Он же сказал — подождет до конца ужина.

Мертвая тишина повисла во тьме барака.

— Дай ему хотя бы эти сорок марок, — сказал через некоторое время Розен 509-му. — Они ведь твои. Я тебе их даю. Тебе одному, понимаешь? Никто не имеет к ним никакого отношения.

— Верно, — подтвердил Лебенталь. — Все правильно.

509-й не отрываясь смотрел в открытую дверь. Он видел темную фигуру Хандке на фоне серого неба. Что-то подобное он где-то уже видел — темная голова на фоне неба и страшная опасность. Он никак не мог вспомнить, где. Ему показалось странным, что он не мог решиться. Он чувствовал, как внутри у него, откуда-то из глубины, медленно поднимается мутное, бесформенное облако — сопротивление, нежелание унижаться перед Хандке. Раньше он никогда не испытывал этого чувства. Раньше в таких случаях всегда был только страх.

— Иди, — подтолкнул его Розен. — Отдай ему деньги и пообещай достать еще.

509-й медлил. Он перестал понимать сам себя. Он знал, что если Хандке действительно решил его угробить, то никакие подкупы уже не помогут. Такое в лагере случалось нередко: те, кого хотели купить, соглашались и брали у заключенного деньги или ценности, а потом отправляли его на тот свет, чтобы он не проболтался. Но день жизни — это день жизни, и за

этот день многое может произойти.

— Дежурные идут, — сообщил Карел.

— Послушай, — зашептал Бергер. — Ты должен попробовать! Дай ему деньги. Если он потом придет и потребует еще, мы ему пригрозим, скажем, что донесем на него за вымогательство. У нас больше десяти свидетелей. Этого вполне достаточно. Мы все заявим, что видели и слышали, как он требует у тебя деньги. Вряд ли он захочет рисковать. Это единственное, что мы можем сделать.

— Идет! — шепнул снаружи Зульцбахер.

Хандке не спеша направлялся к бараку.

— Ну где ты, подлюга? — спросил он, войдя в барак и остановившись неподалеку от них.

509-й шагнул вперед.

— Здесь.

— Так. Ну я пошел. А ты прощайся со своими друзьями и пиши завещание. За тобой придут. С оркестром.

Он ухмыльнулся. Ему очень понравилась собственная шутка.

Бергер толкнул 509-го. Тот сделал еще шаг вперед.

— У вас не найдется для меня одной минуты? Я хотел бы вам кое-что сказать.

— Ты? Мне? Чушь!

Хандке направился к выходу. 509-й пошел за ним вслед.

— У меня есть деньги, — сказал он ему в спину.

— Деньги? Что ты говоришь! И сколько же? — Хандке шел дальше. Он даже не обернулся.

— Двадцать марок. — 509-й хотел сказать «сорок», но что-то ему помешало. Это было растущее внутри сопротивление, похожее на упрямство: он предложил за свою жизнь всего лишь половину.

— Двадцать марок и двадцать два пфеннига!.. Да пошел ты!..

Хандке ускорил шаги. 509-й догнал его и пошел рядом.

— Двадцать марок — это лучше, чем ничего.

— Плевать я хотел и на тебя, и на твои марки.

Теперь уже не было никакого смысла предлагать сорок. У 509-го появилось чувство, будто он совершил роковую ошибку. Надо было предлагать все. Желудок его вдруг словно полетел в пропасть. Сопротивление, которое он испытывал еще несколько секунд назад, — как ветром сдуло.

— У меня есть еще деньги, — произнес но торопливо.

— Смотри-ка! — Хандке остановился. — Да ты, оказывается, капиталист! Дохлый капиталист! Сколько же у тебя еще припрятано?

509-й набрал воздуха в легкие.

— Пять тысяч швейцарских франков.

— Что?

— Пять тысяч швейцарских франков. В несгораемом банковском сейфе в Цюрихе.

Хандке рассмеялся.

— И ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Тебе, сморчку?

— Я не всегда был сморчком.

Хандке некоторое время молча смотрел на него.

— Я перепису на вас половину этих денег, — поспешно прибавил 509-й. — Достаточно моего письменного заявления, и у вас будет две с половиной тысячи швейцарских франков. — Он посмотрел на жесткое, невыразительное лицо Хандке. — Война скоро кончится. И тогда деньги в Швейцарии могут очень пригодиться. — Он выждал секунду. Хандке не торопился с

ответом. — Особенно, если война будет проиграна, — прибавил он медленно.

Хандке поднял голову.

— Та-ак... — произнес он тихо. — Вот ты, значит, о чем уже думаешь! Все рассчитал, все предусмотрел, да?.. Ну ничего, я тебе покажу, как строить планы! Сам себя выдал! Теперь тобой займется еще и Политический отдел — незаконное хранение валюты за границей! Одно к одному! Не-ет, братец, я тебе не завидую!..

— Иметь две с половиной тысячи франков и не иметь — это ведь не одно и то же...

— Это касается и тебя самого. А ну пошел вон! — взревел вдруг Хандке и с силой толкнул 509-го в грудь. Тот полетел на землю.

Хандке исчез в темноте. 509-й медленно поднялся на ноги. К нему подошел Бергер. Догонять Хандке было бесполезно. Да и вряд ли он смог бы его догнать.

— Что случилось? — спросил Бергер.

— Не взял.

Бергер молчал. Он смотрел на 509-го. 509-й вдруг заметил у него в руке дубинку.

— Я предлагал ему еще. Гораздо больше. Не захотел. — Он растерянно огляделся. — Что-то я сделал не так. Не знаю, что.

— И чего он к тебе привязался...

— Он меня почему-то сразу невзлюбил... — 509-й провел рукой по голове, ото лба к затылку. — Да и какое это теперь имеет значение! Я даже предлагал ему деньги в Швейцарии. Франки. Две с половиной тысячи. Он не захотел.

Они вернулись к бараку. Им не надо было ничего рассказывать. Ветераны все поняли без слов. Они остались стоять на своих местах, никто не посторонился, но вокруг 509-го словно вдруг образовалось пустое пространство; его словно отгородили от других прозрачной непроницаемой стеной. Это было одиночество обреченного.

— Чтоб он сдох! — сказал Розен.

509-й взглянул на него. Сегодня утром он спас его. Теперь казалось странным, что еще утром он мог кого-то спасти, а сейчас находится где-то далеко-далеко, откуда уже не протянешь руку.

— Дай мне часы, — обратился он к Лебенталю.

— Пошли в барак, — предложил Бергер. — Надо что-нибудь придумать...

— Нет. Сейчас остается только ждать. Дайте мне часы. И оставьте меня одного...

Они ушли. 509-й сидел и смотрел на циферблат. Стрелки слабо поблескивали в темноте зеленоватым светом. Тридцать минут, думал он. Десять минут туда, десять обратно и десять на доклад и распоряжения. Полкруга большой стрелки — вот все, что ему осталось прожить.

А может быть, все-таки больше, мелькнуло вдруг у него в голове. Если Хандке расскажет там о швейцарских франках, вмешается Политический отдел. Они постараются добраться до этих денег, а значит, он будет жить до тех пор, пока они этим занимаются. Когда он говорил о деньгах Хандке, он не думал об этом. Он думал только о жадности старосты блока. Это был шанс. Но неизвестно, расскажет Хандке о деньгах или нет. Может, он просто напомним о нем Веберу.

Из темноты бесшумно вынырнул Бухер.

— У нас еще осталась одна сигарета. Держи. Бергер хочет, чтобы ты ее выкурил. В бараке.

Сигарета. Верно, у ветеранов еще оставалась одна сигарета. Одна из тех, что принес Левинский после того, как они побывали в бункере. Бункер! Наконец-то он вспомнил, где он видел темную фигуру на фоне неба. В канцелярии. И это был Вебер, с которого все и началось.

— Пошли, — сказал Бухер.

509-й покачал головой. Сигарета. Что-то вроде последней трапезы приговоренного к

смерти. Последнее угощение. За сколько же минут он ее выкурит? За пять? За десять, если будет курить медленно? Треть отпущенного ему времени. Слишком много. Он должен был заниматься чем-то другим. Но чем? Нет, заниматься ему было нечем. Во рту у него вдруг пересохло от нестерпимого желания курить. Но он не хотел уступать этому желанию. Если он закурит, значит признает себя обреченным.

— Уходи! — прошептал он в ярости. — Уходи со своей паршивой сигаретой!

Это нестерпимое желание курить тоже вдруг показалось ему знакомым. На этот раз ему даже не пришлось напрягать память. Эта была сигара Нойбауера, в тот день, когда Вебер пересчитал им с Бухером все кости. Вебер. Опять Вебер. Как всегда. Как и много лет назад...

Ему не хотелось думать о Вебере. Сейчас ему меньше всего хотелось думать о нем. Он посмотрел на часы. Пять минут уже прошло. Он поднял глаза к небу. Ночь была сырая и теплая. Это была одна из тех ночей, когда все растет. Одна из тех, которые словно специально приходят на землю, чтобы напоить влагой корни и раскрыть почки. Весна. Первая весна, принесшая с собой надежду. Растерзанную, отчаянную — лишь тень надежды, странное, слабое эхо, докатившееся из далеких, ушедших лет, но даже это оказалось почти невыносимым, даже от этого кружилась голова и все вокруг менялось на глазах. «Не надо было говорить Хандке, что война будет проиграна...» — подумал кто-то за него.

Слишком поздно. Дело уже сделано. Небо вдруг показалось ему каким-то пыльным, потемневшим, почти обугленным; оно медленно, зловеще опускалось, словно гигантская крышка. Он тяжело дышал. Ему хотелось уползти прочь, забиться в какой-нибудь темный угол или зарыться в землю. Спасти! Вырвать свое сердце, спрятать его, чтобы оно продолжало биться, когда...

Четырнадцать минут. Бормотание за спиной. Монотонное, заунывно-певучее, чужезычное. «Агасфер, — подумал 509-й. — Агасфер молится...» Он прислушался, и прошло, казалось, несколько часов, прежде чем он вспомнил, что это за молитва. Это наполовину бормотание, наполовину пение он слышал уже не раз — каддиш, еврейская молитва за упокой души. Агасфер уже молился за него как за умершего.

— Я еще жив, старик, — сказал он, не оборачиваясь. — Еще как жив! Перестань молиться...

— Он не молится, — ответил ему голос Бухера.

509-й этого уже не слышал. Он вдруг почувствовал, как приближается *тот* страх. В своей жизни он испытал разные страхи: ему хорошо был знаком серый, примитивный страх моллюска в неволе, он хорошо знал острый, рвущий на куски страх перед самым началом пытки, он знал глубокий, трепещущий, как пламя на ветру, страх перед собственным отчаянием — он познал все эти страхи, он выдержал их; но он знал и о существовании еще одного, последнего страха и знал, что этот страх, наконец, добрался и до него — страх всех страхов, великий страх смерти. Он не испытывал его уже много лет и думал, что навсегда избавился он него, что страх этот растворился в сплошном, непрерывном кошмаре, в постоянном присутствии смерти и надвигающейся апатии. Он не чувствовал его даже тогда, когда они с Бухером шли в канцелярию. И вот он вновь каждой клеткой своей ощутил его ледяное прикосновение, и виновата в этом была проснувшаяся в нем надежда. Он вновь ощутил этот страх и сразу же узнал его, все это было знакомо: могильный холод, пустота, распад, беззвучный вопль отчаяния. Уперевшись руками в землю, он смотрел невидящим взором прямо перед собой. Небо вдруг перестало быть небом. Неумолимо надвигающийся мертвенно-серый, тяжелый покров — неужели это небо?.. Где же тогда жизнь, над которой оно должно простираться? Где же сладкие звуки цветения, роста? Где распускающиеся почки? Где эхо — упругое эхо надежды? Последняя, жалкая искра с шипением догорала где-то на самом дне еще пока живого чрева, мерцала, подрагивала, словно в агонии, а рухнувший мир страха вокруг уже костенел, наливался

свинцовой неподвижностью.

Бормотание. Куда исчезло бормотание? Его не было слышно. 509-й медленно поднял руку, но не сразу решился раскрыть кулак, сжимавший часы, словно это были вовсе не часы, а алмаз, который мог превратиться в кусочек угля. Наконец, разжав пальцы и выждав еще несколько секунд, он взглянул на два бледных штриха, обозначивших границу его судьбы.

Тридцать пять минут. Тридцать пять! На пять минут больше тех тридцати, которые он сам себе отмерил. На целых пять минут — страшно дорогих и важных. Но может быть, они достались ему только потому, что сообщение в Политический отдел потребовало чуть больше времени, или просто потому, что Хандке не торопился?

На семь минут больше. 509-й боялся пошевелиться. Он снова дышал и сам чувствовал, что дышит. Все было по-прежнему тихо. Ни шагов, ни окриков. Ни звука. Небо, которое несколько минут назад, нависнув над землей, словно черный, тяжелый свод, грозило раздавить на ней все живое, поднялось выше, снова стало просто небом, дохнуло свежим ветром.

Двадцать минут. Тридцать. Чей-то вздох за спиной. Светлеющее небо. Где-то далеко-далеко. Едва уловимое эхо в груди — далекий удар сердца. Оживающий пульс, крохотный барабан жизни. И вновь эхо. Двойное. И руки, вновь ставшие руками. И искра, которая не погасла, которая еще теплится — теперь даже ярче, чем прежде. Чуть ярче. Благодаря чему-то, что пришло вместе со страхом. Рука бессильно повисла, выронив часы.

— А может.. — испуганно прошептал Лебенталь за спиной у 509-го и суеверно умолк.

Время вдруг утратило всякое значение. Оно растеклось. Растеклось во все стороны, как вода, побежало вниз, по склонам холмов. Он совсем не удивился, когда Бергер поднял с земли часы и сказал:

— Час и десять минут. Сегодня уже ничего не будет, 509-й. А может, и вообще никогда. Может, он передумал.

— Да, — вставил Розен.

509-й обернулся.

— Лео, сегодня, кажется, должны прийти девки?

— Ты сейчас думаешь об этом? — изумился Лебенталь.

— Да.

«О чем же еще, — подумал 509-й. — Обо всем, что только может отнять меня у этого страха, от которого кости превращаются в желатин».

— У нас есть деньги, — сказал он вслух. — Я предложил Хандке только двадцать марок.

— Ты предложил ему только двадцать марок? — не поверил Лебенталь.

— Да. Какая разница — двадцать или сорок! Если он хочет, он возьмет и двадцать, ясно? А если нет, то и сорок не помогут.

— А если он придет завтра?

— Придет — значит, получит свои двадцать марок. А если он все-таки донес на меня, то придут эсэсовцы. Тогда мне деньги тем более не понадобятся.

— Он не донес, — сказал Розен. — Наверняка не донес. Он еще придет за деньгами.

Лебенталь тем временем взял себя в руки.

— Оставь деньги себе, — заявил он решительно. — На сегодня мне хватит.

— Не нужны мне твои деньги! — резко сказал он, заметив, что 509-й собирается возразить. — У меня есть деньги! Оставь меня в покое!

509-й медленно поднялся на ноги. Еще несколько минут назад ему казалось, что он уже никогда не сможет встать, что его кости действительно превратились в желатин. Он пошевелил руками, не спеша пошел вдоль барака, словно желая убедиться, что и ноги его еще могут двигаться. К нему присоединился Бергер. Некоторое время они молчали.

— Послушай, Эфраим, — сказал, наконец, 509-й. — Как ты думаешь, мы сможем когда-нибудь избавиться от страха, если выберемся отсюда?

— Что, худо было?

— Худо. Хуже некуда. Со мной такого еще никогда не было.

— Это потому, что ты опять хочешь жить.

— Ты думаешь?

— Да. Мы все изменились.

— Может быть. Ну так как насчет страха? Избавимся мы от него когда-нибудь или нет?

— Не знаю. От этого страха — да. Это ведь был разумный страх. Страх, имеющий причину.

А другой, постоянный, страх лагерника... Я не знаю. Да и какое это сейчас имеет значение. Сейчас мы должны думать только о завтрашнем дне. О завтрашнем дне и о Хандке.

— Как раз об этом я и не хочу думать, — ответил 509-й.

Глава тринадцатая

Бергер шагал по дороге, ведущей в крематорий. Рядом шли строем шестеро заключенных. Одного из них он знал. Это был прокурор Моссе. В 1932 году он в качестве соистца участвовал в одном процессе против двух нацистов, обвинявшихся в убийстве. Нацистов оправдали, а Моссе сразу же после захвата власти отправили за колючую проволоку. Бергер не видел его с тех пор, как попал в Малый лагерь. Он узнал его по очкам с одним стеклом. Второе Моссе было ни к чему: у него был лишь один глаз; второй ему в 1933 году выжгли сигаретой, на память о процессе.

Моссе шел с краю.

— Куда? — спросил Бергер, не шевеля губами.

— В крематорий. На работу.

Группа обогнала его. Бергер узнал еще одного: социал-демократа, партийного секретаря Бреде. Од вдруг заметил, что все шестеро были политическими. Их сопровождал капо с зеленой нашивкой уголовного. Он насвистывал какую-то мелодию. Бергер вспомнил: это был шлягер из какой-то старой оперетты. В памяти у него даже остались слова: «Прощай, волшебница звонка, прощай, до следующей встречи».

«Волшебница звонка... — озадаченно повторил он про себя, глядя вслед шестерым. — Наверное, какая-нибудь телефонистка.» Почему вдруг вспомнились эти слова? Почему он до сих пор не забыл эту грошовую мелодию и даже идиотский текст? Столько важных вещей давно ушли из памяти.

Он шел не спеша, наслаждаясь свежестью раннего утра. Этот каждодневный путь через рабочий лагерь был для него чем-то вроде утренней прогулки по парку. Еще пять минут до стены, окружавшей крематорий. Пять минут утреннего ветра.

Он увидел, как шестеро заключенных, среди которых были Моссе и Бреде, исчезли в воротах. Странно, что на работу в крематорий послали новых людей. Рабочая команда крематория состояла из особой группы заключенных, которые жили вместе. Их лучше кормили. Кроме того, они пользовались определенными привилегиями. Через несколько месяцев их обычно отправляли в газовые камеры, заменив другими. Теперешний состав команды работал всего два месяца, а посторонних в крематорий посылали очень редко. Бергер был, пожалуй, единственным. В начале его откомандировали сюда всего на несколько дней, а когда умер его предшественник, ему велели продолжать работу. Он не получал усиленного пайка, не жил вместе с командой истопников и поэтому надеялся, что его не отправят через два-три месяца вместе с другими в лагерь смерти. Но это была всего лишь надежда.

Он вошел в ворота и увидел шестерых политических. Они стояли в одну шеренгу неподалеку от виселицы, которая возвышалась посреди двора. Все старались не видеть виселицы. Лицо Моссе изменилось. Своим единственным глазом он испуганно смотрел на Бергера. Бреде опустил голову.

Капо обернулся и заметил Бергера.

— Что тебе здесь надо?

— Откомандирован на работу в крематорий. Осмотр зубов.

— А-а, зубодер. Давай, проходи, не задерживайся. Остальные — смирно!

Шестеро стояли так смирно, как только могли. Бергер пошел дальше. Когда он поравнялся с Моссе, тот что-то прошептал, но он ничего не расслышал. А останавливаться было нельзя: капо наблюдал за ним. «Странно, что такую маленькую группу привел капо, а не просто старший», — подумал он.

Снаружи в подвал крематория вела глубокая косая шахта. В нее бросали трупы, лежавшие штабелями во дворе. Внизу их раздевали, если на них что-то было, отмечали в списках и осматривали на предмет золотых коронок и колец.

Бергер работал в подвале. Он выписывал свидетельство о смерти и удалял золотые коронки. Зубной техник из Цвикау, который делал это до него, умер от заражения крови.

Капо, дежурившего внизу, звали Драйер. Он пришел спустя несколько минут.

— Давай, — буркнул он недовольно и уселся за маленький стол, на котором лежали списки.

Кроме Бергера внизу работали еще четверо из рабочей команды крематория. Они стояли наготове у шахты. Сверху скатился, словно огромный жук, первый труп. Вчетвером они протащили его по цементному полу в центр подвала. Труп уже заоченел. Они торопливо принялись раздевать его, сняли куртку с номером и нашивками; один из них отогнул торчавшую руку вниз и держал ее так, пока не стащили рукав. Потом он отпустил руку, и она опять устремилась вверх, словно упругая ветка. С брюками было меньше хлопот.

Капо записал номер.

— Кольцо? — спросил он.

— Нет. Кольца нет.

— Зубы?

Он осветил фонариком в полуоткрытый рот, на котором запеклась тонкая струйка крови.

— Золотая пломба справа, — доложил Бергер.

— Хорошо. Тащи.

Бергер с щипцами в руке встал на колени рядом с заключенным, державшим голову мертвеца. Остальные уже раздевали следующего; один из них, выкрикнув номер, отбросил одежду в сторону, туда, где лежали вещи первого. Трупы посыпались теперь один за другим, с грохотом и треском, словно в шахту высыпали кучу сухих дров. Они валились друг на друга, сплетаясь в клубок. Один из них приземлился на ноги и так и остался стоять у стены шахты с широко раскрытыми глазами и перекошенным ртом. Скрюченные пальцы рук его застыли, не успев сжаться в кулак. Из открытого ворота рубахи свисала медаль на цепочке. Он стоял, как вкопанный. Трупы с грохотом катились вниз, перелетали через него и падали у его ног. Среди них оказался труп женщины с неостриженными волосами. По-видимому, из лагеря по обмену пленными. Женщина скатилась вниз головой, и волосы ее закрыли лицо стоявшего трупа. Наконец, словно устав от такого количества смерти на плечах, он медленно накренился и опрокинулся наземь. Женщина упала на него. Драйер заметил это, ухмыльнулся и осторожно потрогал языком толстый прыщ на верхней губе.

Бергер тем временем выломал зуб и положил его в один из двух стоявших наготове ящичков. Второй ящик был предназначен для колец. Драйер оприходовал золотую пломбу.

— Смирно! — крикнул вдруг кто-то из заключенных.

Все пятеро встали по стойке «смирно». Вошел шарфюрер СС Шульте.

— Продолжайте.

Шульте сел верхом на стул, стоявший у стола.

— Там наверху работают восемь человек, — сказал он, посмотрев на кучу трупов. — Слишком много. Хватит и четверых. Остальные пусть помогают здесь. Давай, — он показал рукой на одного из заключенных, — позови их сюда.

Бергер снял с пальца очередного трупа обручальное кольцо. Это было, как правило, нетрудно: кольца почти свободно болтались на тощих пальцах. Он положил кольцо в ящик, и Драйер зарегистрировал его. Зубов у этого трупа не было. Шульте зевнул.

По инструкции каждый труп нужно было вскрыть, установить и внести в дело причину смерти. Но об инструкции здесь никто не думал. Лагерный врач появлялся редко, он не любил

смотреть на трупы, и причина смерти была всегда одна и та же. Вестхоф тоже умер от острой сердечной недостаточности.

Оприходованные голые тела складывались рядом с подъемником. Время от времени, в зависимости от загруженности печей, подъемник отправляли наверх, в помещение, где сжигались трупы.

Заключенный, посланный Шульте наверх, вернулся с четырьмя политическими из той группы, которую видел Бергер. Среди них были Моссе и Бреде.

— Живо за работу! — скомандовал Шульте. — Раздевать и регистрировать! Лагерную одежду в одну кучу, штатское — в другую. Обувь отдельно. Вперед!

Шульте, молодой человек двадцати трех лет, белокурый, сероглазый, с ясными, правильными чертами лица, еще до захвата власти был членом гитлерюгенд, которая и воспитала его. Ему внушили, что есть господа и есть недочеловеки, и он твердо верил в это. Он знал расовые теории и партийные догмы, и это была его Библия. Он был неплохим сыном, но без колебаний донес бы на своего отца, если бы тот вздумал выступить против партии. Партия была для него непогрешима, он не знал ничего другого. Заключенные были врагами партии и государства и поэтому стояли вне понятий «сострадание» и «человечность». Они были ничтожнее животных. Если их убивали, то для него это имело не больше значения, чем уничтожение вредных насекомых. Совесть никогда не беспокоила его. Он прекрасно спал, и единственное, что его огорчало, — это то, что он не попал на фронт. Его оставили в лагере из-за порока сердца. Он был надежным товарищем, любил музыку и поэзию, и считал пытки необходимым средством для получения информации, поскольку все враги партии лгали. Выполняя приказы начальства, он в своей жизни убил шесть человек — двоих из них медленно, чтобы узнать имена сообщников, — и почти не вспоминал об этом. Он был влюблен в дочь члена местного суда и писал ей милые, слегка романтические письма. В свободное время он любил петь. У него был приятный тенор.

Наконец, у подъемника были уложены последние трупы. Их притащили Моссе и Бреде. Лицо Моссе просветлело. Он даже улыбнулся Бергеру. Его страх оказался напрасным. Он решил было, что их отправят на виселицу. И вот он работал, как ему было велено. Все в порядке. Он спасен. Он работал быстро, чтобы ни у кого не могло возникнуть и тени сомнения в его добрых намерениях.

Открылась дверь и вошел Вебер.

— Смирно!

Все заключенные застыли на местах, вытянув руки по швам. Вебер, в своих элегантных, начищенных до зеркального блеска сапогах, подошел к столу. Он любил хорошие сапоги. Это была единственная его страсть. Он аккуратно погасил сигарету, которую закурил, чтобы перебить трупную вонь.

— Закончили? — спросил он Шульте.

— Так точно, господин штурмфюрер. Только что. Все записано и оприходовано.

Вебер заглянул в ящики с золотом. Вынул медаль, снятую с трупа, который приземлился на ноги.

— А это что такое?

— Святой Христофор, господин штурмфюрер, — с готовностью объяснил Шульте. — Эта медаль приносит счастье.

Вебер ухмыльнулся. Шульте не замечал нелепости сказанного.

— Хорошо, — сказал Вебер и положил медаль обратно в ящик. — Где эти четверо, сверху?

Четверо заключенных сделали шаг вперед. В этот момент дверь опять открылась, и вошел

шарфюрер СС Гюнтер Штайнбреннер с двумя политическими, остававшимися наверху.

— Становитесь рядом с этими четырьмя, — приказал Вебер. — Остальные — брысь отсюда! Наверх!

Заклученные из рабочей команды крематория мгновенно исчезли. Бергер отправился вслед за ними. Вебер смерил взглядом оставшихся шестерых.

— Не сюда, — сказал он, наконец. — Вон туда, где крюки.

Из стены, прямо напротив шахты, примерно на полметра выше человеческого роста, торчали четыре мощных крюка. Справа от них, в углу, стояла скамейка на трех ножках; рядом в ящике лежали короткие веревки с петлей на одном конце и железным крюком на другом.

Вебер ловко, толчком своего левого сапога, придвинул скамейку одному из заключенных.

— Становись!

Тот затрясся и встал на скамейку. Вебер взглянул на ящик с веревками.

— Давай, Гюнтер, — сказал он Штайнбреннеру. — Начинай представление. Покажи, на что ты способен.

Бергер сделал вид, будто помогает грузить трупы на носилки. Никому и в голову бы не пришло заставить его это делать: он был для этого слишком слаб. Просто старший истопник закричал им, чтобы они не слонялись без дела, когда их прогнали из подвала, и самым мудрым было хотя бы сделать вид, будто выполняешь приказание.

На носилках лежали два трупа: женщина с распущенными волосами и мужчина, который, казалось, был вылеплен из грязного воска. Бергер приподнял женщину за плечи и заправил под них ее волосы, чтобы они не вспыхнули и не обожгли им руки, когда они будут совать носилки в печь. Странно, что волосы не остригли. Раньше это делалось регулярно, и волосы собирали в мешки. Теперь это, наверное, не имело смысла — в лагере осталось слишком мало женщин.

— Готово, — сказал он остальным.

Они открыли двери печей. Лица их обдало жаром. Они рывком задвинули низкие железные носилки в огонь.

— Закрывай! — крикнул один из них. — Закрывай!

Двое заключенных проворно закрыли тяжелые двери, но одна из них тут же вновь распахнулась. Бергер увидел, как женщина на носилках встрепенулась и выпрямилась, словно проснувшись. Вспыхнувшие волосы озарили ее голову, как трепещущий огненно-белый нимб; дверь, отскочившая вначале из-за застрявшей внизу тоненькой косточки, наконец, захлопнулась.

— Что это было? — испуганно спросил один из заключенных. До сих пор он только раздевал трупы. — Она что, была еще жива?

— Нет. Это жар, — ответил ему Бергер хриплым голосом. От жары у него пересохло в горле. — Они всегда шевелятся.

— А иногда танцуют вальс, — прибавил могучий истопник из рабочей команды крематория, проходя мимо. — А вы-то что здесь делаете? Призраки подземелья!

— Нас послали наверх.

— Зачем это? Или вы тоже собрались в печь? — Истопник рассмеялся.

— В подвал пригнали новых.

Истопник перестал смеяться.

— Что? Новых? Для чего?

— Я не знаю. Шестеро новеньких.

Истопник испуганно уставился на Бергера. Белки глаз на его черном лице засверкали еще ярче.

— Этого не может быть! Мы здесь всего два месяца! Они же не могут заменить нас так

рано. Они не посмеют! Послушай, это точно?

— Да. Они сами сказали.

— Узнай, в чем там дело! Ты можешь это узнать?

— Я попробую, — сказал Бергер. — У тебя нет случайно чего-нибудь съедобного? Куска хлеба или чего-нибудь другого? Я все узнаю.

Истопник вынул из кармана кусок хлеба, разломил его на две части и протянул Бергеру кусок поменьше.

— Держи. Только узнай все поточнее. Мы должны это знать!

— Хорошо. — Бергер обернулся: кто-то постучал ему сзади по плечу. Это был «зеленый» капо, который привел в крематорий Моссе, Бреде и еще четверых политических.

— Это ты зубодер?

— Да.

— Там надо выдрать еще один зуб, в подвале. Тебе велели спуститься.

Капо был бледен. Лицо его заливал пот. Он прислонился к стене. Бергер взглянул на истопника, который дал ему хлеб, и прищурил один глаз. Тот отправился вслед за ним к выходу.

— Все уже выяснилось, — сказал Бергер. — Это была не смена. Их уже нет в живых. Я пошел.

— Это точно?

— Да. Иначе бы мне не велели спуститься вниз.

— Слава Богу. — Истопник облегченно вздохнул — Дай-ка мне мой хлеб.

— Нет. — Бергер сунул руку в карман и зажал в кулаке кусок хлеба.

— Дубина! Я хочу дать тебе бульший кусок. За такое дело не жалко.

Они поменялись, и Бергер вернулся в подвал. Штайнбренера и Вебера там уже не было. Остались Шульте и Драйер. На крюках у стены висело четыре трупа. Один из них был Моссе. Его повесили в очках. Бреде и последний из шести уже лежали на полу.

— Снимай вон того, — равнодушно произнес Шульте. — У него впереди золотая коронка.

Бергер попытался приподнять труп. У него ничего не получалось. Драйеру пришлось помочь ему. Труп повалился на землю, словно кукла, набитая опилками.

— Это он? — спросил Шульте.

— Так точно.

Бергер вытащил глазной зуб повешенного вместе с коронкой и положил его в ящик. Драйер сделал соответствующую запись в своих бумагах.

— А у остальных что? — спросил Шульте.

Бергер осмотрел двоих лежавших на полу. Капо посветил ему карманным фонариком.

— У этих ничего. У одного пломбы из цемента и амальгамы с серебром.

— Это нам ни к чему. А у тех, что висят?

Бергер тщетно пытался приподнять Моссе.

— Брось, — нетерпеливо произнес Шульте. — Так даже лучше видно, пока они висят.

Бергер отодвинул в сторону распухший язык, торчавшей из широко раскрытого рта. Сквозь единственное стекло на него в упор смотрел выпученный глаз. Из-за толстой линзы он казался еще больше и неестественнее, чем был на самом деле. Веко над второй, пустой глазницей было приоткрыто. Из-под него сочилась прозрачная жидкость. Щека повешенного была мокрой от нее. Капо стоял сбоку от Бергера, Шульте — за спиной. Бергер чувствовал на своей шее его дыхание. Из рта Шульте пахло мятными таблетками.

— Ничего нет, — сказал Шульте. — Давай следующего.

Со следующим было проще. У него не было передних зубов. Ему их выбили. Две пломбы из амальгамы с серебром, справа, — ничего ценного. Бергер опять почувствовал на шее дыхание

Шульте. Дыхание старательного национал-социалиста, который со спокойной совестью исполняет свой долг, самозабвенно ищет золотые пломбы, равнодушный к безмолвному обвинению только что убитого рта. Бергер вдруг почувствовал, что больше не в состоянии выносить это прерывистое мальчишечье дыхание. «Как будто ищет птичьи яйца в гнезде...», — подумал он.

— Хорошо. Ничего нет, — разочарованно сказал Шульте. Он взял со стола один из списков и ящик с золотом. — Распорядитесь, чтобы этих отправили наверх, а здесь все как следует выдраили.

Он ушел, молодой, стройный и невозмутимый. Бергер принялся раздевать Бреде. Это было просто, он мог управиться один. Эти трупы еще не успели остыть. На Бреде были штатские брюки, майка-сетка и кожаная куртка. Драйер закурил сигарету. Он знал, что Шульте больше не придет.

— Он забыл очки, — сказал Бергер.

— Что?

Бергер показал на Моссе. Драйер подошел ближе. Бергер снял очки с мертвого лица. Штайнбрэннеру показалось забавным повесить Моссе в очках.

— Одна линза еще цела, — сказал Капо. — Но кому она нужна — одна-единственная линза: Разве что детям, выжигать что-нибудь на солнце.

— Хорошая оправа.

Драйер наклонился поближе.

— Никель, — бросил он презрительно. — Дешевка.

— Нет, — возразил Бергер. — Это белое золото.

— Что?

— Белое золото.

Капо взял очки в руку.

— Белое золото? Это точно?

— Совершенно точно. Оправа грязная. Если ее вымыть с мылом, вы сами увидите.

Драйер взвесил очки на ладони.

— Тогда это совсем другое дело.

— Да.

— Надо их записать.

— Списков уже нет, — сказал Бергер и посмотрел на Капо. — Шарфюрер Шульте унес их с собой.

— Ничего. Я могу его догнать.

— Да, — сказал Бергер, продолжая в упор смотреть на Драйера. — Шарфюрер Шульте не обратил внимания на очки. Или решил, что они не представляют собой никакой ценности. Может, они и в самом деле ничего не стоят. Я могу ошибаться. Может, это действительно никель.

Драйер поднял глаза.

— Их ведь могли выбросить, — продолжал Бергер. — Вон на ту кучу ненужного хлама. Разбитые очки в дешевой металлической оправе.

Драйер положил очки на стол.

— Давай-ка заканчивай с этими.

— Одному мне не справиться. Они слишком тяжелые.

— Ну значит, позови еще троих сверху.

Бергер отправился наверх и вскоре вернулся с тремя заключенными. Вчетвером они сняли Моссе. Из легких клокоча вырвался сжатый воздух, когда они ослабили петлю на шее. Крюки

были вбиты в стену с таким расчетом, чтобы ноги повешенного едва касались земли. Так он умирал гораздо медленнее. На обычной виселице от падения почти всегда ломались шейные позвонки. В Тысячелетнем рейхе этому положили конец. Виселицы были приспособлены для медленного удушения. Здесь хотели не просто убивать — здесь хотели убивать как можно медленнее и болезненнее. Одним из первых успехов нового правительства была отмена гильотины и введение обычного топора.

Обнаженный труп Моссе лежал на полу. Ногти на руках были поломаны. Под них набилась белая известка. Задышавшись, он цеплялся ногтями на стену. Ободранная штукатурка красноречиво подтверждала это. Сотни повешенных цеплялись за эту стену и оставили здесь следы своих ногтей. И ног — на полу.

Бергер положил одежду и обувь Моссе на соответствующую кучу тряпок и башмаков, потом посмотрел на стол. Очков не нем уже не было. Не было их и на куче бумаг — замусоленных писем и записок, извлеченных из карманов мертвецов.

Драйер не поднимал глаз. Он усердно наводил порядок на столе.

— Что это такое? — спросила Рут Холланд.

Бухер прислушался.

— Птица поет. Скорее всего дрозд.

— Дрозд?

— Да. Так рано весной поют только дрозды. Это дрозд, я вспомнил.

Они сидели на корточках по обе стороны двойного забора из колючей проволоки, отделявшего женские бараки от Малого лагеря. Никто не обращал на них внимания: Малый лагерь был уже так переполнен, что люди сидели и лежали повсюду. Кроме того, часовые покинули вышки, потому что время их истекло. Они не стали дожидаться смены. Такое теперь случалось все чаще. Это было запрещено, но с дисциплиной дело давно уже обстояло не так, как раньше.

Солнце стояло низко. Оно окрасило багровым цветом окна города. Целая улица, которая не пострадала во время бомбежек, светилась, словно дома пылали изнутри. В реке отражалось тревожное небо.

— А где он поет?

— На той стороне. Там, где стоят деревья.

Рут Холланд устремила неподвижный взгляд сквозь колючую проволоку на то, что было «на той стороне»: луг, поля, горстка деревьев, крестьянский дом под соломенной крышей и дальше, на холме, белый низкий домик с садом.

Бухер смотрел на нее. Солнечный свет сделал ее изможденное лицо чуть мягче. Он достал из кармана корку хлеба.

— Рут! Держи! Бергер дал мне это для тебя. Сегодня. Лишняя порция.

Он ловко бросил корку сквозь проволоку. Лицо ее дрогнуло. Корка лежала рядом с ней. Она ничего не отвечала.

— Это твой хлеб, — выговорила она наконец с трудом.

— Нет. Я уже съел свой.

Она глотнула.

— Ты только говоришь так...

— Да нет же, правда нет! — Он видел, как пальцы ее потянулись к корке.

— Ешь медленно. Так получается больше.

Она кивнула, уже жуя.

— Я и не могу быстро жевать. У меня опять выпал зуб. Они просто выпадают и все! И даже

не больно. Это уже шестой.

— Если не больно, значит, ничего страшного. В нашем бараке у одного загноилась вся челюсть. Он все время стонал, пока не умер.

— У меня скоро совсем не останется зубов.

— Можно ведь вставить искусственные. У Лебенталя тоже вставная челюсть.

— Я не хочу вставную челюсть.

— А почему бы и нет? Многие ходят с протезами. В этом действительно ничего страшного нет, Рут.

— Никто мне здесь не будет делать протезы.

— Здесь, конечно, нет. А *потом* — можно будет заказать. Есть прекрасные протезы. Гораздо лучше, чем у Лебенталя. У него старый. Почти двадцать лет. Сейчас делают совсем другие — такие, что их совсем не чувствуешь. Они крепко держатся и выглядят лучше, чем настоящие зубы.

Рут доела хлеб и медленно обратила взгляд своих тусклых глаз к Бухеру.

— Йозеф... Ты действительно веришь, что мы когда-нибудь выберемся отсюда?

— Конечно! Еще как верю! 509-й тоже в это верит. Мы теперь все в это верим.

— А что потом?

— Потом... — Бухер еще никогда не заглядывал так далеко в будущее. — Потом мы будем на свободе, — произнес он, хотя и сам вряд ли смог бы по-настоящему представить себе это.

— Нам опять придется скрываться. Они опять начнут охотиться за нами. Как охотились раньше.

— Они больше не будут охотиться за нами.

Она долго молча смотрела на него.

— И ты в это веришь?

— Да.

Она покачала головой.

— Может, они и оставят нас в покое на некоторое время. Но потом они опять примутся за нас. Они не знают ничего другого...

Дрозд вновь запел. Его четкая, сладостная песнь была невыносима.

— Они больше не будут охотиться за нами, — повторил Бухер. — Мы будем вместе. Мы уйдем из лагеря. Забор из колючей проволоки снесут. Мы пересечем вон ту дорогу, и никто не будет в нас стрелять. Никто не вернет нас обратно. Мы пойдем через поля, войдем в какой-нибудь дом, такой, как тот белый, на той стороне, и сядем на стулья...

— Стулья...

— Да. На настоящие стулья. Там будет стол и фарфоровые тарелки, и огонь в камине...

— И люди, которые нас прогонят...

— Они не прогонят нас. Там будет кровать с одеялами и чистыми простынями. И хлеб, и молоко, и мясо...

Бухер заметил, что лицо ее исказилось.

— Ты должна в это верить, Рут, — произнес он беспомощно.

Она плакала без слез. Глаза ей просто заволокло какой-то мутной, дрожащей пеленой.

— В это так трудно поверить, Йозеф.

— Ты должна верить, — повторил он — Левинский принес новости: американцы и англичане уже давно перешли Рейн. Они придут. Они освободят нас. Скоро.

Сумерки наступили неожиданно. Солнце коснулось верхушки горы, и город мгновенно погрузился в голубую тьму. Окна погасли. Река затаилась. Все вокруг затихло. Умолк даже дрозд. Только небо ожило, разгорелось. Облака превратились в перламутровые кораблики.

Широкие лучи, протянувшиеся к ним из-за горы, казались сотканными из света ветрами, которые гонят кораблики в багровую пропасть заката. Один из этих последних лучей упал на маленький белый домик, стоявший на холме, и он еще долго мерцал среди всеобщего мрака, словно маяк, такой близкий и в то же время такой далекий.

Они заметили птицу, когда она была уже совсем рядом — маленький черный комок с крыльями. Они увидели ее на фоне огромного неба; она взметнулась вверх, а потом вдруг, словно передумав, бросилась к земле; они увидели ее, и оба почувствовали, что надо что-то сделать, но даже не успели понять, что: ее четкий силуэт вдруг оказался совсем близко — маленькая головка с желтым клювом, расправленные крылья и круглая грудка, полная мелодий, — и в тот же миг раздалось легкое потрескивание; из заряженной электричеством колючей проволоки брызнули искры, крохотные, бледные, но смертельно опасные, и от птицы не осталось ничего, кроме обугленного кусочка мыса, повисшего на проволоке, у самой земли, крохотной лапки и клочка крыла, которое одним-единственным неосторожным взмахом разбудило смертью

— Это был дрозд, Йозеф!..

Бухер увидел ужас в глазах Рут Холланд.

— Нет, Рут, — проговорил он поспешно. — Это была другая птица. Это не дрозд. И даже если это был дрозд, то не тот, который пел, наверняка не тот, Рут, не наш дрозд...

— Ты уже, наверное, подумал, что я про тебя забыл, а? — спросил Хандке.

— Нет.

— Вчера было уже поздно. Но у нас еще есть время. Времени донести на тебя больше чем достаточно. Завтра, например. Целый день.

Он стоял перед 509-м.

— Ну что скажешь, миллионер? Швейцарский миллионер!.. Не волнуйся, они выколотят эти денежки из твоих почек, франк за франком.

— А зачем их выколачивать? Их можно получить гораздо проще. Я подписываю бумагу, и они мне больше не принадлежат. — 509-й твердо посмотрел Хандке в лицо. — Две с половиной тысячи. Это большие деньги.

— Пять тысяч, — поправил его Хандке, — для гестапо. Или ты думаешь, они захотят с тобой поделиться?

— Нет. Пять тысяч для гестапо, — подтвердил 509-й.

— А для тебя — кузлы и крест, и бункер, и Бройер со своими методами. А потом виселица.

— Это еще неизвестно.

Хандке рассмеялся.

— А что же еще? Почетная грамота? За запрещенные деньги?

— Нет, конечно. — Он все еще смотрел Хандке в лицо. Ему и самому казалось странным, что он не испытывает страха, хотя понимает, что жизнь его зависит от Хандке. Все его чувства вдруг заглушила ненависть. Не та мутная, слепая, маленькая ненависть — повседневная грошовая ненависть одной отчаявшейся, умирающей от голода твари к другой, — нет, он почувствовал в себе холодную, ясную, интеллигентную ненависть; он почувствовал ее так остро, что вынужден был опустить глаза, боясь, как бы Хандке не прочел ее в них.

— Ну, а что же тогда? Ты можешь мне сказать, ты, хитрожопая обезьяна?

509-му ударил в нос запах из рта Хандке. Это тоже было странным: вонь Малого лагеря почти совершенно исключала возможность какого-либо индивидуального запаха. 509-й понимал, что воспринимает этот запах не потому, что он сильнее царившего здесь запаха трупов; его обоняние выделило этот запах, потому что он ненавидел Хандке.

— Ты что, язык проглотил от страха?

Хандке пнул его в голень. 509-й не отпрянул назад.

— Я не думаю, что меня будут пытаться, — произнес он спокойно и снова посмотрел Хандке в глаза. — Это было бы нецелесообразно. Я могу умереть раньше времени. Я слишком слаб и уже совсем не гоюсь для их методов. В этом сейчас мое преимущество. Гестапо придется подождать со всем этим; я им нужен — до тех пор, пока деньги не окажутся в их руках. Я ведь единственный, кто может распоряжаться деньгами. В Швейцарии у гестапо нет власти. До тех пор, пока они не получают деньги, я в безопасности. А чтобы их получить, им понадобится некоторое время. А за это время многое может измениться.

Хандке думал. Несмотря на темноту, на плоском лице его 509-й мог без труда различить признаки напряженной работы ума. Он пристально всмотрелся в это лицо. Его словно освещали изнутри невидимые прожекторы. Само лицо не изменилось, но каждая деталь в нем стала крупней и отчетливей, как под лупой.

— Да-а... Это ты неплохо придумал... — процедил наконец староста блока сквозь зубы.

— Я ничего не придумывал. Все так и есть.

— А как насчет Вебера? Он ведь хотел с тобой побеседовать! Этот не будет ждать.

— Будет, — спокойно возразил 509-й. — Господину штурмфюреру Веберу придется подождать. Гестапо позаботится об этом. Швейцарские франки для них важнее.

Выпуклые, бледно-голубые глаза Хандке сверкали так, что казалось, будто они вращаются. Рот беззвучно шевелился.

— Ох и умный же ты стал, как я погляжу!.. — проговорил он, наконец. — Еще недавно ты даже срать по-человечески не мог! Что-то вы все здесь в последнее время разыгрались, как жеребцы! Козлы вонючие! Ну ничего, погодите, скоро успокоитесь! Они вас еще прогонят через трубу! — он ткнул 509-го пальцем в грудь. — Где твои двадцать хрустув? — прошипел он вдруг.

509-й достал из кармана деньги. На секунду он почувствовал желание не делать этого, но в тот же миг понял: это было бы самоубийством. Хандке вырвал у него деньги из рук.

— За это можешь срать еще один день, — заявил он и принял величественный вид. — Дарю тебе еще один день жизни, червь несчастный! Один день, до завтра.

— Один день, — повторил 509-й.

Левинский подумал немного.

— Вряд ли он это сделает, — сказал он, наконец. — Какая для него в этом польза?

509-й поднял плечи.

— Никакой. Просто от него можно всего ожидать, когда он выпьет. Или когда у него очередной приступ бешенства.

— Надо от него избавиться. — Левинский опять призадумался. — Сейчас мы, как назло, ничего не можем предпринять. Момент неподходящий: эсэсовцы прочесывают поименные списки. Мы прячем, кого можем в лазарете. Скоро придется и вам пару человек подбросить. Вы ничего против не имеете, а?

— Нет. Если вы принесете для них и еду.

— Само собой разумеется. Теперь вот еще какое дело. У нас каждый день можно ожидать облавы или проверки. Вы не могли бы спрятать пару вещей, так, чтобы никто не мог найти?

— Большие вещи?

— Размером... — Левинский посмотрел по сторонам. Они сидели в темноте, за баракком. Никого, кроме вереницы плетущихся в сторону уборно «мусульман», не было видно. — Размером, например, с наган...

— Наган?

— Да.

509-й помолчал несколько секунд.

— Под моей койкой есть дыра в полу, — быстро произнес он сдавленным голосом. — Доски рядом с ней еле держатся. Там можно спрятать не только наган. Очень просто. Здесь не бывает проверок.

Он не замечал, что говорит так, будто это не его уговаривают подвергнуть себя риску, а он сам просит позволить себе это сделать.

— Он у тебя с собой?

— Да.

— Давай его сюда.

Левинский еще раз осмотрелся.

— Ты ведь понимаешь, что он для нас значит?

— Да-да, — нетерпеливо ответил 509-й.

— Его очень нелегко было достать. Нам не раз приходилось рисковать жизнью.

— Хорошо, Левинский. Я буду осторожен. Давай его мне.

Левинский сунул 509-му в руку какой-то бесформенный предмет. 509-й ощупал его. Пистолет оказался тяжелее, чем он ожидал.

— А что на него намотано? — спросил он.

— Промасленная тряпка. Там в этой дырке, у тебя под койкой — сухо?

— Да, ответил 509-й. Это была неправда. Но ему не хотелось отдавать оружие обратно.

— Он с патронами? — спросил он.

— Да. Но патронов мало. Всего несколько штук. Кстати, он заряжен.

509-й спрятал наган за пазуху, под рубаху, и застегнул куртку. Он ощутил его под сердцем, и по коже у него пробежала легкая дрожь.

— Я пошел, — сказал Левинский. — Береги его как зеницу ока. Спрячь его сразу же. — Он говорил об оружии, как о каком-то очень важном человеке. — В следующий раз со мной придет кто-нибудь из наших. У вас действительно есть место? — Он посмотрел в сторону темного апель-плаца, на котором чернели какие-то неподвижно лежащие тела.

— У нас есть место, — ответил 509-й. — Для ваших людей у нас всегда найдется место.

— Хорошо. Если придет Хандке, дай ему еще денег. У вас еще что-нибудь осталось?

— У меня еще есть кое-что. На один раз.

— Мы тоже попробуем что-нибудь наскрести. Я передам через Лебенталя, хорошо?

— Хорошо.

Левинский исчез в темноте, нырнув в тень соседнего барака. Оттуда он заковылял, согнувшись, как «мусульманин», в сторону уборной. 509-й все еще сидел на своем месте. Он прислонился к стене барака. Правой рукой он прижимал к груди пистолет. Ему не давало покоя желание достать его из-за пазухи, размотать тряпку и коснуться рукой металла. Но он не сделал этого. Через тряпку он ощущал линии ствола и рукоятки. Пальцы его словно ласкали эти линии, как будто он них исходила некая тяжелая, темная сила. Впервые за долгие годы он прижимал к себе предмет, которым можно было защитить себя. Он вдруг перестал быть совершенно беззащитным. Он не зависел больше целиком от чужой воли. Он понимал, что это иллюзия, что оружием этим пользоваться нельзя. Но ему вполне достаточно было одного сознания, что он имел при себе оружие. Вполне достаточно, чтобы что-то в нем изменилось. Маленькое орудие смерти превратилось вдруг в источник жизни. Из него струилась воля к сопротивлению. 509-й стал думать о Хандке, о ненависти, которую он питал к нему. Хандке получил свои деньги. Но он оказался слабее его, 509-го. Он подумал о Розене. Ему удалось спасти его. Потом он вспомнил о Вебере и долго думал о нем и о первых месяцах в лагере. Он не делал этого уже

несколько лет. Он вытравил из своей памяти все воспоминания — и то, что было в лагере, и то, что было до него. Он даже не хотел слышать своего имени. Он перестал быть человеком и не желал им больше становиться, иначе это сломало бы его. Он стал просто номером и хотел остаться им и для себя, и для других. Молча сидел он во тьме, прижимая к себе оружие, и дышал, и чувствовал, как прорастают в нем все многочисленные перемены последних недель. Воспоминания нахлынули вновь, и ему казалось, будто душа его насыщается чем-то невидимым, каким-то живительным, сильнодействующим лекарством.

Он услышал, как началась смена караула и осторожно поднялся. Несколько секунд он стоял на месте, покачиваясь, как пьяный. Затем медленно пошел за угол барака.

Рядом с дверью кто-то сидел.

— 509-й! — услышал он чей-то шепот. Это был Розен.

Он вздрогнул, словно очнувшись от долгого сна, полного бесконечных, тяжелых видений, и посмотрел вниз.

— Меня зовут Коллер, — произнес он, словно обращаясь к самому себе. — Фридрих Коллер.

— Да? — растерянно переспросил Розен.

Глава четырнадцатая

— Хочу священника!.. — скулил Аммерс.

Он скулил так с самого обеда. Они пытались отговорить его, но он никого не слушал. На него вдруг что-то нашло.

— Какого ты хочешь священника? — спросил Лебенталь.

— Католического. Зачем ты спрашиваешь, ты, еврей?

— Смотри-ка! — Лебенталь покачал головой. — Антисемит! Только этого нам и не хватало.

— Их полно в лагере, — заметил 509-й.

— Это вы во всем виноваты! Вы! — все больше распалялся Аммерс. — Если бы не евреи, мы бы не сидели сейчас здесь

— Вот как? Это почему же?

— Потому что если бы не было евреев, то не было бы и лагерей. Я требую священника!

— Постыдился бы, Аммерс! — не выдержал Бухер.

— Мне нечего стыдиться. Я болен. Позовите священника.

509-й посмотрел на его синие губы и ввалившиеся глаза.

— В лагере нет священника, Аммерс.

— Должен быть! Это мое право. Я умираю.

— Я не верю, что ты умираешь, — заявил Лебенталь.

— Я умираю, потому что вы, проклятые евреи, сожрали все, что полагалось мне. А теперь даже не хотите позвать для меня священника. Я хочу исповедаться. Что вы в этом понимаете?.. Почему я должен жить в одном бараке с евреями? Я имею право на арийский барак.

— Это в рабочем лагере. А здесь — нет. Здесь все равны.

Аммерс запыхтел и отвернулся. На стене, прямо над его свалявшимися космами, виднелась карандашная надпись: «Евгений Майер. 1941. Тиф. Отомстите...»

— Ну что с ним? — спросил 509-й Бергера.

— Он уже давно должен был умереть. Но теперь, кажется, действительно наступает конец.

— Похоже. Он уже начинает заговариваться.

— Он не заговаривается, — вмешался Лебенталь. — Он знает, что говорит.

— Хотелось бы верить, что нет, — сказал Бухер.

509-й посмотрел на него.

— Когда-то он был другим, Бухер, — произнес он спокойно. — Но его сломали. От прежнего Аммерса ничего не осталось. Это, — он кивнул в сторону Аммерса, — совсем другой человек, который вырос из кусков и обрубков. И обрубки не хотели срастаться. Я это сам видел.

— Священника... — вновь заскулил Аммерс. — Мне надо исповедаться! Я не хочу вечного проклятья!

509-й присел на край его койки. Рядом с Аммерсом лежал один из вновь прибывших. У него был жар. Он мелко и часто дышал.

— Ты можешь исповедаться и без священника, Аммерс. Какие там у тебя могут быть грехи! Здесь нет грехов. Во всяком случае у нас. Мы их тут же искупаем. Покайся в том, в чем ты хотел покаяться. Этого достаточно, если исповедь невозможна. Так написано в катехизисе.

Аммерс на минуту притих.

— Ты тоже католик? — спросил он.

— Да, — ответил 509-й. Это была неправда.

— Тогда ты сам должен это знать! Мне нужен священник! Я должен исповедаться и

причаститься! Я не желаю гореть в вечном пламени! — Аммерс дрожал. Глаза его были широко раскрыты. Для маленького личика, величиной с два кулака, они казались слишком большими. Это придавало ему сходство с летучей мышью.

— Если ты сам католик, то должен знать, как это бывает. Это — как крематорий. Только в нем не сгорают и не умирают. Ты что, хочешь, чтобы и со мной такое случилось?

509-й посмотрел на дверь. Она была раскрыта настежь. В ее проеме застыло, как на картине, ясное вечернее небо. Он перевел взгляд на иссохшую голову Аммерса, в которой теснились огненные картины ада.

— С нами все иначе, Аммерс, — сказал он, наконец. — Мы на том свете имеем право на привилегии. Нам уже здесь достался кусок ада.

Аммерс замотал головой.

— Не богохульствуй, — прошептал он. Потом с трудом приподнялся, мрачно посмотрел вокруг и вдруг разразился злобным криком:

— Вы!.. Вы!.. Вы все здоровы! А я должен подыхать! Теперь, когда... Да-да, смейтесь! Смейтесь! Я все слышал, что вы говорили! Вы хотите выбраться отсюда! Вы выберетесь отсюда! А я? Я?.. В крематорий! В огонь! Глаза! И вечное... у-у-у-у!.. У-у-у!..

Аммерс выл, как собака на луну. Он сидел на нарах, прямой, как свеча, и выл. Черный провал его рта был похож на рупор, из которого рвался наружу хриплый вой.

Зульцбахер поднялся.

— Я пошел, — сказал он. — Спрошу насчет священника.

— Где? — спросил Лебенталь.

— Где-нибудь. В канцелярии. Или у часовых...

— Не будь идиотом. Здесь нет священников. Эсэсовцы не любят этого. Тебя засунут в бункер.

— Ну и что?

Лебенталь молча уставился на него.

— Бергер, 509-й, — проговорил он, наконец. — Вы слышали?

Лицо Зульцбахера побелело. Скулы его словно свело судорогой. Он уже никого не видел.

— Это бесполезно, — обратился к нему Бергер. — Такие вещи запрещены. Среди заключенных тоже нет ни одного священника, мы бы наверняка знали. Неужели ты думаешь, что мы бы не позвали его?

— Я пошел, — повторил Зульцбахер.

— Самоубийца! — Лебенталь схватился за голову. — И ради кого? Ради антисемита!

На скулах Зульцбахера вновь заиграли желваки.

— Пусть ради антисемита.

— Сумасшедший! Еще один сумасшедший!

— Пусть сумасшедший. Я пошел.

— Бухер, Бергер, Розен, — сказал 509-й спокойно.

Бухер, который уже стоял с дубинкой за спиной у Зульцбахера, ударил его по голове. Удар получился несильный, но его вполне хватило, чтобы Зульцбахер закачался. Они вцепились в него и повалили его на пол.

— Давай веревки от «овчарки», Агасфер! — скомандовал Бергер.

Они связали Зульцбахера по рукам и ногам и отпустили.

— Если будешь кричать, нам придется сунуть тебе в рот кляп, — сказал 509-й.

— Вы не понимаете меня...

— Мы понимаем. Полежи так, пока у тебя не прояснится в голове. Мы уже и так потеряли много людей...

Они оттащили его в угол и оставили в покое.

— Он еще немного не в себе, — пробормотал Розен, словно извиняясь за него, и поднялся с колен. — Вы должны его понять. Вы же знаете — брат...

Аммерс уже охрип. Вместо воя теперь слышен был лишь шепот:

— Ну где он? Где священник?..

У них уже кончилось терпение.

— Неужели в бараках действительно нет ни одного священника, или дьяка, или какого-нибудь пономаря? — спросил Бухер. — Хоть кого-нибудь? Чтобы он наконец замолчал.

— В семнадцатом было четверо. Одного выпустили, двое уже на том свете, а четвертый — в бункере, — сообщил Лебенталь. — Бройер лупит его каждое утро цепью. Это у него называется «служить мессу».

— Пожалуйста... — шептал Аммерс. — Ради Христа... Позовите...

— Кажется, в секции «Б» один знает латынь, — вспомнил Агасфер. — Я как-то слышал о нем. Может, позвать его?

— А как его фамилия?

— Я точно не знаю. Не то Делльбрюк, не то Хелльбрюк или что-то в этом роде. Староста секции наверняка знает.

509-й встал.

— Там Маанер. Можно его спросить.

Они отправились с Бергером в секцию «Б».

— Это скорее всего Хелльвиг, — сказал им Маанер. — Он знает языки. Правда, немного с приветом. Читает иногда что-то вслух. Он в секции «А».

— Наверное, это он.

Вместе они пошли в соседнюю секцию. Маанер отыскал старосту, высокого тощего мужчину, голова которого имела форму груши. «Груша» лишь пожал плечами. Маанер исчез в черном, стонущем лабиринте коек, рук и ног, громко выкрикивая имя нужного им человека.

Через несколько минут он вернулся обратно. За ним шел какой-то заключенный с недоверчивым взглядом.

— Это он, — сказал Маанер 509-му. — Давайте выйдем отсюда. Здесь ничего не слышно.

509-й объяснил Хелльвигу суть дела.

— Ты знаешь латынь? — спросил он его.

— Да. — Лицо Хелльвига нервно подергивалось. — А вы знаете, что у меня сейчас украдут мою миску?

— Что?

— Здесь крадут. Вчера у меня пропала ложка, пока я сидел в уборной. Я спрятал ее под койкой. А сейчас там осталась моя миска.

— Ну так сходи за ней.

Хелльвиг тут же исчез, не проронив ни звука.

— Он больше не придет, — заявил Маанер.

Они ждали. Смеркалось. По земле поползли, опережая друг друга, огромные тени. Казалось, будто эта темнота, родившись в черном чреве барачков, теперь медленно потекла наружу. Наконец, Хелльвиг вернулся. К груди он прижимал миску.

— Я, правда, не знаю, понимает ли Аммерс что-нибудь в латыни, — сказал 509-й. — Наверняка ничего, кроме «ego te absolvo»^[6]. Это он мог запомнить. Если ты ему это скажешь и еще что-нибудь, что тебе придет в голову...

Хелльвиг вышагивал на своих длинных, тонких ногах, как цапля, приседая при каждом шаге.

— Вергилий? — спросил он, не останавливаясь. — Гораций?

— А что-нибудь церковное?

— «Credo in unum deum...»^[7]

— Отлично.

— Или «Credo quia absurdum...»^[8]

509-й поднял голову и взглянул в его огромные, бессонные глаза.

— Это про нас.

Хелльвиг остановился.

— Ты прекрасно знаешь, что это кощунство. Но я сделаю это. Хотя я ему совсем не нужен.

Бывает покаяние и отпущение грехов без исповеди.

— Может, ему обязательно кто-нибудь нужен, чтобы покаяться.

— Я делаю это только из сострадания к нему. А они тем временем украдут мою порцию супа.

— Маанер покараулит твой суп. Только дай мне твою миску, — сказал 509-й. — Я подержу ее, пока ты не выйдешь из барака.

— Зачем?

— Может, ему будет труднее поверить тебе, если ты придешь с миской.

— Хорошо.

Они вошли в барак. Внутри уже было темно даже перед самой дверью. Аммерс все еще причитал шепотом.

— Сюда, — сказал 509-й — Аммерс, мы нашли священника.

Аммерс затих.

— Правда? — спросил он вдруг неожиданно внятно. — Он здесь?

Хелльвиг склонился над ним.

— Благословен будь Иисус Христос!

— Во веки веков. Амен... — прошептал Аммерс изумленно-растерянно, словно ребенок.

Они чуть слышно забормотали друг с другом. 509-й сел на землю, прислонившись спиной к стене барака. Нагретая солнцем, она еще не успела остыть. Подошел Бухер и устроился рядом с ним.

— Странно, — произнес он через некоторое время. — Иногда умирают сотни, и ты ничего не чувствуешь. А тут — один-единственный, которого даже толком не знаешь, а такое чувство, будто умирают тысячи.

509-й кивнул.

— Наше воображение не умеет считать. И цифры не действуют на чувство — оно не становится от них сильнее. Оно умеет считать лишь до одного. Но и одного достаточно, если действительно чувствуешь.

Из барака вышел Хелльвиг. На мгновение, пока он, согнувшись, переступал через порог, им показалось, будто на плечах у него, как черная овца за спиной пастуха, лежит смрадная темень, которую он решил выстирать в чистом воздухе весеннего вечера. Потом он выпрямился и снова превратился в заключенного.

— Это было кощунством? — спросил его 509-й.

— Нет. Я не совершил никаких обрядовых действий. Я просто ассистировал ему во время покаяния.

— Мы бы рады были тебе что-нибудь дать — сигарету или кусок хлеба, — сказал 509-й, возвращая Хелльвигу миску. — Но у нас и у самих ничего нет. Все, что мы тебе можем предложить — это баланда Аммерса, если он умрет до ужина. Мы бы получили его порцию.

— Мне ничего от вас не надо. Я ничего не хочу. Было бы свинством брать что-нибудь за

это.

509-й только теперь заметил у него на глазах слезы. От изумления он даже забыл ответить ему.

— Он успокоился? — спросил он, опомнившись.

— Да. Сегодня в обед он украл кусок хлеба, который принадлежал вам. Он просил меня сказать вам это.

— Я это знаю.

— Он хотел бы, чтобы вы пришли к нему. Он хочет у всех вас просить прощения.

— Ради Христа!.. Это еще зачем?

— Он так хочет. Особенно он просил того, которого зовут Лебенталь.

— Ты слышишь, Лео? — сказал 509-й.

— Он просто торопится обстряпать свою сделку с Богом. Поэтому... — непримиримо заявил Лебенталь.

— Не думаю. — Хелльви́г сунул свою миску под мышку. — Странно, я действительно когда-то хотел стать священником, — признался он вдруг. — А потом вдруг удрал. Не понимаю — почему? Если бы можно было вернуть то время! — Он окинул сидящих ветеранов своим странным взглядом. — Когда веришь во что-то, страдания уже не так страшны.

— Да. Но верить можно не только в Бога. На свете так много вещей, в которые можно верить.

— Безусловно, — согласился Хелльви́г вдруг с такой ошеломляющей любезностью, как будто они вели изысканную светскую беседу в элегантном салоне. Он слегка наклонил голову, как бы прислушиваясь к чему-то. — Это было нечто вроде неотложной исповеди, без формальностей, — сказал он затем. — Неотложные крестины, в случае угрозы для жизни новорожденного, — дело давно привычное. Исповедь... — Лицо его передернулось. — Вопрос для теологов... Всего доброго, господа!

Он зашагал на своих ходулях, как огромный паук, в сторону секции «А». Ветераны обескураженно смотрели ему вслед. Особенно поразила их последняя фраза Хелльви́га. Ничего подобного они не слышали с тех пор, как попали в лагерь.

— Иди к Аммерсу, Лео, — первым нарушил молчание Бергер.

Лебенталь заколебался.

— Иди! — повторил Бергер. — Иначе он опять раскричится. А мы пока развяжем Зульцбахера.

Сумерки сгустились до светлой темноты. Из города доносились удары колокола. В бороздах вспаханного поля пролегли густые синие и фиолетовые тени.

Они сидели, сбившись в кучку, перед бараком. Аммерс все еще умирал на своих нарах. Зульцбахер пришел в себя. Он пристыженно сидел рядом с Розеном.

Лебенталь вдруг выпрямился.

— Что это там такое? — Он уставился сквозь колючую проволоку на пахоту. Там что-то металось из стороны в сторону, замирало на секунду, и несло дальше.

— Заяц! — догадался Карел, подросток из Чехословакии.

— Ерунда! Откуда ты можешь знать зайцев?

— У нас дома были зайцы. Я их видел, когда был молодой. Я имею в виду, когда я был на свободе. — Юность Карела, по его собственному мнению, кончилась в лагере. Когда его родители умерли в газовой камере.

— И вправду заяц. — Бухер прищурил глаза. — Или кролик. Нет, для кролика слишком большой.

— Боже праведный! — простонал Лебенталь. — Живой заяц!

Теперь они уже все видели его. Он присел на задние лапы, наострив длинные уши, посидел так несколько секунд и поскакал дальше.

— Хоть бы завернул сюда! — Челюсть Лебенталья затряслась. Он вспомнил о фальшивом «зайце» Бетке, о сбитой на дороге таксе, за которую он отдал золотой зуб Ломана. — Мы могли бы его обменять. Мы бы не стали его есть сами. За него можно было бы получить в два, нет — в два с половиной раза больше требухи.

— Нет, мы бы не стали его менять. Мы бы съели его сами, — заявил Майерхоф.

— Да? А кто бы его зажарил? Или ты собрался его есть сырым? — решительно возразил ему Лебенталь. — Если отдать его кому-нибудь жарить, то больше его уже никогда не увидишь. Даже смешно — три недели не вылезать из барака, а потом еще учить других!

Майерхоф был достопримечательностью барака 22. Он три недели пролежал с воспалением легких и дизентерией, готовясь к смерти. Он так ослаб, что даже не мог говорить. Бергер махнул на него рукой. И вдруг он всего за несколько дней выздоровел. Он поистине восстал из мертвых. Агасфер назвал его за это Лазарем. Сегодня он в первый раз выполз из барака. Бергер запретил ему это делать. Но он все-таки выполз. На нем было пальто Лебенталья, свитер покойного Бухсбаума и гусарская венгерка, которую кому-то выдали вместо куртки. Намотанный на шею простреленный стихарь, доставшийся Розену в качестве нижнего белья, заменил Майерхофу шарф. Все ветераны принимали участие в подготовке его первой вылазки. Они расценивали его исцеление как общую победу.

— Если он забежит сюда, то обязательно коснется проволоки. Тогда его и жарить не надо — сам зажарится... — с надеждой в голосе произнес Майерхоф. — Можно было бы его подтащить какой-нибудь сухой палкой.

Они следили за зверьком, позабыв все на свете. А он скакал себе по бороздам, время от времени замирая на месте и прислушиваясь.

— Эсэсовцы подстрелят его для себя, — сказал Бергер.

— В него не так-то просто попасть, в такую темень, — возразил 509-й. — Эсэсовцы больше привыкли попадать в затылок с двух метров.

— Заяц... — медленно проговорил Агасфер. — Какой же у него, интересно, вкус?

— У него вкус зайчатины, — ответил ему Лебенталь. — Вкуснее всего спинка. Надо только ее нашпиговать кусочками сала. Чтобы она была сочной. И все это — с молочным соусом! Так ее едят гои^[9].

— А еще лучше — с картофельным пюре, — уточнил Майерхоф.

— Какое еще картофельное пюре? Пюре из каштанов с ежевикой!

— Картофельное пюре лучше! «Каштаны»!.. Это для итальянцев!

Лебенталь сердито уставился на Майерхофа.

— Послушай...

— Что нам заяц? — перебил его Агасфер. — Я считаю: гусь лучше всяких зайцев. Хороший гусь, начиненный...

— Яблоками...

— Заткнитесь! — не выдержал кто-то сзади. — Вы что, спятили? Это же невыносимо!

Подавшись вперед, они неотрывно следили за зайцем, впившись в него своими глубоко запрятанными в иссохшихся черепах глазами. В каких-нибудь ста метрах от них скакало по полю сказочное лакомство, пушистый комок, весом в несколько фунтов. Несколько фунтов мяса, которое могло бы стать спасением для некоторых из них. Майерхоф ощущал это всеми своими костями и кишками: для него маленький зверек мог бы стать гарантией того, что после болезни не наступит осложнение.

— Черт с ним, пусть будет с кашпанами, — проскрежетал он. Во рту у него вдруг стало сухо и пыльно, как в безводной пустыне.

Заяц опять остановился и принюхался. В этот момент его заметил один из дремлющих на вышках часовых.

— Эдгар! Смотри! Косой! — вскричал он. — Лупи!

Протрещало несколько выстрелов. Вокруг зайца взметнулись вверх фонтанчики земли, и он длинными прыжками понесся прочь.

— Вот видишь, — сказал 509-й. — По заключенным, с малого расстояния, у них получается лучше.

Лебенталь тяжело вздохнул, глядя вслед зайцу.

— Как вы думаете, дадут нам сегодня хлеб или нет? — спросил спустя некоторое время Майерхоф.

— Умер?

— Да. Слава Богу. Он еще хотел, чтобы мы убрали от него новенького. С температурой. Боялся, как бы тот его не заразил. А получилось наоборот — он сам заразил новенького. Под конец он опять ныл и ругался. Забыл и про священника, и про исповедь!

509-й кивнул.

— Да, сейчас умирать никому неохота. Раньше было легче. А теперь — тяжело. Перед самым концом.

Бергер подсел к 509-му. Это было после ужина. На Малый лагерь выдали только баланду. Каждому по кружке. Без хлеба.

— Что от тебя нужно было Хандке?

— Он принес мне чистый лист бумаги и авторучку. Хочет, чтобы я переписал на него мои деньги в Швейцарии. Но не половину, а все. Все пять тысяч франков.

— А дальше?

— За это он обещал оставить меня в покое. Намекал даже на покровительство или что-то в этом роде.

— Пока не получил твою подпись...

— У меня еще есть время до завтрашнего вечера. Это уже кое-что. Не так уж часто нам давали такие отсрочки.

— Этого недостаточно, 509-й. Надо придумать что-нибудь другое.

509-й поднял плечи.

— Может, он и вправду оставит меня в покое, — будет думать, что я ему еще пригожусь для получения денег?..

— Может быть. А может, и наоборот — захочет поскорее избавиться от тебя, чтобы ты не опротестовал бумагу.

— Я не смогу опротестовать ее, как только она окажется у него в руках.

— Он этого не знает. А ты, может, и в самом деле сможешь это сделать. Тебя ведь вынудили подписать бумагу.

509-й ответил не сразу.

— Эфраим, — сказал он спокойно, выдержав паузу. — Мне это ни к чему. У меня нет денег в Швейцарии.

— Как нет?

— У меня нет ни единого франка в Швейцарии.

Бергер несколько секунд молча смотрел на 509-го.

— Ты все это выдумал?

— Да.

Бергер провел тыльной стороной ладони по своим воспаленным глазам. Плечи его тряслись.

— Ты что? — удивился 509-й. — Плачешь, что ли?

— Нет, я смеюсь. Хочешь верь, хочешь нет, но я смеюсь.

— Смейся на здоровье. Мы здесь все эти годы чертовски мало смеялись.

— Я смеюсь, потому что представил себе лицо Хандке в Цюрихе. Как ты только до этого додумался, 509-й?

— Не знаю. Можно еще и не до того додуматься, если перед тобой вопрос жизни или смерти. Главное — что он это проглотил. И пока не кончится война, он ничего не сможет выяснить. Ему не остается ничего другого, как верить.

— Правильно. — Лицо Бергера снова стало серьезным. — Поэтому с ним надо быть очень осторожным. Он может опять взбеситься и выкинуть какой-нибудь неожиданный номер. Мы должны что-нибудь придумать. Лучше всего тебе умереть.

— Умереть? Как? У нас же нет лазарета. Как мы это провернем? Здесь, так сказать, последняя инстанция.

— Предпоследняя. Ты забыл о крематории.

509-й удивленно вскинул брови. Заглянув в озабоченное лицо Бергера с его вечно воспаленными глазами, глубоко запрятанными в узеньком черепе, он почувствовал, как внутри у него всколыхнулась какая-то теплая волна.

— Ты думаешь, это возможно?

— Можно попытаться.

509-й не стал спрашивать Бергера, как тот собирается это делать.

— Мы еще поговорим об этом, — сказал он просто. — А пока время есть. Сегодня я перепишу на Хандке только две с половиной тысячи франков. Он, конечно, возьмет бумагу и будет требовать остальные. Значит, я выиграю еще пару дней. А кроме того, у меня остались двадцать марок Розена.

— А когда и от них ничего не останется?

— До этого еще много чего может произойти. Нужно всегда думать о ближайшей опасности. О сегодняшней. А завтра — о завтрашней. Все по порядку. Иначе рехнуться можно.

509-й повертел в руках лист бумаги и авторучку. Ручка тускло поблескивала в темноте.

— Странно, — произнес он задумчиво. — Как долго я не держал этого в руках. Бумага и перо. Когда-то они кормили меня. Смогу ли я еще когда-нибудь вернуться к этому?..

Глава пятнадцатая

Двести человек из вновь сформированной команды по расчистке разрушенных кварталов были равномерно распределены по всей улице. Они впервые работали в самом городе. До сих пор их использовали только на расчистке разбомбленных фабрик в пригородах.

Начальник конвоя велел перекрыть улицу и расставил по всей ее длине, с левой стороны, часовых. От бомб пострадала в основном правая сторона улицы. Рухнувшие стены и крыши домов завалили мостовую, сделав невозможным всякое движение.

Лопат и кирок на всех не хватило; многие работали голыми руками. Капо и старшие нервничали. Они не знали, как себя вести — лупить и подгонять или помалкивать. Для штатских улица была закрыта. Но жильцов, остававшихся в непострадавших домах, выбросить из их квартир было нельзя.

Левинский работал рядом с Вернером. Они вместе с другими политическими заключенными, состоявшими в «черном списке» СС, вызвались добровольцами на расчистку. Это была самая тяжелая работа. Но зато они целый день были недосыгаемы для Вебера и его помощников. А вечером, после возвращения в лагерь, они в случае опасности могли, пользуясь темнотой, исчезнуть и затаиться.

— Ты видел название улицы? — спросил Вернер тихо.

— Да. — Левинский ухмыльнулся. Улица называлась Адольф-Гитлер-штрассе. — Святое имя. А против бомб не помогает.

Они вдвоем потащили в сторону бревна. Их полосатые куртки на спине потемнели от пота. Возле кучи, на которую одни сносили бревна и балки, им встретился Гольдштейн. Несмотря на свое больное сердце, он вызвался добровольцем в эту команду. Левинский с Вернером на этот раз не стали его отговаривать — Гольдштейн был одним из тех политических, за которыми охотились эсэсовцы. Лицо его было серым.

— Трусами воняет, — сказал Гольдштейн, приняв их. — Но это не свежие трупы. Здесь еще где-то лежат старые.

— Точно.

В этом они разбирались. Запах трупов им был хорошо знаком.

Теперь они складывали у стены валявшиеся повсюду камни. Землю и серую труху, которая когда-то была строительным раствором, свозили на тележках в одно место. За спиной у них, на противоположной стороне улицы, находилась лавка колониальных товаров. Стекла в окнах полопались, но в витрине уже опять торчало несколько плакатов и коробок. Из-за них выглядывал усатый мужчина с очень характерным лицом — такие лица часто можно было видеть в 1933 году среди демонстрантов с плакатами «Не покупайте у евреев!» На темном фоне задней стены лавки голова мужчины казалась отрубленной, совсем как на дешевых снимках ярмарочных фотографов, клиенты, которых просовывают голову сквозь отверстие над нарисованным капитанским мундиром. Голова усача красовалась над пустыми коробками и пыльными плакатами, казавшимися идеальным обрамлением для нее.

В одной из сохранившихся подворотен играли дети. Рядом стояла женщина в красной блузке и смотрела на заключенных. Неожиданно из подворотни выбежали несколько собак и бросились к заключенным. Они путались у них под ногами, обнюхивая башмаки и штаны. Одна из них вдруг завиляла хвостом и стала радостно прыгать вокруг заключенного 7105, стараясь лизнуть его в лицо. Капо, следивший за порядком на этом участке, растерялся. Собака, конечно, есть собака, тем более что это была не служебная, а простая, штатская, собака. И все-таки даже ей непросто было проявлять такое дружеское расположение к заключенному, особенно в

присутствии солдат СС. 7105-й оказался в еще более затруднительном положении. Он сделал то единственное, что мог сделать заключенный: старался вообще не обращать внимания на собаку. Но она не давала ему покоя. Она почему-то быстро прониклась к нему симпатией. 7105-й нагнулся и принялся работать с удвоенным рвением. Он был всерьез озабочен: эта собака могла означать для него смерть.

— А ну пошла прочь, паскуда! — крикнул наконец капо и замахнулся на собаку дубинкой. Он уже пришел в себя и сообразил, что в присутствии эсэсовцев лучше проявить строгость. Но собака не обращала на него никакого внимания. Она продолжала приплясывать и прыгать вокруг 7105-го, виляя хвостом. Это была крупная, рыжая в белых пятнах немецкая легавая.

Капо стал швырять в нее камни. Первым камнем он попал 7105-му в колено, и лишь третий угодил собаке в бок. Она взвыла, отскочила в сторону и залаяла на капо.

— Ах ты падаль! Я тебя... — он поднял еще один камень.

Собака пятилась, но не убегала. Сделав ловкий скачок в сторону, она вдруг бросилась на капо. Тот потерял равновесие и упал на кучу земли; в ту же секунду собака застыла над ним, злобно рыча.

— Помогите! — крикнул капо, не решаясь пошевелиться.

Эсэсовцы, стоявшие поблизости от него, рассмеялись.

Подбежала женщина в красной блузке. Она свистнула собаке.

— Ко мне! Ко мне сейчас же! Чтоб тебя!... Обязательно что-нибудь натворит! А потом отвечай за нее!..

Она потащила собаку прочь, обратно во двор.

— Она сама выскочила, — робко оправдывалась женщина, обращаясь к ближайшему эсэсовцу. — Пожалуйста, простите нас! Я просто не заметила! Она убежала! Я ее обязательно накажу!

Эсэсовец ухмыльнулся.

— Ничего страшного не случилось бы, если бы она и откусила этому придурку полрожи.

Женщина нерешительно улыбнулась. Она приняла капо за солдата СС.

— Спасибо вам! Большое спасибо! Я ее сейчас же привяжу!

Ухватившись за ошейник, она потащила собаку дальше и вдруг погладила ее. Капо усердно отряхивал с брюк и куртки белую известковую пыль. Охранники все еще посмеивались.

— Что же ты не укусил ее? — крикнул один из них капо.

Тот промолчал. Это всегда было самым разумным. Он еще некоторое время со всех сторон выколачивал пыль из своей одежды. Потом сердито затопал к заключенным. 7105-й как раз был занят тем, что пытался извлечь из-под груды щебня и мусора унитаза.

— Шевелись, пес ленивый! — зло прошипел капо и пнул его в ногу. 7105-й упал, продолжая держаться обеими руками за унитаза. Остальные заключенные искоса незаметно следили за капо. В этот момент к нему сзади не спеша подошел эсэсовец, к которому обратилась женщина.

— А ну не тронь его! Он тут ни при чем, — сказал охранник, пнув капо сапогом в зад. — Иди лучше укуси собаку, ты, чучело!

Капо резко обернулся. Ярость в его глазах мгновенно улетучилась, уступив место подобострастной мине.

— Слушаюсь! Я просто хотел...

— Пошел! — Капо получил еще один пинок в живот, попытался кое-как изобразить стойку «смирно» и наконец униженно поплелся прочь. Эсэсовец так же неторопливо отправился обратно.

— Ты видал? — шепнул Левинский Вернеру.

— Знаменья и чудеса!.. Может, это он для штатских разыграл комедию?

Заклученные продолжали украдкой наблюдать за противоположной стороной улицы, а противоположная сторона наблюдала за ними. Их отделяли друг от друга считанные метры, но метры эти были длиннее, чем расстояние между полярными полюсами. Большинство узников впервые за долгие годы, с тех пор, как попали в лагерь, увидели город так близко. Они вновь увидели людей, которые невозмутимо занимались своими каждодневными делами. Им это казалось непостижимым, словно жизнь на другой планете.

Какая-то горничная в голубом платье в белый горошек мыла окна. Она работала, засучив рукава, и пела. У одного из окон другой квартиры стояла пожилая, седовласая женщина. Солнце освещало ее лицо, отдернутые занавески и часть комнаты. На углу улицы располагалась аптека. Аптекарь стоял перед дверью и зевал. Молодая женщина в леопардовой шубке шла по улице, вдоль самых домов. На ногах у нее были зеленые туфли, на руках — зеленые перчатки. Эсэсовцы пропустили ее. Она бойко семенила по разбитой мостовой, с легкостью и грацией прыгала с камня на камень. Многие из заключенных несколько лет подряд не видели ни одной женщины. Все заметили ее. Но никто не решился посмотреть ей вслед, кроме Левинского.

— Смотри! — шепнул ему Вернер. — Здесь кто-то лежит. — Он показал на кусок ткани, торчавший из-под обломков стены. — Давай-ка, помоги мне.

Она принялись разгребать землю и камни. Вскоре показалось изуродованное до неузнаваемости лицо с окровавленной, покрытой белой известковой пылью бородой. Рядом была рука. Погибший, видимо, машинально вскинул ее, чтобы защитить лицо, когда обрушился потолок.

Эсэсовцы на противоположной стороне улицы подбадривали женщину в леопардовой шубке шутливыми советами. Она смеялась им в ответ и кокетничала.

Неожиданно завывли сирены.

Аптекарь на углу скрылся в дверях. Женщина в леопардовой шубке замерла на секунду, а потом решительно понеслась обратно. Она то и дело падала, чулки ее порвались, перчатки из зеленых превратились в грязно-серые. Заключенные разогнули спины.

— Стоять! Ни с места! Кто пошевелится — получит пулю!

Со всех сторон подтягивались эсэсовские охранники.

— Сократить дистанцию! В колонну по четыре — становись!

Заклученные не знали, какую команду выполнять. Кое-где уже слышались выстрелы. Наконец, охранникам удалось согнать их в кучу. Шарфюреры собрались на экстренный совет. Это был всего лишь предварительный сигнал воздушной тревоги. Но все то и дело беспокойно поглядывали вверх. Казалось, будто сияющее небо одновременно и прояснилось и помрачнело.

Другая сторона улицы вдруг ожила. Люди, которых до сих пор не было видно, посыпали на улицу. Закричали дети. Усатый торговец колониальными товарами выскочил, как ошпаренный, из своей лавки, метнул по сторонам несколько ядовитых взглядов и, словно большой, жирный червяк, пополз прочь, через груды обломков и земли. Женщина в клетчатой накидке осторожно несла перед собой на вытянутой руке клетку с попугаем. Седая старуха исчезла. Горничная, мывшая окна, стремглав выбежала из дома, высоко приподняв свои юбки. Левинский проводил ее взглядом. Между черными чулками и голубым трико он успел заметить полоску белой кожи. За ней поспешила, не разбирая дороги, то ползком, то прыжками, как коза, худая старая дева. Все вдруг стало наоборот: от безмятежного покоя, царившего на той стороне улицы, где была свобода, за несколько секунд не осталось и следа; люди в страхе бросались из своих жилищ и бежали наперегонки со смертью к бомбоубежищам. Узники же на противоположной стороне словно внезапно окаменели; они молча и неподвижно стояли перед цепью разрушенных фасадов и смотрели на бегущих мимо людей.

Какой-то шарфюрер, видимо, обратил внимание на эти странные метаморфозы.

— Колонна, кругом! — скомандовал он.

Теперь заключенные видели перед собой только руины. Останки домов были ярко освещены солнцем. В одном из разрушенных зданий уже успели расчистить проход к подвалу. Там виднелись ступени, дверь, темный коридор и проглядывающая сквозь эту темноту полоска света на другом конце коридора. А может быть, это был аварийный выход, ведущий во двор.

Унтер-офицеры конвоя все еще были в замешательстве. Они не знали, что делать с заключенными. Никто, конечно, не собирался вести их в бомбоубежище, тем более что подвалы и без них были переполнены. Но и подвергать из-за них свою жизнь опасности тоже ни у кого желания не было. Несколько охранников, быстро прочесав ближайшие дома, обнаружили бетонированный подвал.

Звук сирен изменился. Эсэсовцы бросились к подвалу. Остались лишь двое часовых в одной из парадных и по двое с обоих концов улицы.

— Капо и старшие, смотреть в оба! Чтобы мне никаких фокусов! Кто шевельнется, будет застрелен!

На лицах узников отразилось охватившее их внутреннее напряжение. Они смотрели на стены прямо перед собой и ждали. Им не дали команды ложиться. Стоя они были лучше видны охранникам. Согнанные в кучу, со всех сторон окруженные капо и старшими, они стояли в немом оцепенении. Между ними беспокойно сновала взад-вперед рыжая в белых пятнах легава. Она опять убежала от хозяев и искала 7105-го. Наконец, она нашла его и вновь запрыгала рядом, виляя хвостом и стараясь лизнуть его в лицо.

На какое-то мгновение вой сирен оборвался. В эту неожиданно наступившую тишину, которая, словно вакуум, больно присосалась к каждому нерву, упали откуда-то сверху звуки рояля. Эти громкие, чистые звуки были отчетливо слышны всего лишь несколько секунд. Но Вернер, до предела напряженный слух которого готовился воспринимать совсем другие звуки, все-таки узнал их: это был хор узников из «Фиделио»^[10]. Он звучал не по радио — во время воздушных налетов по радио не передавали музыки. Скорее всего это был граммофон, который забыли выключить. Или кто-то играл на рояле, открыв окно.

Сирены вновь заголосили. Вернер изо всех сил цеплялся за эти неожиданно родившиеся несколько звуков. Стиснув зубы, он старался не потерять мелодию, по памяти представить себе ее развитие. Он не хотел думать о бомбах и о смерти. Если он не потеряет мелодию в этом реве, значит, будет спасен. Он закрыл глаза. Ему показалось, будто он ощущает это нечеловеческое напряжение как некий железный узел, набухший вдруг где-то внутри черепа. Не хватало еще погибнуть именно сейчас! Умереть такой нелепой смертью! Он не хотел даже думать об этом. Ему нужно было во что бы то ни стало удержать в сознании мелодию. Мелодию узников, которым суждено обрести свободу. Он сжал кулаки и попытался вновь услышать звуки рояля. Но их заглушил беснующийся металлический голос страха.

Первые взрывы сотрясли город. Пронзительный свист летящих бомб врезался в завывание сирен. Земля дрожала. От стены, рядом с колонной заключенных, медленно отвалился огромный кусок карниза. Несколько человек бросились на землю. К ним тотчас же подскочили капо.

— Встать! Встать!

Голосов их не было слышно. Гольдштейн видел, как у одного из тех, что бросились на землю, лопнул череп из него хлынула кровь. Стоявший рядом с ним заключенный схватился за живот и упал вперед, лицом вниз. Это были не осколки. Это стреляли эсэсовцы. Выстрелы были не слышны.

— Подвал! — крикнул Гольдштейн сквозь шум Вернеру. — Там подвал! Они не погонятся за нами!

Оба усталились на вход в подвал. Он, казалось, стал еще шире. Там внизу, в прохладной темноте, было спасение. Этот черный омут неумолимо притягивал, и сопротивление казалось бесполезным. Заключенные, словно под гипнозом, не сводили с него глаз. Ряды их всколыхнулись. Вернер вцепился в Гольдштейна.

— Нет! — крикнул он, и сам не в силах оторвать глаз от подвала. — Нет! Ни в коем случае!! Они всех перестреляют! Нет! Стой на месте!

Гольдштейн повернул к нему свое серое лицо. Глаза его блестели, как два круглых куска рубероида; рот был искажен от напряжения.

— Не прятаться! — прокричал он. — Бежать! Насквозь! Там же есть аварийный выход!

Эта неожиданная мысль подействовала на Вернера, как удар в живот. Он задрожал. Дрожали не только руки и колени — дрожал каждый нерв, трепетала каждая клетка. Он знал, что бегство почти невозможно. Но уже сама мысль о побеге была мучительным соблазном: убежать, украсть где-нибудь одежду и скрыться, пользуясь общей неразберихой!

— Нет! — Ему казалось, что он шепчет. На самом деле он кричал сквозь рев и грохот. — Нет! — Он произносил это не столько для Гольдштейна, сколько для себя самого. — Нет, теперь поздно! Теперь уже поздно!

Он понимал, что это было бы безумием. Все, чего они добились, могло быть разом уничтожено. Смерть товарищей — десять за каждого, попытавшегося бежать; кровавая бойня здесь, на месте, дополнительные наказания в лагере — и все же... Черный зев подвала продолжал манить, притягивать...

— Нет! — еще раз повторил Вернер, крепко держа Гольдштейна и тем самым — себя самого.

«Солнце! — стонал про себя Левинский. — Это проклятое солнце! Ему никого и ничего не жалко — все как на ладони! Взорвать бы его к черту! Стоишь тут, как голый в свете прожектора, как будто позируешь перед прицелами самолетов. Хоть бы одно облачко! Всего на минуту!» Пот струился ручьями по его спине.

Стены тряслись. Где-то неподалеку раздался чудовищной силы взрыв, и в эту стихию грохота медленно, как бы нехотя, обрушился кусок стены шириной примерно в пять метров с пустой оконной рамой посередине. Он накрыл нескольких заключенных, но со стороны это зрелище могло показаться почти безобидным. Заключенный, на которого упал пустой квадрат окна, в недоумении и ужасе смотрел по сторонам, не понимая, как могло получиться, что он стоял по пояс в земле и, несмотря на это, был жив. Несколько ног, торчавших рядом с ним из груды камней, еще подергались с минуту и замерли.

Давление постепенно уменьшалось. Вначале почти незаметно — просто какие-то зажимы, перекрывавшие мозг и слух, вдруг немного ослабли. Затем сквозь эти микроскопические щели начало просачиваться сознание, словно свет в конце длинного туннеля. Грохот и рев не прекращались, но люди вдруг поняли: все кончилось.

Эсэсовцы вылезли из подвала. Вернер неотрывно смотрел на стену прямо перед собой. Она вновь превращалась в обычную стену, освещенную солнцем, с расчищенным входом в подвал. Она больше не смеялась ему в лицо, не дразнила темной, хмельной надеждой. Он опять увидел совсем рядом изуродованное лицо с окровавленной бородой. Он увидел торчащие из-под земли ноги своих товарищей. Потом он услышал, как сквозь затихающий лай зенитных орудий вдруг еще раз пробили звуки рояля. Он плотно сжал губы.

Посыпались команды. Чудом уцелевший заключенный, стоявший в проеме окна, по пояс в земле, выкарабкался наверх. Правая нога его была неестественно вывернута. Держа ее на весу, он стоял на левой ноге и из всех сил старался не упасть. Подошел один из охранников.

— Вперед! Откапывайте этих!

Заклученные принялись разгребать мусор и камни. Работали руками, лопатами и кирками. Времени понадобилось не много. Вскоре они откопали всех четверых. Трое из них были мертвы. Четвертого они подняли и отнесли чуть в сторону. Он нуждался в помощи. Вернер растерянно озирался по сторонам. Из ворот вышла женщина в красной блузке. Она не побежала вместе со всеми в бомбоубежище. В одной руке она осторожно несла алюминиевую миску с водой, в другой полотенце. Как ни в чем не бывало пройдя мимо эсэсовцев, она поставила миску с водой на землю рядом с раненым. Эсэсовцы нерешительно поглядывали друг на друга, но ничего не говорили. Женщина смыла грязь с лица раненого. Из рта у него пошла кровавая пена. Женщина вытерла ее мокрым полотенцем. Один из охранников рассмеялся. У него было совсем мальчишеское, незрелое лицо, с такими светлыми ресницами, что его бледные глаза казались совершенно голыми.

Зенитки умолкли. В резко наступившей тишине звуки рояля казались оглушительными. Вернер наконец понял, откуда они доносились: из окна второго этажа, расположенного прямо над лавкой колониальных товаров. Бледный мужчина в очках все еще играл на коричневом рояле хор узников. Эсэсовцы заухмылялись. Один из них постучал себя пальцем по лбу. Вернер не знал, что могла означать эта музыка: играл ли мужчина просто, чтобы заставить себя не думать о бомбежке, или он преследовал какую-нибудь другую цель. Он решил для себя, что музыка была адресована им. Он всегда верил в лучшее, если это не было связано с риском. Так было проще.

Прибежали какие-то штатские, и эсэсовцы вновь вспомнили, что они военные. Зазвучали команды; заключенные построились в колонну. Старший конвоя приказал одному охраннику остаться с убитыми и ранеными, затем повернул колонну и дал команду «бегом марш!» Последняя бомба угодила в бомбоубежище, и заключенным теперь предстояло его откопать.

Воронка воняла кислотой и серой. По краям ее стояло, накренившись, несколько деревьев с обнаженными корнями. Искореженная решетка газона с немым укором смотрела в небо. Это было не совсем прямое попадание: бомба вырвала часть боковой стены подвала и завалила его.

Заклученные уже третий час разгребали завал у входа в бомбоубежище. Ступенька за ступенькой они расчистили перекошенную лестницу. Работали быстро. Так быстро, как только могли. Они работали так, будто спасали своих товарищей.

Еще через час они добрались до входной двери. Крики и стоны они слышали уже давно. Видимо, в бомбоубежище откуда-то поступал воздух. Голоса стали еще громче, когда они проделали небольшое отверстие. Кто-то сразу с криком просунул в него голову; две руки, появившиеся прямо под подбородком, словно лапы огромного крота, отчаянно заскребли землю и камни, стараясь расширить отверстие.

— Осторожно! — крикнул старший. — Еще нельзя! Это опасно!

Но руки продолжали скрести землю. Наконец, голову сзади оттащили от отверстия, и на ее месте появилась другая голова. Через несколько секунд исчезла и она. Люди, поддавшись начавшейся панике, ожесточенно боролись за место у крохотного окошка в свободу.

— Толкайте их обратно! Это же опасно! Нужно сначала расширить дыру! Толкайте их обратно!

Они заталкивали лица обратно, внутрь. Лица эти сопротивлялись и кусали их за пальцы. Они продолжали долбить цемент кирками. Они работали так, словно речь шла об их собственной жизни. Наконец, отверстие увеличилось настолько, что сквозь него мог протиснуться человек.

Это был крепкий мужчина. Левинский сразу же его узнал. Это был усатый владелец колониального магазина. Он пробился к отверстию и теперь изо всех сил, кряхтя и отдуваясь,

старался пролезть через него. Его не пускал живот. Крики внутри становились все громче: он полностью заслонил собой свет. Сзади его пытались оттащить за ноги.

— Помогите! — стонал он высоким, свистящим голосом. — Помогите! Помогите мне выбраться отсюда!.. Выбраться!.. Я вам за это... я вам дам..

Его маленькие черные глазки грозили вылезти из орбит. Гитлеровские усики дрожали от напряжения.

— Помогите! Господа! Пожалуйста! Господа! — Он был похож на говорящего тюленя, зажато между двумя льдинами.

Они подхватили его под мышки и вытащили наружу. Он упал, вскочил на ноги и умчался, не сказав ни слова. Они закрыли отверстие доской и расширили его. После этого они расступились, освобождая проход.

Из подвала один за другим полезли люди: женщины, дети, мужчины. Одни — суетливо, с бледными лицами, обливаясь потом, еще не веря в свое воскресение, другие — в истерике, крича, рыдая или осыпая все подряд проклятьями, и наконец те, кто не поддался панике, — медленно и безмолвно.

Они шли, карабкались или неслись мимо узников.

— «Господа», — прошептал Гольдштейн. — Вы слышали? «Пожалуйста, господа»! Он же обращался к нам...

Левинский кивнул.

— «Я вам дам», — передразнил он «тюленя» и прибавил от себя: — Шиш с маком. Удрал, как пес. — Он взглянул на Гольдштейна. — Что с тобой?

Гольдштейн прислонился к нему.

— Чудну! — пролепетал он, жадно хватая воздух ртом. — Вместо того, чтобы... они... освободили нас... мы... освобождаем... их...

Он захихикал и вдруг медленно повалился набок. Левинский с Вернером успели его подхватить и осторожно положили на кучу земли. Им нужно было ждать, пока не опустеет бомбоубежище.

Пленники с многолетним стажем неволи, они стояли и смотрели на спешивших мимо людей, которым пришлось стать пленниками всего на несколько часов. Левинскому пришло в голову, что они уже однажды видели нечто подобное — когда им по пути в лагерь попала навстречу колонна беженцев. Из подвала выкарабкалась горничная в голубом платье в белый горошек. Отряхивая свои юбки, она улыбнулась Левинскому. Следом за ней наверх выбрался одноногий солдат. Он выпрямился, сунул костыли под мышки, козырнул заключенным и заковылял прочь. Одним из последних вышел старик. Длинные складки кожи придавали его лицу сходство с легавой собакой.

— Спасибо, — сказал он, окинув заключенных благодарным взглядом. — Там внизу еще есть люди. Их засыпало.

Медленно, по-стариковски тяжело, но с достоинством он стал подниматься наверх по скособоченной лестнице. Пропустив его, заключенные полезли в подвал.

Колонна возвращалась обратно в лагерь. Заключенные валились с ног от усталости. Мертвых и раненых несли на руках. Последний из тех четверых, которых накрыло стеной, тоже давно умер. В небе догорал пышный закат. Воздух был словно весь пропитан его сиянием, а небо на горизонте было такой неземной красоты, что казалось, время замерло и в этот миг на земле не может быть ни руин, ни смерти.

— Да, хороши герои, нечего сказать... — произнес Гольдштейн. Приступ его прошел. — Вкальваем, как проклятые, ради этих...

— Тебе нельзя больше ходить с нами на расчистку, — ответил ему Вернер. — Это же идиотизм! Ты доконаешь себя, и не помогут тебе никакие хитрости и уловки.

— А что мне еще остается? Торчать в лагере и ждать, пока меня выловят эсэсовцы?

— Надо придумать для тебя что-нибудь другое.

Гольдштейн устало усмехнулся.

— Ты хочешь сказать, что мое место давно уже в Малом лагере?

Вернер ничуть не смутился.

— А почему бы и нет? Во-первых, это надежнее, во-вторых, свой человек нам там очень пригодился бы.

К ним приблизился капо, пнувший 7105-го из-за собаки. Некоторое время он молча шагал рядом, потом вдруг сунул что-то 7105-му в руку и отстал. 7105-й раскрыл кулак.

— Сигарета... — произнес он удивленно.

— Я же говорю — они раскисли. Руины действуют им на нервы, — заявил Левинский. — Они уже думают о будущем.

Вернер кивнул.

— Боятся. Запомни этого капо. Может, он нам еще пригодится.

Они тащились дальше сквозь мягкий, ласковый свет.

— Город... — задумчиво проговорил Мюнцер спустя некоторое время. — Дома... Свободные люди. В каких-нибудь двух метрах от тебя... И уже начинает казаться, что и мы не такие уж подневольные.

7105-й тяжело поднял череп.

— Хотел бы я знать, что они о нас думают.

— А что они могут о нас думать? Одному Богу известно, что они вообще о нас знают. Да и сами-то они — не очень похожи на счастливых.

— Сейчас-то не очень... — заметил 7105-й.

Никто не ответил. Начался самый тяжелый участок пути — дорога поползла вверх, на гору.

— Я бы с удовольствием прихватил собаку с собой, — сказал 7105-й.

— Хорошее получилось бы жаркое... — откликнулся Мюнцер. — Наверняка не меньше тридцати фунтов чистого мяса.

— Я имею в виду: не для того, чтобы съесть, а просто так...

Дальше на машине проехать было нельзя. Улицы повсюду пестрели завалами.

— Езжай обратно, Альфред, — сказал Нойбауер. — Жди у моего дома.

Он вышел из машины и отправился дальше пешком. Ему пришлось карабкаться через рухнувшую поперек улицы стену. Остальная часть здания почти не пострадала; стену просто сорвало, словно ветром занавес, и теперь квартиры лежали как на ладони. Между ними торчали голые спирали лестниц. На втором этаже красовалась, как на выставке, спальня, отделанная красным деревом. Две сдвинутые вместе кровати стояли на своих местах. Все в комнате осталось без изменений, не считая опрокинутого стула и разбитого зеркала. Этажом выше в чьей-то кухне была оторвана водопроводная труба. Вода текла по полу и, не встречая препятствий, каскадами устремлялась вниз, на улицу. Маленький искристый водопад. В гостиной стоял красный плюшевый диван; на стенах, оклеенных полосатыми обоями, висело вкривь и вкось несколько картин в золоченых рамах. На самом краю комнаты, там, где не было стены, стоял мужчина. Лицо его было в крови. Он не шевелился, уставившись неподвижным взглядом вниз. Позади него сновала взад и вперед женщина. Она лихорадочно набивала в два чемодана белье, маленькие подушечки и какие-то безделушки.

Груда обломков и камней под ногами Нойбауера вдруг зашевелилась. Он шагнул в сторону.

Земля продолжала шевелиться. Он наклонился и стал расшвыривать в стороны камни. Через несколько минут показалась чья-то рука, покрытая толстым слоем серой пыли и похожая на усталую змею.

— Помогите! — закричал Нойбауер. — Здесь человек! Помогите!

Никто его не слышал. Он огляделся кругом. Улица была безлюдна.

— Помогите! — крикнул он стоявшему на втором этаже мужчине. Тот медленно отер кровь с лица, но не сдвинулся с места.

Отодвинув в сторону кусок земли, Нойбауер наткнулся на волосы. Он ухватился за них и попробовал приподнять голову. У него ничего не получилось.

— Альфред! — крикнул он, обернувшись назад.

Машины уже не было.

— Скоты!.. — вдруг неожиданно для самого себя расвирепел Нойбауер. — Никогда их не дозовешься, когда нужно.

Он стал копать дальше. Пот катился с него градом. Он давно уже отвык от физического труда. «Полиция!... Спасательные команды! — думал он. — Где они все, это жулье?»

Он хотел отшвырнуть в сторону кусок ссохшегося раствора, но тот рассыпался у него в руке, и под ним он вдруг увидел то, что еще совсем недавно было человеческим лицом. Теперь это больше напоминало густую серую кашу. Нос был расплюсчен, глаз не было видно вообще — их скрывала известковая пыль; рот был полон земли и выкрошенных зубов. Это лицо было всего лишь серой маской с волосами, сквозь которую в нескольких местах просочилась кровь.

Желудок Нойбауера словно вдруг взорвался внутри. Не успел он опомниться, как уже блевал, согнувшись пополам. Весь его обед — копченая колбаса, картофель с кислой капустой, рисовый пудинг и кофе — оказался на земле, рядом с серой расплюсченной маской. Он хватал рукой воздух в поисках чего-нибудь, на что можно было опереться, но вокруг ничего подходящего не было. Отвернувшись в сторону, он блевал и блевал и никак не мог остановиться.

— Что здесь случилось? — раздался сзади чей-то голос.

Это был какой-то мужчина с лопатой в руках. Нойбауер совсем не слышал его шагов. Вместо ответа он молча показал рукой на торчавшую из земли голову.

— Засыпало?

Голова шевельнулась. Одновременно пришла в движение и серая масса лица. Нойбауера опять начало выворачивать наизнанку. Он слишком плотно пообедал.

— Да он же задыхается! — воскликнул мужчина с лопатой и подскочил к торчавшей из земли голове. Он пошарил рукой по лицу, расчистил нос и поковырял пальцем там, где должен был быть рот.

Кровь вдруг пошла сильнее. Подступающая смерть на мгновение оживила плоскую маску. Из рта послышался хрип. Пальцы руки, похожей на усталую змею, заскребли землю, а голова с забитыми пылью глазницами задрожала. Внезапно дрожь прекратилась, и голова замерла. Мужчина с лопатой выпрямился.

— Помер, — сказал он и вытер испачканные руки желтой шелковой занавеской, торчавшей из обрушившегося окна. — Может, здесь еще есть люди?

— Я не знаю.

— Вы не из этого дома?

— Нет.

Мужчина кивнул в сторону мертвой головы.

— Родственник? Или знакомый?

— Нет.

Мужчина посмотрел на кислую капусту, колбасу, рис и картофель, перевел взгляд на

Нойбауера и пожал плечами. Высокий эсэсовский чин, похоже, не произвел на него особого впечатления. А кроме того — это был и в самом деле слишком обильный обед для этого периода войны. Нойбауер покраснел. Резко повернувшись, он полез вниз по обломкам и кирпичам.

Ему понадобился почти час, чтобы добраться до Фридрихсallee. Улица не пострадала во время бомбежек. Волнение его усиливалось. «Если дома первой поперечной улицы еще стоят, значит, и с моей торговой фирмой ничего не случилось», — загадал он. Дома стояли как ни в чем не бывало, целы и невредимы. На следующих двух улицах — тоже. «Попробуем еще разок, — подумал он. — Если на следующей улице два первых дома не пострадали, значит, и у меня все будет в порядке». Ему опять повезло: два дома стояли на своих местах; на месте третьего возвышалась груда развалин. Нойбауер сплюнул. В горле у него пересохло от пыли. Он уверенно повернул за угол, на Германн-Геринг-штрассе, и остановился.

Бомбы оставили после себя внушительный след. Верхних этажей его торгового дома как не бывало. Угол здания был оторван. Взрывной волной его отшвырнуло на противоположную сторону улицы, прямо в антикварный магазин. Посреди улицы, на уцелевшем клочке асфальта, одиноко сидел выброшенный из этой лавки взрывом бронзовый будда. Сложив руки на животе, святой со снисходительной улыбкой на губах смотрел вверх этих следов западного варварства в сторону развалин вокзала, словно ожидая некоего призрачного поезда, который увезет его назад, туда, где царят простые законы джунглей, — туда, где убивают, чтобы жить, а не живут, чтобы убивать.

В первое мгновение Нойбауером овладело глупое чувство, будто судьба самым бессовестным образом обманула его. На улицах, пересекающих Фридрихсallee, было все так, как он загадал, — и вдруг такой сюрприз! Он был разочарован и огорчен, как ребенок. Ему хотелось заплакать. Чтобы с ним — с ним! — такое случилось! Он окинул взглядом улицу. Несколько домов уцелело. «Почему не эти? — думал он. — Почему это должно было произойти именно со мной, настоящим патриотом, хорошим супругом, заботливым отцом?..»

Он обошел воронку, зиявшую посреди улицы. В отделе модного платья были разбиты все витрины. Повсюду, словно лед, сверкали осколки стекла. Они скрипели под сапогами. Табличка «Новая мода для немецкой женщины» болталась на одном гвозде. Он пригнул голову и шагнул через порог. В помещении пахло гарью, но огня он нигде не заметил. Куклы-манекены разлетелись по всему отделу. Их словно только что изнасиловала целая орда дикарей: одни лежали на спине: раскинув ноги, с задранными платьями, другие — на животе, с переломанными руками, выпятив восковые зады. На одной не было ничего, кроме перчаток; другая, с оторванной ногой, в шляпке с вуалью, стояла в углу. Все они улыбались, и это придавало им жутковато-непристойный вид.

«Конец, — думал Нойбауер. — Крышка. Все пропало. Интересно, что Сельма скажет теперь? Все-таки на свете нет справедливости». Он вернулся обратно на улицу и пошел вокруг здания. Повернув за угол, он увидел на противоположной стороне чью-то фигуру, которая при звуке его шагов вздрогнула, съежилась, а затем бросилась прочь.

— Стой! — крикнул Нойбауер. — Ни с места! Или буду стрелять!

Фигура замерла. Это был маленький помятый человечек.

— Ко мне!

Человечек робко, словно крадучись, приблизился. Нойбауер не сразу узнал его. Это был прежний владелец торговой фирмы.

— Бланк?.. — изумился Нойбауер. — Это вы?

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер.

— Что вы здесь делаете?

— Простите, господин оберштурмбаннфюрер. Я... я...

— Перестаньте мямлить! Я вас спрашиваю, что вы здесь делаете?

Гипнотическое действие эсэсовского мундира на Бланка вернуло Нойбауеру его душевное равновесие и чувство превосходства.

— Я... я... — лепетал Бланк. — Я просто зашел сюда... чтобы... чтобы...

— Чтобы — что?

Бланк сделал беспомощный жест в сторону груды развалин.

— Чтобы порадоваться, да?

Бланк в ужасе отшатнулся.

— Нет-нет, господин оберштурмбаннфюрер! Нет, что вы! Простите... жаль... — вдруг прошептал он. — Жаль...

— Конечно, жаль. Теперь вы можете смеяться.

— Я не смеюсь! Я не смеюсь, господин оберштурмбаннфюрер!

Нойбауер молча разглядывал его.

Бланк стоял перед ним, вытянув руки по швам и боясь пошевелиться.

— Вам с этой фирмой повезло больше, чем мне, — с горечью произнес Нойбауер после долгой паузы. — Вам по крайней мере хорошо заплатили за нее. Или вы не согласны?

— Так точно, очень хорошо заплатили, господин оберштурмбаннфюрер.

— Вы получили наличные, а я — груды развалин.

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер! Сожалею, весьма сожалею. Такое несчастье...

Нойбауер смотрел прямо перед собой немигающим взглядом. В эту минуту он действительно считал, что для Бланка продажа фирмы оказалась блестящей сделкой. Он даже на какое-то мгновение призадумался, не заставить ли его купить эту груды развалин обратно. Взяв с него подороже. Но это было бы против партийных принципов. А кроме того — одни эти обломки стоили больше, чем он в свое время заплатил Бланку. Не говоря уже о самом участке. Пять тысяч... Да здесь одна только плата жильцов ежегодно составляла пятнадцать тысяч марок! Пятнадцать тысяч! Как не бывало!

— Что вы там шарите? Что у вас с руками?

— Я... ничего, господин оберштурмбаннфюрер. Я... просто упал... много лет назад...

Бланк весь взмок. Крупные капли пота скатывались со лба прямо в глаза. Правый глаз его мигал сильнее, чем левый. Левый был из стекла и не чувствовал пота. Бланк боялся, как бы Нойбауер не расценил его дрожь как дерзость. Такое тоже случалось. Но Нойбауеру сейчас было не до того. Он вовсе не думал о том, что Вебер допрашивал Бланка в лагере перед тем, как тот продал ему фирму. Он просто смотрел на развалины.

— Да, вы не прогадали. В отличие от меня, — сказал он, наконец. — Хотя в свое время, наверное, думали иначе. Сейчас бы вы все потеряли. А так у вас остались ваши денюжки.

Бланк не решался вытереть пот.

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер, — пробормотал он.

Нойбауер вдруг испытующе посмотрел на него. В голове мелькнула мысль. Эта мысль в последние дни все чаще занимала его. В первый раз она пришла к нему в тот день, когда было разрушено здание газеты «Мелленер Цайтунг». Он отогнал ее прочь, но она, словно навязчивая муха, возвращалась снова и снова. А может, Бланки и в самом деле когда-нибудь опять встанут на ноги?.. Этот тип, что стоял перед ним, — вряд ли. Это — уже руина. Хотя все эти груды земли, камней и обломков — тоже руины. От них совсем не пахнет победой. Особенно от своих собственных. Ему вспомнилась Сельма с ее карканьем. Да еще эти газетные новости! Русские добрались до Берлина — это факт, тут уж ничего не попишешь. Рурская область в кольце — это

тоже правда.

— Послушайте, Бланк, — начал он задумчивым голосом. — Я ведь тогда обошелся с вами вполне прилично, не так ли?

— Конечно, конечно, в высшей степени прилично...

— Вы ведь не можете этого не признать, верно?

— Разумеется, господин оберштурмбаннфюрер, разумеется.

— Гуманно...

— Очень гуманно, господин оберштурмбаннфюрер. Премного благодарен...

— Ну ладно... Не забывайте это! Я для вас как-никак многим рисковал... Нда. А что вы здесь, собственно, делаете? Я имею в виду — в городе?

«Почему вы давно не в лагере?» — чуть не вырвалось у него.

— Я... я...

Бланк обливался потом. Он не мог понять, куда клонит Нойбауер. Но он знал по опыту: если нацист говорит с тобой приветливо, значит, нужно ждать какой-нибудь особенно жестокой шутки. Точно так же говорил с ним Вебер перед тем, как выбить ему глаз. Он проклинал себя за то, что не устоял перед соблазном и оставил тайное убежище, чтобы взглянуть на свое прежнее добро.

Нойбауер заметил его смятение и поспешил воспользоваться им.

— А то, что вы до сих пор на свободе, Бланк, — я надеюсь, вы понимаете, кому вы этим обязаны, а?

— Так точно!.. Спасибо!.. Огромное вам спасибо, господин оберштурмбаннфюрер.

Бланк был обязан своей свободой не Нойбауеру. Он знал это. Знал это и Нойбауер. Но, тронутые раскаленным дыханием догорающих развалин, старые понятия и представления вдруг словно начали плавиться. Больше ни в чем нельзя было быть уверенным. Нужно было думать о завтрашнем дне. «Бред, конечно... — подумал Нойбауер. — Но в то же время — кто его знает, может, этот еврей в один прекрасный день еще пригодится». Он достал сигару.

— Возьмите, Бланк. «Дойче Вахт». Хороший табак. А то, что случилось тогда, — поверьте, это была суровая необходимость. Не забывайте о том, как я вас защищал.

Бланк не курил. После веберовских экспериментов с горящими сигарами ему понадобились годы, чтобы опять научиться переносить запах дыма, не впадая в истерику. Но он не отважился отказаться от сигары.

— Благодарю вас, господин оберштурмбаннфюрер. Вы так любезны...

Он несмело попятился назад, держа сигару в покаленной руке, и через мгновение исчез. Нойбауер огляделся кругом. Никто не видел, как он говорил с евреем. Это и хорошо. Он тут же забыл о Бланке и принялся подсчитывать в уме убытки. Потом вдруг принюхался. Запах гари становился все сильнее. Он поспешно перешел на другую сторону. Магазин готового платья горел. Он бросился обратно.

— Бланк! Бланк! — позвал он, но тот не появлялся. — Пожар! Пожар!

Никто не пришел на его зов. Город горел со всех концов. Пожарные не могли поспеть всюду. На каждом шагу путь преграждали завалы. Нойбауер вновь побежал к магазину. Заскочив внутрь, он схватил в охапку рулон ткани, выволок его наружу и вернулся за следующим. Но огонь преградил ему дорогу. Кружевное платье, которое он ухватил на ходу, вспыхнуло у него в руке. Языки пламени лизали ткани и готовую одежду. Он едва успел унести ноги.

Стоя на противоположной стороне улицы, он беспомощно смотрел, как горит его добро. Огонь уже добрался до манекенов, пополз по ним, пожирая их платья, и куклы вдруг, плавясь и пылая, на миг обрели странную, призрачную жизнь. Они вздымались, корчились, извивались, заламывали руки, словно попали в специальный ад для восковых фигур. Наконец,

разбушевавшиеся волны огня сомкнулись над ними, как это обычно бывает с трупами в крематории, и все пропало.

Жар становился все нестерпимее. Нойбауер все дальше пятился назад, пока не наткнулся на будду. Даже не оглянувшись, он машинально сел на него, но тут же вскочил: головное убранство святого завершалось наверху острым бронзовым наконечником. В немой ярости он уставился на рулон ткани у своих ног, который ему удалось спасти. Это была голубая ткань с тисненными изображениями летящих птиц. Будь оно все проклято! К чему это теперь? Он протащил рулон через улицу и бросил его в огонь. Пусть все летит к черту! Чтоб вы все сдохли! Он не оглядываясь пошел прочь. Он не желал больше ничего этого видеть! Бог отвернулся от немцев. Водан^[11] — тоже. На кого же им теперь уповать?

Из-за кучи щебня и мусора, неподалеку от горящего магазина, медленно показалась голова Йозефа Бланка. Он смотрел Нойбауеру вслед. На бледном лице его застыла улыбка. Он улыбался — впервые за столько лет, — а покалеченные пальцы его тем временем ломали на мелкие кусочки подаренную сигару.

Глава шестнадцатая

Во дворе крематория опять стояли новенькие. Восемь человек. У каждого на рукаве была красная нашивка политзаключенного. Бергер не знал ни одного из них. Но он знал их судьбу.

Капо Драйер уже занял свое место за столом в подвале. Бергер почувствовал, как обмякло в нем его второе «Я», тайно надеявшееся на отсрочку. Драйер отсутствовал три дня. Это помешало Бергеру осуществить то, что он задумал. Сегодня у него не было выбора — он должен был рискнуть.

— Давай, начинай!.. — проворчал Драйер. — Иначе мы тут никогда не управимся. Они у вас что-то в последнее время дохнут, как мухи.

В шахту загремели первые трупы. Трое заключенных стаскивали с них и сортировали одежду. Бергер проверял зубы. После этого трупы загружали в подъемник.

Спустя полчаса явился Шульте. Он выглядел бодрым и выспавшимся, но все время жевал. Драйер писал, а Шульте время от времени заглядывал в его бумаги через плечо.

Несмотря на то, что помещение было большим и хорошо проветривалось, запах трупов вскоре проник во все щели и уголки. Он исходил не только от обнаженных тел — им была пропитана даже снятая с них одежда. Лавина трупов не прекращалась. Она, казалось, погребла под собой время; Бергер уже вряд ли смог бы с уверенностью сказать, утро сейчас или вечер. Наконец, Шульте поднялся и сказал Драйеру, что идет на обед.

Драйер тоже сложил на столе свои бумаги.

— На сколько мы опережаем истопников?

— На двадцать два.

— Хорошо. Перерыв. Скажите тем наверху, чтобы перестали бросать. Пусть ждут, пока я вернусь.

Трое заключенных, работавших с Бергером, сразу же ушли наверх. Бергер не спеша принялся за следующий труп.

— Ты что, не слышал? Чеши отсюда! — оскалился Драйер.

Прыщ на его верхней губе превратился в зловещий фурункул.

Бергер выпрямился.

— Мы забыли оприходовать вот этого.

— Что?

— Мы забыли оформить вот этот труп.

— Не болтай ерунду! Мы всех записали.

— Это неверно. — Бергер старался говорить как можно спокойнее. — У нас не хватает в списке одного человека.

— Слушай, ты!.. — взорвался Драйер. — Ты что, спятил?.. Что ты городишь?

— Мы должны внести в список еще одного человека.

— Та-ак... — Драйер впился в Бергера пристальным взглядом. — И почему же мы должны это сделать?

— Потому что количество выбывших в списке не сходится.

— Ты за мои списки не беспокойся!

— За другие списки я не беспокоюсь. Только за этот один.

— За другие? Какие это — «другие», ты, скелетина?

— Золотые списки.

Драйер помолчал несколько секунд.

— Может, ты наконец объяснишь, что все это значит? — спросил он затем.

Бергер набрал воздуха в легкие.

— Это значит, что мне наплевать — что творится в золотых списках.

Драйер сделал было движение в сторону Бергера, но совладал с собой.

— Там все в порядке... — произнес он угрожающе.

— Может быть. А может, и нет. Их ведь можно сравнить...

— Сравнить? С чем?

— С моими списками. Я веду их с самого первого дня, как начал здесь работать. На всякий случай.

— Смотрите-ка на него! Он тоже ведет списки, этот хитрый тихоня!.. И ты думаешь, тебе поверят больше, чем мне?

— Я не исключаю такой возможности. Мне ведь от этого списка никакой пользы.

Драйер смерил Бергера взглядом с ног до головы, словно в первый раз увидел его.

— Так... Значит, говоришь, никакой пользы? Я тоже так думаю... И чтобы мне это сказать, ты, конечно, дождался подходящего момента, здесь, в подвале, а? Наедине со мной — это была больша-а-я ошибка, куриная твоя башка! — Он ухмыльнулся. Но из-за боли, которую ему причинял фурункул, ухмылка была больше похожа на оскал злой собаки. — Может, ты теперь расскажешь, что мне мешает стукнуть тебя слегка по твоей куриной башке и положить твой труп рядом с другими? Или аккуратно перекрыть тебе кислород? Тогда ты сам и станешь тем, кого у нас в списке не хватает. Объяснений никаких не потребуется. Мы ведь одни. Ты просто взял да и помер. Сердечная недостаточность. Одним больше, одним меньше — здесь это роли не играет. Никакого расследования не будет. А я уж тебя оприходу.

Драйер подошел ближе. Он был фунтов на шестьдесят тяжелее, чем Бергер. У Бергера даже со щипцами в руке не было ни малейшего шанса. Он сделал шаг назад и чуть не упал, наткнувшись на лежавший сзади труп. Драйер, схватив его за руку, завернул ему кисть назад. Бергер выронил щипцы.

— Вот так будет лучше, — сказал Драйер.

Он рывком притянул Бергера к себе. Его красное, искаженное лицо было прямо перед глазами Бергера. На верхней губе поблескивал синеватый по краям фурункул. Бергер молчал. Он откинул голову как можно дальше назад, изо всех напрягая то, что когда-то было шейными мышцами.

Он увидел, как правая рука Драйера начала медленно подниматься вверх. В голове у него прояснилось. Он знал, что надо делать. Времени было мало, но рука, к счастью, поднималась медленно, как в замедленной съемке.

— То, что вы сейчас хотите сделать, — я предусмотрел, — торопливо проговорил он. — Все заранее записано, и есть даже подписи свидетелей.

Рука не остановилась. Она продолжала подниматься, медленно, но неумолимо.

— Врешь!.. — процедил сквозь зубы Драйер. — Хочешь спасти свою шкуру. Ну поговори-поговори, тебе уже не долго осталось говорить.

— Я не вру. Мы понимали, что вы попытаетесь избавиться от меня. — Бергер смотрел Драйеру прямо в глаза. — Это первое, что всегда приходит в голову глупцам. Все уже давно на бумаге, и эта бумага вместе со списком, в котором не хватает двух золотых сережек и золотой оправы, будет передана лагерфюреру, если я вечером не вернусь в барак.

Драйер заморгал.

— Вот как?

— Именно так. Неужели вы думаете, что я не знал, чем рискую?

— Та-ак... Значит, говоришь, знал?

— Да. Все записано. Золотую оправу, которой не достает, наверняка еще хорошо помнят

Вебер, Шульте и Штайнбрэннер. У того, кому она принадлежала, был лишь один глаз. Такие вещи так быстро не забываются.

Рука замерла. Через секунду она бессильно повисла.

— Это было не золото, — заявил Драйер. — Ты сам говорил.

— Это было золото.

— Она не имела никакой ценности. Барахло. Выкрасить и выбросить.

— Вот вы все это потом сами и объясните. У нас есть показания друзей того, кому она принадлежала. Это было чистое золото.

— Пес поганый!

Драйер толкнул Бергера в грудь. Тот упал. Падая, он попытался найти точку опоры и наткнулся рукой на чьи-то глаза и зубы. Он приземлился на труп.

Драйер тяжело дышал. Бергер ни на секунду не спускал с него глаз.

— А ты подумал, что будет с твоими друзьями? Ты что, думаешь, их по головке погладят? За то, что они знали, как ты тут хотел приплести к списку лишнего мертвяка?

— Они ничего не знают.

— А кто тебе поверит?

— А кто поверит вам, если вы это расскажете? Они охотно поверят в то, что вы все это сочинили, чтобы избавиться от меня, из-за сережек и оправы.

Бергер поднялся. И вдруг почувствовал, что весь дрожит. Он нагнулся и стал отряхивать колени. Это было совсем ни к чему. Но он ничего не мог поделать со своей дрожью, и ему не хотелось, чтобы Драйер это заметил.

Драйер ничего не заметил. Он потрогал пальцем фурункул. Бергер видел, что нарыв лопнул. Из него пошел гной.

— Не делайте этого, — сказал он.

— Что? Почему?

— Не трогайте фурункул. Это опасно. Трупный яд.

Драйер испуганно уставился на него.

— Я сегодня не прикасался к трупам.

— Зато я прикасался. А вы прикасались ко мне. Мой предшественник умер от заражения крови.

Драйер отдернул руку от лица, как ошпаренный, и вытер палец о штаны.

— Едрена вошь! Что же теперь будет? Я уже прикоснулся к нему. Вот паскудство! — Он с омерзением посмотрел на свои пальцы, словно увидел на них следы проказы. — Давай! Делай что-нибудь! — закричал он на Бергера. — Или ты думаешь, я только и мечтаю, как бы поскорее сдохнуть?

— Конечно, нет. — Бергер уже овладел собой. Ему помог этот неожиданный поворот в их разговоре. Он выиграл время. — Особенно теперь, перед самым концом, — прибавил он.

— Что?

— Перед самым концом, — повторил Бергер.

— Что? Какой конец! Делай что-нибудь, собака! Намажь его чем-нибудь!

Драйер побледнел. Бергер принес бутылку с йодом, стоявшую неподалеку на доске. Он знал, что Драйеру не грозит никакой опасности; да его это и не интересовало. Главное — что он смог отвлечь Драйера. Он смазал фурункул йодом. Драйер вздрогнул от его прикосновения. Бергер отставил бутылку в сторону.

— Ну вот, теперь инфекция не страшна.

Драйер, сведя глаза к переносице, пытался увидеть фурункул.

— Точно?

— Точно.

Драйер еще некоторое время косился вниз, изучая свою болячку. Потом пошевелил верхней губой, как кролик.

— Так. Ну так чего ты, собственно, хотел? — спросил он, наконец.

Бергер понял, что выиграл.

— Я уже сказал. Подменить данные об одном трупе, вот и все.

— А Шульте?

— Он не смотрел в списки. Во всяком случае, на имена. К тому же он два раза выходил.

Драйер думал.

— А одежда? Как быть с тряпками?

— С тряпками все будет в порядке. Номер тоже будет совпадать.

— Как это? Или ты его — ?..

— Он у меня с собой. Номер, который должен умереть.

— Это вы неплохо придумали. Или, может, ты один?

— Нет.

Драйер засунул руки в карманы, прошелся взад-вперед и остановился перед Бергером.

— А кто мне даст гарантию, что твой так называемый «список» потом вдруг не всплывет?

— Я.

Драйер пожал плечами и сплюнул.

— До сих пор просто существовал список, — сказал Бергер спокойно. Список и обвинения. Я мог бы воспользоваться этим списком, и со мной бы ничего не случилось. Меня бы еще похвалили. А после этого, — он показал на лежавшие на столе бумаги, — я становлюсь причастным к исчезновению заключенного.

Драйер соображал. Он осторожно пошевелил своей верхней губой и опять скосил глаза вниз.

— Вы ведь почти ничем не рискуете, — продолжал Бергер. — К трем-четырем поступкам прибавится еще один. Разницы почти никакой. Я же — в первый раз принимаю на себя тяжелую вину. Мой риск гораздо больше. Мне кажется, это вполне надежная гарантия.

Драйер не отвечал.

— Подумайте еще и о том, — говорил Бергер, не сводя с него глаз, — что война практически проиграна. Германские войска отеснены со всех сторон, от Африки до Сталинграда, и загнаны обратно, далеко за прежние границы, и даже за Рейн. Тут уже бессильна любая пропаганда и болтовня о секретном оружии. Через пару недель или месяцев наступит конец. А значит, и время расплаты. Зачем же вам подставлять свою шею вместе с другими? Если станет известно, что вы помогли нам, вас никто не тронет.

— Кому это — «нам»?

— Нас много. Везде. Не только в Малом лагере.

— А если я сейчас доложу об этом? О том, что вы существуете?

— А какое это имеет отношение к кольцам и оправам?

Драйер поднял голову и криво усмехнулся.

— А вы и в самом деле все хорошо продумали, а?

Бергер промолчал.

— Тот, кого вы хотите подсунуть, — он что, задумал смыться?

— Нет. Мы просто хотим уберечь его от этого, — Бергер кивнул на крюки, торчащие из стены.

— Политический?

— Да.

Драйер прищурился.

— А если будет настоящая проверка и его найдут? Что тогда?

— Бараки переполнены. Его не найдут.

— Его могут узнать. Если он известный политический.

— Это не известный политический. И у нас в Малом лагере все похожи друг на друга.

Никто его там не узнает.

— Ваш староста блока в курсе?

— Да, — солгал Бергер. — Иначе бы это было невозможно.

— У вас есть связь с канцелярией?

— У нас везде есть связи.

— А номер у этого типа татуирован?

— Нет.

— А что с тряпками?

— Я знаю, какие нужно подменять. Я уже отложил их в сторону.

Драйер оглянулся на дверь.

— Давай быстрее! Шевелись! Пока никого нет.

Он чуть приоткрыл дверь и прислушался. Бергер тем временем ползал на коленях, шаря среди трупов. В последний момент ему пришла в голову еще одна мысль. Он решил сделать двойную подмену и так запутать Драйера, чтобы тот никогда не смог докопаться до имени 509-го.

— Скорее! Черт бы тебя побрал! Что ты там еще ищешь?

Бергер нашел наконец подходящий труп — из Малого лагеря и без выколотого на руке номера. Он стащил с него куртку, достал из-за пазухи одежду 509-го с номером и надел ее на труп. Потом положил снятые с мертвого вещи на кучу одежды и вытащил снизу куртку и брюки, которые он заранее припрятал. Обмотав ими свои бедра, он напялил сверху брюки и застегнул куртку.

— Готово.

Бергер тяжело дышал. Перед глазами у него плыли черные пятна. Драйер обернулся.

— Все в порядке?

— Да.

— Хорошо. Я ничего не видел и ничего не знаю. Я был в уборной. То, что здесь произошло, — это твоя работа. Я ничего не знаю, понял?

— Понял.

Подъемник, груженный раздетыми трупами поехал наверх и вскоре вернулся обратно пустым.

— Сейчас я пойду наверх и позову тех троих, грузить подъемник. Ты все это время будешь здесь один, понял?

— Понял.

— А список...

— Я принесу его завтра. Или уничтожу, если хотите.

— Я могу положиться на это?

— Конечно.

Драйер на минуту задумался.

— Ты ведь теперь и сам увяз в этой истории. Еще глубже, чем я. Или нет?

— Гораздо глубже.

— А если все-таки узнают...

— Я буду молчать. У меня есть яд. Я им ничего не скажу.

— Да, у вас, как я погляжу, есть все. — На лице Драйера отразилось что-то похожее на уважение, внушаемое достойным противником. — А я и не знал этого.

«Иначе был бы осторожнее, — продолжил он про себя. — Эти проклятые полудохлые твари! Даже с ними надо держать ухо востро».

— Начинать пока грузить подъемник. — Он собрался было уходить.

— Возьмите вот это, — остановил его Бергер.

— Что?

Бергер положил на стол пять марок. Драйер сунул их в карман.

— И то дело... Что я, зря рисковал, что ли...

— На следующей неделе будет еще столько же...

— Это за что еще?

— Ни за что. Просто пять марок. За сегодняшнее.

— Ладно. — Драйер растянул было губы в улыбке, но тут же скривился от боли: он позабыл про фурункул. — Мы ведь в конце концов не звери. Если надо помочь товарищу — о чем разговор!

Он вышел. Бергер прислонился к стене. У него кружилась голова. Все оказалось проще, чем он ожидал. Но он не строил себе иллюзий. Он знал, что Драйер все еще ломает себе голову, как бы прихлопнуть его. Пока залогом его безопасности будет скрытая угроза — намеки на подпольное движение — и обещанные пять марок. Драйер обязательно подождет следующей недели. Уголовники никогда не упускают своей выгоды. Эту истину они хорошо усвоили на примере Хандке. Деньги достал Левинский со своей группой. Они выручат и на этот раз. Бергер пощупал куртку, которую он намотал на себя. Она держалась крепко. Со стороны ничего не было заметно. Его собственная куртка даже и теперь свободно болталась на нем. Во рту у него пересохло. Труп с фальшивым номером лежал перед ним. Он стащил с кучи мертвых тел еще один труп и положил его рядом с первым. В это мгновение сверху в шахту загремел очередной труп. Наверху начали работу.

Вернулся Драйер с тремя заключенными.

— А ты что здесь делаешь? — заорал он на Бергера. — Ты почему не наверху?

Это было нужно для алиби. Трое других должны были запомнить, что Бергер оставался в подвале один.

— Мне надо было еще тащить один зуб, — ответил Бергер.

— «Надо было»!.. Тебе «надо» только то, что приказывают, понял? Иначе тут с вами греха не оберешься.

Драйер уселся за стол, обстоятельно разложил свои бумаги.

— Начинать! — скомандовал он.

Шульте пришел чуть позже. Он достал из кармана «Поведение в обществе» Адольфа Книгге и углубился в чтение.

Они продолжали раздевать трупы. Скоро очередь дошла до того, на котором была куртка 509-го. Ему удалось сделать так, что им занимались другие. Он слышал, как они прокричали номер «509». Шульте не поднял головы. Он углубился в классическую книгу об этикете и как раз читал о том, как следует есть рыбу и раков. В мае он рассчитывал получить приглашение родителей своей невесты и не хотел ударить лицом в грязь. Драйер равнодушно записывал сведения об умерших и сравнивал их с рапортами старост блоков. Следующим опять был труп какого-то политического. Бергер намеренно занялся им сам. Он назвал его номер чуть громче обычного и заметил, что Драйер вскинул глаза. Потом он принес к столу его вещи. Драйер вопрошающе посмотрел на него. Бергер многозначительно закрыл и открыл глаза. После этого, взяв щипцы и фонарик, он склонился над трупом. Он добился своего. Драйер думал, что имя

того, кто остался жить, того, кого ему сегодня подсунули, — это имя, которое он только что услышал. Потеряв след, он теперь не сможет выдать 509-го.

Отворилась дверь, и на пороге появился Штайнбреннер. Следом за ним вошли Бройер, хозяин штрафного бункера, и шарфюрер Ниманн. Штайнбреннер улыбнулся Шульте.

— Мы пришли тебя сменить. Приказ Вебера. Вы уже заканчиваете?

Шульте захлопнул книгу.

— Сколько осталось? — спросил он Драйера.

— Четыре трупа.

— Хорошо. Заканчивайте.

Штайнбреннер прислонился к стене, исцарапанной ногтями повешенных.

— Заканчивайте, заканчивайте. Мы не торопимся. Потом пришлите нам тех пятерых, которые работали наверху. У нас для них маленький сюрприз.

— Да, — подтвердил Бройер. — У меня сегодня день рождения.

— Кто из вас 509-й? — спросил Гольдштейн.

— А что?

— Меня перевели сюда.

Был уже вечер. Гольдштейна и еще двенадцать заключенных отправили в Малый лагерь.

— Меня послал к вам Левинский, — сказал он, обращаясь к Бергеру.

— Ты будешь в нашем бараке?

— Нет. В 21-м. Так получилось. Времени было мало. Потом, может быть, переберусь к вам. Просто надо было срочно унести оттуда ноги. А где 509-й?

— 509-го больше нет.

Гольдштейн вскинул глаза.

— Умер? Или спрятали?

— Ему можно верить, — сказал 509-й, сидевший рядом с ним. — Левинский в прошлый раз рассказывал о нем.

Он повернулся к Гольдштейну.

— Меня теперь зовут Флорманн. Что нового? Мы давно о вас ничего не слыхали.

— Давно? Два дня!

— Это много. Что нового? Иди сюда. Здесь никто не услышит.

Они сели в стороне, поодаль от других.

— Вчера мы в 6-м блоке слушали по нашему радио новости. Англичан. Правда, из-за сильных помех мало что поняли, но одно сообщение расслышали хорошо: русские уже обстреливают Берлин.

— Берлин?

— Да...

— А англичане и американцы?

— Про них мы ничего нового не узнали: во-первых, помехи, а во-вторых — мы боялись, что нас накроют. Рурская область ^[12] окружена, и они уже давно перешли Рейн — это точно.

509-й смотрел на колючую проволоку, за которой под низкими грозовыми тучами пламенела полоска заката.

— Как медленно это все тянется...

— Медленно? Это ты называешь медленно? За год германские войска отеснены от России до самого Берлина и из Африки до Рура! И ты говоришь — медленно?

509-й покачал головой.

— Я не о том... Я хотел сказать: медленно для тех, кто здесь. Для нас. Вдруг стало

медленно! Неужели ты не понимаешь? Я сижу здесь уже много лет, но это — самая медленная весна за все эти годы. Я говорю «медленно», потому что это так тяжело — ждать.

— Понимаю. — Гольдштейн улыбнулся. На сером лице его тускло блеснули белые, словно испачканные мелом, зубы. — Это мне знакомо... Особенно ночью. Когда не можешь уснуть и не хватает воздуха. — Глаза его не улыбались. Они были по-прежнему безучастны к тому, что он говорил. — Тогда это, конечно, медленно. Чертовски медленно!..

— Это я и имел в виду. Пару недель назад мы еще ничего не знали. А теперь уже кажется, что все идет медленно. Странно — как все меняется, когда появляется надежда! Когда опять ждешь. И боишься, что они все-таки доберутся до тебя.

509-й вспомнил о Хандке. Опасность еще не миновала. Их махинации с трупами в крематории, может быть, было бы и достаточно, если бы Хандке не знал 509-го лично. 509-й просто умер бы, превратившись во Флорманна, так же как Флорманн воскрес, превратившись в 509-го. Официально он был мертв, но он все еще находился в Малом лагере. Ничего другого пока не получалось. Они были рады уже хотя бы тому, что староста блока 20, в котором жил Флорманн, согласился подыграть им. 509-й теперь должен был быть осторожным, чтобы Хандке его случайно не увидел. Он должен был быть осторожным еще и потому, что его мог предать кто-нибудь другой. Да и Вебер мог узнать его во время какой-нибудь неожиданной проверки.

— Ты один перебрался сюда? — спросил он Гольдштейна.

— Нет. Еще двое

— А еще кто-нибудь придет?

— Наверное. Но не официально, не через канцелярию. У нас спрятано человек пятьдесят. А то и шестьдесят.

— Где же вы их всех прячете?

— Они каждую ночь меняют бараки. Спят в разных местах.

— А если эсэсовцы потребуют их к воротам? Или в канцелярию?

— Они не пойдут.

— Как?.. — 509-й выпрямился от удивления.

— Они не пойдут, — повторил Гольдштейн. — Эсэсовцы уже потеряли точный контроль за людьми. Неразбериха в лагере с каждым днем все сильнее. И так уже почти месяц. Мы для этого сделали все, что могли. Люди, которых ищут, то якобы ушли с рабочими командами, то просто как сквозь землю провалились.

— А СС? Что, они не приходят за ними?

Зубы Гольдштейна опять блеснули в темноте.

— Им это в последнее время разонравилось. А если они и приходят, то целой командой и хорошо вооруженные. Опасны теперь только Ниманн, Бройер и Штайнбрэннер.

509-й помолчал немного. Ему было нелегко поверить в то, что он услышал.

— И с каких это пор так?.. — спросил он, наконец.

— Уже примерно неделю. Каждый день что-то меняется.

— Ты думаешь, эсэсовцы... боятся?

— Да. Они вдруг заметили, что нас — тысячи. И они хорошо знают, что творится на фронтах.

— Неужели вы просто не подчиняетесь, и все? — никак не мог поверить 509-й.

— Мы подчиняемся. Но мы делаем это не спеша, тянем время и вообще саботируем, как можем. И все-таки эсэсовцы в последнее время ухлопали много наших. Всех мы не можем спасти.

Гольдштейн поднялся.

— Мне еще надо как-то устраиваться на ночлег.

— Если ничего не найдешь, спроси Бергера.

— Хорошо.

509-й лежал рядом с кучей трупов между двумя бараками. Куча в этот раз была выше, чем обычно. Вчера вечером в лагере не давали хлеба. Это всегда было заметно на следующий день по количеству трупов. Дул мокрый, холодный ветер, поэтому 509-й придвинулся совсем близко к куче: мертвые защищали его от холода.

«Они защищают меня, — думал он. — Они защитили меня от крематория, а теперь защищают от ветра». Этот холодный, мокрый ветер гнал куда-то по небу дым Флорманна, чье имя он теперь носил. Несколько обгоревших костей его скоро попадут на мельницу и превратятся в костную муку. И лишь имя — самое недолговечное и условное из всего, чем наделен человек, — осталось и превратилось в щит для другой жизни, борющейся со смертью.

Он слышал, как охали, кряхтели и шевелились трупы. В них еще бродили соки. По отмирающим тканям ползала вторая, химическая смерть, расщепляя и отравляя их газами, готовя их к распаду, — и словно призрачные отражения отступившей жизни, вздувались и опадали животы, из легких с шумом вырывался воздух, а из глаз, как запоздалые слезы, сочилась мутная жидкость.

509-й поехал. На нем была гонведская ^[13]гусарская куртка, одна из самых теплых вещей в бараке, которую по очереди надевали те, кто спал снаружи. Он посмотрел на тускло мерцающие в темноте галуны обшлага. Ему вдруг пришло в голову, что все это похоже на иронию судьбы: именно теперь, когда он опять вспомнил о своем прошлом и о самом себе и не желал больше быть просто номером, — именно теперь он вынужден был жить под именем умершего, да еще облачившись в венгерский военный мундир.

Он опять поехал и спрятал руки в рукава. Он мог бы отправиться в барак и несколько часов поспать в его смрадном тепле, но он не сделал этого. Он слишком разволновался. Лучше остаться здесь и мерзнуть, уставившись во мрак ночи, и ждать от этой ночи неизвестно чего. «Это как раз то, что сводит с ума, — думал он. — Это ожидание — как сеть, раскинутая над лагерем, в которой запутываются все надежды и страхи. Я жду, а Хандке с Вебером притаились где-то за спиной; Гольдштейн ждет, а сердце его каждую секунду грозит остановиться; Бергер ждет и боится, как бы его не сунули в газовую камеру вместе с рабочей командой крематория раньше, чем нас освободят; все мы ждем и не знаем, отправят ли нас в последний момент по этапу, в лагерь смерти, или...»

— 509-й, — послышался из темноты голос Агасфера. — Ты здесь?

— Здесь. Что случилось?

— Овчарка умерла — Агасфер подковылял ближе.

— Он же не болел, — сказал 509-й.

— Нет. Просто уснул и больше не проснулся.

— Помочь тебе его вынести?

— Не надо. Мы тоже были на улице. Он лежит вон там. Я просто хотел сказать кому-нибудь об этом.

— Да, старик.

— Да, 509-й.

Глава семнадцатая

Новая партия прибыла неожиданно. Железнодорожные пути к западу от города были на несколько дней выведены из строя. В составе одного из поездов, прибывших сразу же после восстановительных работ, было несколько товарных вагонов. Их должны были отправить дальше, в один из лагерей смерти. Однако ночью железнодорожное полотно опять разбомбили. Поезд простоял на станции целый день, потом людей отправили в лагерь Меллерн.

Это были только евреи, евреи со всех концов Европы — польские и венгерские, чешские и румынские, русские и греческие, евреи из Югославии, Голландии, Болгарии и даже из Люксембурга. Они говорили на разных языках; большинство из них не понимали друг друга. Даже общий для всех идиш, казалось, у каждого был свой. Вначале их было две тысячи. Осталось всего пятьсот, не считая пары сотен трупов в товарных вагонах.

Нойбауер был вне себя.

— Куда нам их девать? Лагерь и так переполнен! Тем более что у нас даже нет официального распоряжения принять партию заключенных! Мы к ним никакого отношения не имеем! Это же настоящий хаос! Никакого порядка! Что происходит — не понимаю!

Он метался по кабинету взад и вперед. Ко всем его личным заботам теперь прибавилось еще и это! Его чиновничья кровь кипела от возмущения. Он не понимал, к чему столько возни с людьми, приговоренными к смерти. Не находя выхода своей ярости, он подошел к окну.

— Как цыгане! Разлеглись себе перед воротами, со всем своим барахлом! Как будто мы не в Германии, а где-нибудь на Балканах!.. Вы что-нибудь понимаете, Вебер?

Вебер равнодушно пожал плечами:

— Кто-нибудь где-нибудь распорядился... Иначе бы их сюда не прислали.

— В том-то и дело! Кто-то где-то. А меня спросить не удосужились. Даже не предупредили. Не говоря уже о надлежащем порядке передачи людей. Этого, видимо, уже вообще не существует! Что ни день, то какая-нибудь новая служба. Эти, на вокзале, заявляют: «Люди слишком сильно кричали!»! «Это оказывало деморализующее действие на гражданское население!»! А нам-то какое дело? Наши люди не кричат! — Он посмотрел на Вебера. Тот стоял в непринужденной позе, прислонившись к двери.

— А вы уже говорили об этом с Дитцем?

— Еще нет. Да, вы правы. Это мысль.

Нойбауер велел соединить его с Дитцем и поговорил с ним несколько минут. Он заметно успокоился.

— Дитц говорит, нам нужно просто подержать их у себя одну ночь. Не распределять по блокам, не регистрировать — просто загнать внутрь и охранять. Завтра их повезут дальше. До утра железнодорожные пути обещали отремонтировать. — Он опять взглянул в окно. — Но куда нам их девать? У нас же все переполнено.

— Можно оставить их на плацу.

— Аппель-плац понадобится нам завтра утром. Это только внесет путаницу. И потом, эти балканцы загадят его за ночь. Нет, надо придумать что-нибудь другое.

— Можно сунуть их в Малый лагерь, на плац. Там они никому не будут мешать.

— А места там хватит?

— Хватит. Своих людей мы загоним в бараки. Обычно часть из них валяется снаружи.

— Почему? Что, бараки так переполнены?

— Это как посмотреть. Их можно упаковать, как сардины в банке. А если надо — и друг на друга.

— Одну ночь можно потерпеть.

— Потерпят. Никто из них не горит желанием случайно попасть в эту партию. — Вебер рассмеялся. — Они будут шарахаться от балканцев, как от холеры.

Нойбауер тоже чуть заметно ухмыльнулся. Ему нравилось, что его заключенные не желали расставаться с лагерем.

— Надо поставить часовых, — сказал он. — Иначе новенькие забьются в бараки, и тогда с ними хлопот не оберешься.

Вебер покачал головой.

— Об этом позаботятся те, кто в бараках. Они сообразят, что если мы не досчитаемся новеньких, то можем просто послать кого-нибудь из них, чтобы сошлось число.

— Хорошо. Назначьте кого-нибудь из наших и дайте им в помощь побольше капо и людей из лагерной полиции, в качестве часовых. И прикажите закрыть на ночь бараки в Малом лагере. Светомаскировку мы нарушать не можем, так что придется обойтись без прожекторов.

Ползущая сквозь сумерки колонна была похожа на стаю больных усталых птиц, которые уже не в силах были летать. Они едва волочили по земле заплетающиеся ноги, шатаясь из стороны в сторону, и если кто-нибудь падал, задние ряды шли прямо по нему, даже не замечая этого.

— Закрывать двери! — скомандовал шарфюрер, которому было поручено блокировать Малый лагерь. — Всем сидеть в бараках! Кто высунется, получит пулю!

Толпу загнали на плац, расположенный между бараками. Она медленно растеклась, словно лужа, в разные стороны; несколько человек в изнеможении опустились на землю, к ним присоединились другие; этот неподвижный островок посреди текущей людской массы быстро разрастался, и вскоре все до единого лежали на плацу, и вечер бесшумно спустился на них, словно медленный дождь из пепла.

Они спали. Но голоса их не смолкали. То там, то здесь, вспорхнув, как испуганные птицы, из снов и тяжелых кошмаров, они вонзались в ночь, чужие, гортанные, порой сливаясь в один протяжный, жалобный стон, и этот стон глухо бился о стены бараков, словно волны людского горя о неприступный ковчег спасенных.

В бараках всю ночь не могли уснуть. Эти звуки рвали душу на части, и уже через два-три часа многие, не выдержав, впали в истерику. Их крики слышали на плацу, и жалобный вой стал нарастать, в свою очередь усиливая вопли беснующихся в бараках. Этот жуткий, средневековый антифон^[14] вскоре заглушил грохот прикладов, обрушившихся на стены бараков, выстрелы и перестук дубинок — то приглушенный, когда удары ложились на спины, то более звонкий, когда дубинки плясали по черепам.

Постепенно стало тише. Кричавших в бараках утомили их товарищи, а толпу на плацу наконец одолел свинцовый сон изнеможения. Одни дубинки вряд ли заставили бы их замолчать: они уже почти не чувствовали ударов. Причитания, которые теперь были похожи на вздохи ветра, не затихали до самого утра.

Ветераны долго слушали эти звуки. Они слушали и содрогались от мысли, что и с ними может произойти то же самое. Внешне они почти ничем не отличались от людей, лежавших на плацу, и все же — спрессованные, как опилки в этих привезенных из Польши бараках для обреченных, посреди воня и смерти, посреди стен, испещренных прощальными иероглифами умирающих, корчась от боли из-за невозможности сходить в уборную, — они чувствовали себя счастливыми перед лицом этого безграничного чужого горя; бараки вдруг стали для них олицетворением родины, безопасности, и это казалось им самым страшным из всего, что они видели и испытывали раньше...

Утром они проснулись от множества тихих, чужих голосов. Было еще темно. Причитания смолкли. Зато теперь кто-то скребся снаружи, царапал стены барака. Казалось, будто в них вгрызаются сотни крыс, стараясь проникнуть внутрь. Вначале скребли негромко, вкрадчиво, затем все настойчивее, и наконец, начали осторожно стучать в двери, в стены, послышались голоса, заискивающие, просительные, срывающиеся от предсмертного страха: на разных, непонятных языках люди с плаца просили впустить их.

Они молили укрывшихся в ковчеге отворить дверь и спасти их от потопа. Они уже не кричали, почти смирившись со своей участью, они затаились в темноте, под стенами и окнами, и тихо просили, поглаживали деревянные стены или скребли их ногтями и просили мягкими, темными голосами.

— Что они говорят? — спросил Бухер.

— Они просят, чтобы мыпустили их, ради их матерей, ради... — Агасфер смолк, не договорив. Он плакал.

— Мы не можем, — сказал Бергер.

— Да, я знаю...

Через полчаса поступил приказ отправляться. На плацу раздались первые команды. В ответ послышались громкие причитания. Команды становились все громче и злобнее.

— Ты что-нибудь видишь, Бухер? — спросил Бергер. Они примостились у маленького окошка на самом верхнем ярусе.

— Да. Они не хотят. Отказываются.

— Встать! — кричали на плацу. — Строиться! Становись на перекличку!

Евреи не вставали. Распластавшись на земле, они полными ужаса глазами смотрели на охранников или закрывали руками головы.

— Встать! — орал Хандке. — Живо! Подымайтесь, твари вонючие! Или вас подбодрить? А ну пошли отсюда!

«Подбадривание» не помогало. Пятьсот измученных тварей, низведенных до животного уровня только за то, что они иначе молились Богу, чем их мучители, больше не реагировали на крики, брань и побои. Они отказывались вставать, они словно пытались обнять землю, они отчаянно цеплялись за нее: для них не было сейчас ничего желаннее этой несчастной, загаженной земли — земли концентрационного лагеря; эта земля означала для них рай, спасение. Они знали, куда их везут. На этапе, пока они находились в движении, они, отдавшись силе инерции, тупо исполняли все команды. Но когда наступила внезапная задержка, они, немного придя в себя, так же тупо отказывались куда-либо идти или ехать.

Надсмотрщики растерялись. У них был приказ: бить аккуратно, не насмерть. А это было не так-то просто. Начальство, отдавшее приказ, руководствовалось простыми, чисто бюрократическими соображениями: эти чужие заключенные не были официально переведены в Меллерн, значит, должны покинуть его по возможности в полном составе.

Показалась еще целая группа эсэсовцев. 509-му, которые в это время находился в 20-м бараке, даже удалось разглядеть среди них Вебера. Он остановился у входа в Малый лагерь, в своих элегантных, начищенных до блеска сапогах, и отдал какое-то распоряжение. Солдаты изготовились к стрельбе и дали залп поверх лежащей толпы, над самыми головами. Вебер стоял у ворот, широко расставив ноги и упершись руками в бока. Он рассчитывал на то, что евреи после первых же выстрелов вскочат на ноги.

Они не сделали этого. Никакие угрозы давно уже на них не действовали. Они по-прежнему лежали на земле. Они не желали покидать этот плац. Они вряд ли сдвинулись бы с места, даже если бы стреляли прямо в них.

Вебер побагровел.

— Поднять их! — закричал он. — Лупить, пока не встанут! Поставить их на ноги!

Надсмотрщики бросились в толпу. Они работали дубинками и кулаками, они били ногами в животы и в промежности, они хватали людей за волосы, за бороды и ставили их на ноги, но те валялись на землю, словно были без костей.

Бухер, не отрываясь, смотрел в окно.

— Ты видишь? — шептал Бергер. — Там не только ээсовцы, среди тех, которые их лупят. И не только зеленые. Не только преступники. Там среди них и другие цвета. Там есть и наши! Такие же заключенные, как и мы. Из них сделали капо и полицейских. И они лупят не хуже, чем их учителя. — Он тер свои воспаленные глаза так ожесточенно, как будто хотел выдавить их из черепа.

Снаружи, прямо перед окном, стоял пожилой мужчина с седой бородой. Борода его медленно окрашивалась кровью, которая шла изо рта.

— Отойдите от окна, — сказал Агасфер. — Иначе они вас заметят и отправят вместе с ними.

— Они нас не могут увидеть.

Через подслеповатое, грязное окошко снаружи невозможно было разглядеть, что делается в темном бараке. Изнутри же можно было следить за происходящим на плацу.

— Не смотрите вы туда, — не унимался Агасфер. — Грех — смотреть на это, если тебя не заставляют.

— Это не грех, — возразил ему Бухер. — Мы смотрим, чтобы никогда этого не забыть.

— Неужели вы еще не насмотрелись, за все это время?

Бухер не ответил. Он продолжал неотрывно смотреть в окно.

Постепенно ярость на плацу иссякла. Надсмотрщикам, если бы они во что бы то ни стало решили добиться своего, пришлось бы каждого тащить на руках. Для этого им понадобились бы тысячи рук. Несколько раз им удавалось выволочь на дорогу десятков-другой евреев, но те каждый раз, прорвавшись сквозь цепь охранников, бросались обратно, к огромной черной куче, по которой, казалось, то и дело пробегали судороги.

— Сам Нойбауер явился, — сообщил Бергер.

Нойбауер разговаривал с Вебером.

— Они не хотят уходить, — произнес Вебер менее равнодушно, чем обычно. — Из них можно душу выколотить — ничего не помогает.

Нойбауер окутался клубами табачного дыма. Вонь на плацу становилась почти невыносимой.

— Мерзкая история! И зачем их только сюда прислали? Можно же было избавиться от них на месте, там, откуда они прибыли, вместо того чтобы тащить их через всю страну в газовые камеры. Хотел бы я знать, в чем тут причина!

Вебер пожал плечами.

— Причина в том, что даже самый паршивый еврей имеет тело. Пятьсот трупов. Убивать легко. Гораздо труднее избавиться от трупов. А этих целых две тысячи.

— Вздор! Почти во всех лагерях есть крематории, так же как и у нас.

— Все верно. Только эти крематории по нашим временам работают слишком медленно. Особенно, если нужно быстро сворачивать лагерь.

Нойбауер выплюнул попавший в рот кусочек табачного листа.

— Все равно я не понимаю, зачем посылать их так далеко.

— Опять же из-за трупов. Нашим властям не нравится, когда где-нибудь находят много трупов. А до сих пор только в крематориях трупы уничтожались так, что потом нельзя будет установить их число. Но, к сожалению, слишком медленно, при нынешних масштабах. Нет еще

пока по-настоящему эффективных, современных средств, позволяющих быстро обрабатывать большие количества. Братские могилы даже через несколько лет можно в любой момент раскопать, чтобы потом рассказывать всему миру страшные сказки. Как это было в Польше и России.

— Почему этот сброд нельзя было просто во время отступления... — Нойбауер тут же спохватился, — я имею в виду во время стратегического сокращения линии фронта — оставить там, где они были? Они же уже ни на что не годятся. Оставить их американцам или русским, и пусть они с ними целуются!

— Вопрос опять упирается в тела, — терпеливо объяснил Вебер. — В американской армии полно журналистов и фоторепортеров. Они бы тут же наделали снимков и заявили бы, что людей морили голодом.

Нойбауер вынул изо рта сигару и пристально посмотрел на Вебера. Он не мог понять, насмехается над ним его лагерфюрер или ему опять померещилось. Ему это никогда не удавалось, сколько он ни старался. Лицо Вебера оставалось таким же, как всегда.

— Что это значит? — спросил Нойбауер. — Что вы этим хотите сказать? Конечно, людей кормили впроголодь.

— Все это страшные небылицы, порождаемые зарубежной прессой. Министерство пропаганды каждый день призывает не поддаваться на эти провокации.

Нойбауер все еще не спускал глаз с Вебера. «Я ведь его по сути вообще не знаю, — думал он. — Он всегда делал то, что я хотел, но я, если разобраться, ничего о нем не знаю. Я бы не удивился, если бы он вдруг рассмеялся мне в лицо. А то и самому фюреру. Ландскнехт! Безо всякого мировоззрения. Для него наверняка не существует ничего святого. И партия — тоже для него ничего не значит. Она ему просто пока нужна».

— Знаете что, Вебер... — начал было он, но тут же оборвал сам себя. Какой смысл сейчас устраивать спектакль! На миг его опять охватил этот проклятый страх. — Конечно, людей кормили впроголодь, — произнес он уже другим тоном. — Но это не наша вина. Нас вынудил к этому своей блокадой противник. Или вы думаете иначе?

Вебер поднял голову. Он не мог поверить своим ушам. Нойбауер смотрел на него с каким-то странным любопытством.

— Разумеется, — ответил он не спеша. — Блокада противника.

Нойбауер кивнул. Страх его прошел. Он взглянул на плац.

— Откровенно говоря, — сказал он почти доверительно, — между лагерями существует все же огромная разница. Наши люди, к примеру, выглядят куда лучше этих. Даже в Малом лагере. Вы не находите?

— Да, — подтвердил озадаченный Вебер.

— Все познается в сравнении. Мы наверняка — один из самых гуманных лагерей во всем рейхе. — У Нойбауера появилось приятное чувство облегчения. — Конечно, люди умирают. Даже многие. В такие времена это неизбежно. Но мы все равно остаемся гуманными. Тех, кто уже не может, мы не заставляем работать. Ну где еще так обращаются с предателями и государственными преступниками?

— Почти нигде.

— Вот и я говорю. А насчет того, что впроголодь — это не наша вина! Я вам скажу больше, Вебер... — Но тут Нойбауера вдруг осенила мысль. — Послушайте, я знаю, как их отсюда выкурить! Знаете, как? Пищей!

Вебер ухмыльнулся. Старик иногда все же спускается на землю с вершин своих розовых снов.

— Отличная идея, — подхватил он. — Если не помогают дубинки, пища всегда поможет.

Но мы же не держим специально наготове лишние пайки.

— Это не проблема. Значит, нашим людям придется разок потерпеть. Проявить чувство товарищества. Получат в обед чуть меньше — ничего не случится. — Нойбауер расправил плечи. — Они понимают по-немецки?

— Пара человек, наверное, найдется.

— А переводчик есть?

Вебер стал спрашивать охранников, карауливших заключенных ночью. Они подтащили к нему трех похожих на мумии евреев.

— Переведите своим людям все, что скажет господин оберштурмбаннфюрер! — рывкнул на них Вебер.

Нойбауер сделал шаг вперед.

— Послушайте меня! — начал он с достоинством. — Вас неверно проинформировали. Вы направляетесь в лечебно-оздоровительный лагерь.

— Живо! — толкнул Вебер одного из переводчиков. — Переводить!

Они заговорили на трех непонятных языках. Никто на плацу не сдвинулся с места.

Нойбауер повторил свои слова и прибавил:

— Сейчас вы пойдете к кухонному блоку. За едой и за кофе!

Переводчики прокричали все это в толпу. Никто не шевелился. В такие вещи уже не верили. Все они не раз видели, как гибли люди, попавшись на эту удочку. Пища и баня были опасными обещаниями.

— Кухонный блок! Вы слышали? — разозлился Нойбауер. — Марш к кухонному блоку! Харчи! Кофе! Получать харчи и кофе! Суп!

Охранники ринулись со своими дубинками на толпу.

— Суп! Вы что, не слышали? Харчи! Суп! — приговаривали они при каждом ударе.

— Отставить! — сердито закричал на них Нойбауер. — Кто вам приказывал их лупить? Черт вас побери!..

Надсмотрщики бросились назад.

— Пошли вон! — кричал Нойбауер.

Люди с дубинками моментально вновь превратились в заключенных. Они воровато, как шкодливые коты, прокрались краем плаца подальше от начальства и исчезли один за другим.

— Они же их перекалечат! — проворчал Нойбауер. — Потом возись с ними...

Вебер кивнул:

— Нам с ними и без того работы хватит: после выгрузки с вокзала сюда прислали пару грузовиков с трупами, в крематорий.

— Где же они?

— Сложили в крематории. А угля и без того не хватает. Наши запасы пригодятся нам самим.

— Черт возьми, как же нам их отсюда выманить?

— Они сейчас в панике и никаких слов не понимают. Может быть, запах подействует?..

— Запах?

— Да. Запах пищи. Запах и вид.

— Вы имеете в виду — если мы притащим сюда походную кухню?

— Так точно. Обещаниями от них уже ничего не добьешься. Они должны это увидеть. Или почувствовать запах.

Нойбауер кивнул.

— Это можно. Мы ведь как раз недавно получили несколько полевых кухонь. Пусть прикатят одну. Или две. Одну с кофе. Пища готова?

— Еще нет. Но на одну бочку, я думаю, наберется. Со вчерашнего вечера.

Две бочки на колесах стояли на дороге, примерно в двухстах метрах от лежавшей на плацу толпы.

— Катите одну бочку в Малый лагерь! — скомандовал Вебер. — И снимите крышку. Потом, когда они пойдут, медленно катите ее обратно сюда.

— Надо их сдвинуть с места, — пояснил он Нойбауеру. — если они уйдут с плаца, можно считать, что дело сделано, потом с ними будет легко. Так всегда. Они привязываются к тому месту, на котором спали, потому что на этом месте с ними ничего не произошло. Это для них что-то вроде убежища. А все остальное их пугает. Но стоит их только привести в движение, и они сами пойдут. Везите пока только кофе! — скомандовал он. — И оставьте бочку там же. Пусть пьют! Напоите всех.

Бочку с кофе подкатили к толпе. Один из капо зачерпнул половником коричневой жижи и вылил ее на голову сидевшему ближе всех к нему еврею. Им оказался старик с белой окровавленной бородой. Жидкость потекла по лицу; борода на этот раз окрасилась в коричневый цвет, претерпев свою третью метаморфозу.

Старик поднял голову и стал слизывать языком катившиеся по лицу капли. Его корявые руки-сучья пришли в движение. Капо поднес к его губам черпак с остатками кофе.

— Жри! Кофе!

Старик открыл рот. Жилы на шее у него вдруг заходили, задергались, руки обхватили черпак, и через секунду он уже глотал и прихлебывал, позабыв обо всем на свете, так, словно он все свои силы, все последние крохи энергии вложил в эти глотательные движения; лицо его подрагивало, руки и ноги тряслись.

Это заметил его сосед. Потом еще один. И второй, и третий. Один за другим они поднялись на ноги, потянулись руками и губами к черпаку, толкая и оттесняя друг друга, и вскоре слились в одну сплошную массу рук и голов.

— Эй, полегче! Мать вашу!..

Капо никак не мог вырвать у них черпак. Он тянул его на себя, раздавая пинки направо и налево и одновременно косясь с опаской назад, на Нойбауера. Несколько человек тем временем облепили горячую бочку и, сунув головы внутрь, пытались зачерпнуть кофе своими худыми руками.

— Кофе! Кофе!

Капо удалось, наконец, высвободить черпак.

— Соблюдать порядок! — прокричал он. — Все в очередь! Становись друг за другом!

Слова не помогали. Сдержат натиск толпы было невозможно. Она не воспринимала слов. Она чувствовала запах того, что называется кофе, чего-то теплого, что можно пить, и слепо штурмовала бочку. Вебер оказался прав: там, где буксует разум, всегда можно выехать на желудке.

— Теперь медленно тащите бочку сюда! — командовал Вебер.

Это оказалось невозможным. Бочка была плотно окружена толпой. Один из надсмотрщиков вдруг сделал удивленное лицо и медленно повалился навзничь. кто-то дернул его внизу за ноги. Капо замахал руками, как пловец, и погрузился на дно толпы.

— Образовать клин! — приказал Вебер.

Солдаты и лагерная полиция построились клином.

— Вперед! К полевой кухне! Вытащить ее сюда!

Они врзались в толпу, расшвыривая людей по сторонам. Им удалось образовать заслон вокруг уже почти пустой бочки. Они встали вокруг нее плечом к плечу и медленно покатали ее к

дороге. Толпа двинулась вслед. К бочке со всех сторон через плечи охранников тянулись руки. Они пытались проскользнуть и под мышками.

Вдруг кто-то из стонущей, беснующейся кучи людей заметил вторую, стоявшую поодаль бочку. Он ринулся к ней, качаясь на ходу, словно пьяница с какой-нибудь карикатуры. За ним поплелись другие. Но Вебер на этот раз был начеку: полевая кухня, окруженная дюжими охранниками, сразу же тронулась с места.

Толпа бросилась вслед. Лишь несколько человек замешкались у бочки с кофе. Они скребли ладонями ее стенки и слизывали с них теплую влагу. Человек тридцать, которые так и не смогли подняться, остались лежать на плацу.

— Тащите их за ними, — велел Вебер. — И перекройте дорогу, чтобы они не могли вернуться обратно.

Плац был покрыт человеческой грязью. Но он на целую ночь стал местом привала. Это много значило. У Вебера был большой опыт. Он знал, что толпа, оправившись от приступа голодного безумия, обязательно хлынет обратно, подобно тому как волна, плеснув на берег, откатывается назад.

Охранники погнали оставших вперед. Одновременно они тащили мертвых и умирающих. Трупов было всего семь. Последние пятьсот человек оказались самыми живучими.

У выхода из Малого лагеря несколько человек вдруг бросились бежать обратно. Охранники, возившиеся с мертвыми и умирающими, не могли за ними поспеть. Трое евреев, самых крепких, добежали до барачков и стали рваться то в один, то в другой блок. Наконец, им удалось открыть дверь 22-го блока. Они забрались внутрь.

— Стой! — крикнул Вебер, когда охранники пустились за ними в погоню. — Все ко мне! Этим троим мы заберем позже. А сейчас — смотреть в оба! Остальные возвращаются.

Толпа двигалась по дороге обратно. Котел с пищей опустел, и когда людей попытались построить в колонну для отправки на станцию, они повернули назад. Но теперь это были уже совсем другие люди. До этого они были чем-то похожим на монолит — все вместе, по ту сторону отчаяния, и это дало им какую-то тупую силу. Теперь же вновь разбуженный голод, пища и движение отшвырнули их в прежнее состояние, и души их, как паруса, вновь наполнились ветром отчаяния и страха, они вновь лишились силы и разума и превратились из однородной массы во множество отдельных существ, каждое со своим собственным остатком жизни, — дичь, которую можно было брать голыми руками. В довершение ко всему они уже не лежали на земле, тесно прижавшись друг к другу. У них не было больше никаких козырей. Они опять обрели способность чувствовать голод и боль. Они опять начали выполнять команды.

Часть из них перехватили еще у полевой кухни, еще часть — по пути в Малый лагерь; оставшихся встретил Вебер со своей командой. Они не били по головам. Только по туловищу. Наконец, в бесформенной толпе начали вырисовываться отдельные группы, готовые к маршу. Люди покорно, словно на них нашел какой-то столбняк, стояли в строю, держась друг за друга, чтобы не упасть. Умирающих рассовали между теми, кто еще крепко держался на ногах. Издалека этот строй можно было бы принять за веселое сборище пьяных гуляк. Несколько человек вдруг запели. Подняв голову и глядя куда-то в одну точку они крепко держали друг друга и пели. Их было немного, и песня получилась жидкой и отрывистой. Колонна двинулась через большой апель-плац мимо построенных на утренний развод рабочих команд к лагерным воротам.

— Что это они поют? — спросил Вернер.

— Песню для усопших.

Три беглеца притаились в бараке 22. Они протиснулись как можно дальше, вглубь барака.

Двое из них по пояс скрылись под нарами. Торчавшие оттуда ноги их дрожали. Время от времени дрожь на миг прекращалась, а потом начиналась опять. Третий поворачивал свое побелевшее лицо то к одному, то к другому и твердил, тыча себе пальцем в грудь:

— Прятать!.. Человек!.. Человек!.. — Это было все, что он мог сказать по-немецки.

Вебер рывком открыл дверь.

— Где они? — Он стоял на пороге с двумя охранниками. — Ну долго мне еще ждать? Где они?

Никто не отвечал.

— Староста секции! — крикнул Вебер.

Бергер шагнул вперед.

— Блок 22, секция... — начал он рапорт, но Вебер оборвал его:

— Заткнись! Я спрашиваю, где они?

У Бергера не было выбора. Он знал, что беглецов найдут в считанные секунды. Знал он и то, что в бараке ни в коем случае нельзя было допустить обыска. У них прятались двое политических из рабочего лагеря.

Он уже поднял руку, чтобы показать в угол, но один из надсмотрщиков, который смотрел мимо него вглубь барака, опередил его.

— Вон они! Под нарами!

— Берите их!

В переполненном бараке завязалась борьба. Охранники тащили беглецов, как лягушек, за ноги из-под нар. Те отчаянно цеплялись за стойки нар; тела их повисли в воздухе. Вебер наступил одному из них на пальцы. Раздался хруст, и пальцы разжались. Затем он проделал то же самое с другим. Охранники поволокли их по грязному полу к выходу. Они уже не кричали. Они лишь время от времени издавали тихие, высокие стоны. Третий, с побелевшим лицом, сам поднялся и пошел вслед за ними. Глаза его — огромные черные дыры — смотрели на людей, мимо которых он шел. Те не выдерживали его взгляда и отворачивались.

Вебер стоял у двери, широко расставив ноги.

— Кто из вас, свиней, открыл им дверь?

Никто не отвечал.

— Выходи строиться!

Они повалили на улицу. Хандке уже стоял перед баракком.

— Староста блока! — пролаял Вебер. — Двери было приказано закрыть! Кто открыл им дверь?

— Дверь старая. Они сами вырвали замок, господин штурмфюрер.

— Что за чушь! Как это они могли умудриться? — Вебер наклонился к замку. Он свободно болтался в сгнившем пазу. — Немедленно поставьте новый замок! Давно уже надо было сделать! Почему не сделали вовремя?

— Двери здесь никогда не закрываются, господин штурмфюрер. В бараке нет уборной.

— Все равно. Позаботьтесь о двери. — Вебер повернулся и пошел по дороге вслед за пойманными беглецами, которые больше не сопротивлялись.

Хандке молча смотрел на заключенных. Они ждали очередного взрыва бешенства. Но взрыва не последовало.

— Болваны... — процедил он. — А ну живо убирать это дерьмо! — Он указал на плац.

— Ну что, рады небось, что барак не стали обыскивать? — сказал он затем, повернувшись к Бергеру. — Это вам, конечно, совсем ни к чему, верно? Что скажешь?

Бергер молчал. Он смотрел на Хандке ничего не выражающим взглядом. Хандке коротко рассмеялся.

— Вы, конечно, считаете меня за идиота! Я знаю больше, чем ты думаешь. И я еще до вас доберусь! До всех, понял? Вы у меня еще попляшете! Самоуверенные политические недоноски!

Он потопал вслед за Вебером. Бергер оглянулся. За спиной у него стоял Гольдштейн.

— Интересно, что он этим хотел сказать?

Бергер поднял плечи.

— В любом случае нужно срочно сообщить Левинскому. А людей спрятать сегодня где-нибудь в другом месте. Может, в 20-м блоке. Там 509-й, он знает, что и как.

Глава восемнадцатая

Утром над лагерем сплошным ковром повис туман. Он скрыл пулеметные вышки и палисады. Некоторое время казалось, будто концентрационного лагеря больше не существует, будто ограждения незаметно растворились в тумане, плавно перешли в мягкую, зыбкую свободу и стоит только пойти вперед, как тут же убедишься в том, что колючей проволоки нет.

Потом раздался вой сирен, а вскоре послышались первые взрывы. Эти звуки мягко выплыли из ниоткуда. Они, казалось, не имели ни начала, ни направления. Они одинаково могли родиться в городе, как и в небе или где-то за горизонтом. Они рассыпались вокруг, словно глухие раскаты грома, возвещающего о каких-то далеких грозах, и в молочно-серой, ватной бесконечности, обступившей лагерь, звуки эти не внушали опасений.

Обитатели барака 22 устало сидели на своих нарах или в проходах. Они почти не спали, а в голове у них мутилось от голода: вечером им выдали только жидкую баланду. На бомбежку они почти не обратили внимания. Им это было уже хорошо знакомо. Это тоже стало частью их существования. Никто из них не был готов к тому, что вой начал вдруг с угрожающей скоростью усиливаться, а потом его оборвал чудовищный взрыв.

Барак закачался, как при землетрясении. Сквозь гулкий, как рев прибоя, грохот взрыва послышался звон разбитых стекол.

— Они бомбят нас! Они бомбят нас! — крикнул кто-то. — Выпустите меня отсюда! Выпустите меня!

Началась паника. Люди посыпались с нар; многие, пытаясь спуститься вниз, зацеплялись за соседей с нижних ярусов и падали вместе с ними в непроходимые джунгли человеческих рук и ног. Во все стороны сыпались удары невесомых, высохших кулаков, поблескивали оскаленные зубы, а в глубоких, черных глазницах застыл ужас. Зрелище это казалось еще более неестественным оттого, что было немым: пронзительный вой летящих бомб и захлебывающийся лай зенитных орудий полностью заглушили шум в бараке. Раскрытые рты кричали беззвучно, словно страх лишил людей их голосов.

Еще один взрыв потряс землю. Паника достигла своего апогея и превратилась во всеобщее бегство. Одни, которые еще могли ходить, заполнили все проходы и лезли по головам друг друга к выходу; другие безучастно лежали на своих нарах и смотрели на своих бесшумно жестикулирующих товарищей, словно были зрителями пантомимы, которая их совсем не касалась.

— Закройте дверь! — крикнул Бергер.

Но было уже поздно. Дверь распахнулась, и первая куча скелетов высыпалась в туман. За ней повалили другие. Ветераны, забившись в угол, держались друг за друга, чтобы их не унесло безумным потоком наружу.

— Стой! — кричал Бергер. — Часовые откроют огонь!

Бегство продолжалось.

— Ложись! — скомандовал Левинский. Он, несмотря на угрозы Хандке, провел ночь в 22-м блоке. Для него это было безопаснее, чем оставаться в рабочем лагере; за день до этого спецгруппа эсэсовцев — Штайнбрэннер, Бройер и Ниманн — накрыла и отвела в крематорий четверых политических, фамилии которых начинались на буквы «Т» и «К». На счастье поиск шел по бюрократическому принципу. Левинский не стал дожидаться, пока очередь дойдет до буквы «Л». — Ложись на землю! Они будут стрелять!

— Выходим! Пусть в этой мышеловке остается, кто хочет!

Снаружи сквозь грохот и вой уже затрещали первые выстрелы.

— Вот видите! Я же говорил! Ложись! На живот! Пулеметы опаснее, чем бомбы!

Левинский ошибся. После третьего взрыва пулеметы смолкли. Часовые поспешно оставили вышки. Левинский выполз из барака.

— Теперь уже не опасно! — прокричал он Бергеру в ухо. — Эсэсовцы смылись!

— Что нам делать? Сидеть в бараке?

— Нет. Это все равно не защита. Если что — зажмет где-нибудь, и сгоришь заживо!

— Выходим! — крикнул Майерхоф. — Если где-нибудь вырвет бомбой проволоку, мы сможем бежать!

— Заткнись, идиот! Они тебя схватят, в твоём полосатом костюме, и пристрелят!

— Выходите!

Они гурьбой вывалили из барака.

— Держаться вместе! — руководил Левинский.

Он схватил Майерхофа за шиворот.

— Если тебе, ослу, взбретет в голову делать глупости, — я тебе своими собственными руками шею сверну! Слышишь? Болван недорезанный! Неужели ты думаешь, что мы сейчас можем позволить себе рисковать? — Он с силой встряхнул его. — Или мне лучше сразу тебе башку отвернуть?

— Оставь его, — сказал Бергер. — Он ничего не сделает. Он слишком слаб для этого, да и я присмотрю за ним.

Они лежали неподалеку от барака. Им были видны его темные стены, которые торчали из кипящего тумана. Казалось, будто это вовсе не туман, а дым еще невидимого, разгорающегося внутри пожара. Они лежали, прижатые к земле огромными, тяжелыми лапами канонады, и ждали очередного взрыва.

Взрыва не было. Только зенитки еще продолжали бушевать. Со стороны города тоже больше не слышно было бомб. Зато еще отчетливее стали слышны винтовочные выстрелы.

— Палят здесь, в лагере, — сказал Зульцбахер.

— Это эсэсовцы, — поднял голову Лебенталь. — А может, они попали в казармы, и Нойбауера с Вебером уже нет в живых

— Это было бы слишком большое счастье, — произнес Розен. — Так не бывает. Они же не могли целиться, из-за тумана. Скорее всего накрыло пару бараков.

— А где Левинский? — спохватился Лебенталь.

Бергер посмотрел по сторонам.

— Не знаю. Пару минут назад он еще был здесь. А ты не знаешь, Майерхоф?

— Не знаю. И знать не хочу.

— Может, он пошел на разведку?

Они замолчали и прислушались. Напряжение росло. Снова послышались разрозненные ружейные выстрелы.

— Может, кто-нибудь сбежал? В Большом лагере? — высказал предположение Бухер. — И они идут по следу?

— Будем надеяться, что нет.

Каждый знал, что в противном случае весь лагерь будет построен на плацу, и никто не уйдет оттуда, пока не вернут обратно беглецов — живых или мертвых. Это означало бы десятки лишних трупов и тщательный осмотр всех бараков. Поэтому Левинский и накричал на Майерхофа.

— Зачем им сейчас — бежать? — усомнился Агасфер.

— А почему бы и нет? — вновь подал голос Майерхоф. — Каждый день...

— Успокойся, — оборвал его Бергер. — Ты восстал из мертвых и спятил на этой почве.

Возомнил себя Самсоном! Да ты не смог бы уйти даже на полкилометра!

— Может, Левинский сам смылся. Причин у него хватает. Побольше, чем у других.

— Ерунда! Он не побежит.

Зенитки смолкли. В тишине слышались команды и топот множества ног.

— Может, нам лучше исчезнуть в бараке? — предложил Лебенталь.

— Верно. — Бергер поднялся. — Все из секции «В» — в барак! Гольдштейн, ты проследи, чтобы все забились куда-нибудь подальше. Хандке наверняка вот-вот появится.

— Эсэсовцы, конечно, все живы и здоровы, — проворчал Лебенталь. — Эти всегда выходят сухими из воды. А пару сотен наших вполне могло разорвать на куски.

— А может, это уже идут американцы? — сказал вдруг кто-то из тумана. — Может, это уже — пушки?

На миг все замолчали.

— Заткнись ты! — рассердился Лебенталь. — Сглазишь еще!

— Давай, пошли, кто еще ползает! Сейчас наверняка будет поверка.

Они забрались в барак. При этом поднялась почти такая же паника, как в начале бомбежки. Многие вдруг испугались, что другие, кто порасторопнее, займут их места. Особенно те, у кого были места на нарах. Они кричали слабыми, хриплыми голосами и яростно пробивались вперед, спотыкаясь и падая. Барак даже теперь был переполнен. Места в нем едва хватало для трети всех значившихся в списках. Часть людей, несмотря на все призывы товарищей, осталась лежать снаружи. У них после пережитых волнений уже не было сил даже для того, чтобы хотя бы ползком вернуться в барак. Паника выплеснула их вместе с другими на улицу, и теперь они беспомощно лежали на земле, словно выброшенные на песок рыбы. Ветераны дотащили нескольких из них до барака. В тумане они не сразу заметили, что двое уже мертвы. Эти двое были в крови. Они погибли от выстрелов.

— Тихо!.. — Сквозь белое клубящееся марево слышались чьи-то твердые шаги. «Мусульмане» так не ходили.

Шаги приблизились и затихли перед самой дверью. В двери показалась голова Левинского.

— Бергер, — позвал он шепотом. — Где 509-й?

— В двадцатом. Что случилось?

— Выйди-ка на минуточку.

Бергер направился к двери.

— 509-му больше нечего бояться, — произнес Левинский отрывистой скороговоркой. — Хандке мертв.

— Мертв? Что — бомба?

— Нет. Просто мертв.

— Как это произошло? Он что — попался эсэсовцам под горячую руку, в тумане?

— Он попался нам под горячую руку. Еще вопросы есть?.. Главное, что с ним покончено. Он был опасен. Туман нам очень помог. — Левинский помолчал. — Ты его еще увидишь, в крематории.

— Если выстрел был сделан с малого расстояния, то на коже остались следы пороха и ожог.

— Это был не выстрел... Заодно, под шумок, прикончили еще двух шишек, из самых опасных. Один — из нашего барака. Выдал двух человек.

Раздался сигнал отбоя воздушной тревоги. Туман тяжело вздымался и рвался на части. Казалось, будто его изрешетили осколки бомб. Одна за другой заголублили чистые полыньи неба. Туман вокруг них засеребрился, и через минуту солнце наполнило его белым, холодным сиянием. Из этой зыбкой белизны медленно росли черные, похожие на эшафоты, пулеметные вышки.

Вновь послышались чьи-то шаги.

— Тихо!.. — шепнул Бергер. — Левинский, входи! Прячься скорей!

Они вошли внутрь и закрыли за собой дверь.

— Идет один человек, — произнес Левинский. — Значит, опасности нет. — Они уже неделю не ходят поодиночке. Боятся.

Кто-то осторожно приоткрыл дверь.

— Левинский здесь?

— Чего тебе?

— Иди сюда быстрее! Я принес...

Левинский скрылся в тумане.

Бергер огляделся по сторонам.

— А где Лебенталь?

— Пошел в 20-й. Рассказать 509-му.

Вернулся Левинский.

— Ты не узнал, что там случилось? — спросил Бергер.

— Узнал. Давай выйдем.

— Ну?..

Левинский медленно улыбнулся. Размытое туманом влажное лицо его — зубы, глаза, широкий нос с трепещущими ноздрями — проступало все отчетливее.

— Рухнула часть эсэсовской казармы, — сказал он. — Есть убитые и раненые. Пока не знаю, сколько. В 1-м бараке погибло несколько человек. Повреждены арсенал и вещевой склад. — Он с опаской огляделся вокруг. — Нам нужно кое-что спрятать. Может быть, только до вечера. Нам кое-что перепало. Жаль, времени было маловато. Каких-нибудь несколько минут, пока не вернулись эсэсовцы.

— Давай сюда, — быстро проговорил Бергер.

Они встали вплотную друг к другу. Левинский сунул Бергеру увесистый сверток.

— Из склада с оружием, — шепнул он. — Спрячь его в своем углу. У меня есть еще один.

Мы спрячем его в дыре под койкой 509-го. Кто там теперь спит?

— Агасфер, Карел и Лебенталь.

— Ладно... — Левинский все еще сопел от возбуждения. — Сработали они быстро. Сразу бросились туда, как только взорвалась бомба. Стену оружейного склада пробило, а эсэсовцев не было. Когда они вернулись, наших уже и след простыл. Они стащили еще кое-что. Но это мы спрячем в тифозном бараке. Равномерное распределение риска, понимаешь? Вернеровский принцип.

— А эсэсовцам не бросится в глаза, что чего-то не достает?

— Может быть. Поэтому мы и решили ничего не оставлять в рабочем лагере. Мы взяли не так уж много, а кроме того — там сейчас сам черт ногу сломит. Может, они и не заметят ничего. Мы даже попробовали поджечь арсенал.

— Вы недурно поработали... — сказал Бергер.

Левинский кивнул.

— Счастливый день. Пошли, надо это незаметно спрятать. Здесь никто ничего не подозревает... Уже совсем светло. Мы не могли взять больше — эсэсовцы быстро вернулись. Они думали, что ограждение накрылось. Стреляли по всем, кто им попадался на дороге. Боялись побега. Сейчас уже успокоились. Увидели, что колючая проволока в порядке. Наше счастье, что рабочие команды сегодня задержали! А иначе — «опасность побега ввиду сильного тумана». Могли бы спокойно угробить наших лучших людей. Сейчас, наверное, будет поверка. Пошли, покажешь, куда это засунуть.

Через час вышло солнце. Небо было ласковым и синим, последние клочья тумана рассеялись. Влажные и помолодевшие, словно только что из купели, поблескивали первым зеленоватым пушком поля, расчерченные кое-где вереницами деревьев.

После обеда в 22-м блоке уже знали: двадцать семь заключенных застрелены во время и после бомбежки, двенадцать погибли в 1-м бараке, и двадцать восемь получили ранения от осколков; погибли одиннадцать эсэсовцев, в том числе и Биркхойер из гестапо; погиб Хандке. И еще два человека из барака Левинского.

Пришел 509-й.

— А как с бумагой, которую ты дал Хандке? О швейцарских франках?.. — спросил Бергер. — Что, если ее найдут среди его вещей? И она попадет в гестапо? Об этом мы не подумали!

— Подумали, — спокойно произнес 509-й и достал из кармана лист бумаги. — Левинский все знал. Он-то и подумал об этом. Он взял вещи Хандке. Один надежный капо стащил их для него, сразу же, как только прикончили Хандке.

— Хорошо. Разорви ее! Левинский сегодня — просто молодчина! — Бергер с облегчением вздохнул. — Наконец-то хоть немного покоя. Я надеюсь.

— Может быть... Все зависит от того, кто будет новым старостой блока.

Над лагерем вдруг появилась стая ласточек. Они долго кружили на большой высоте, потом медленно по спирали, стали снижаться и вскоре уже носились с пронзительными криками над польскими бараками. Их синие, блестящие крылья почти касались крыш.

— В первый раз я вижу здесь птиц! — сказал Агасфер.

— Они ищут место для гнезд, — рассудил Бухер.

— Здесь?.. — Лебенталь презрительно заблеял.

— Колоколен у них теперь нет.

Дым над городом немного рассеялся.

— И в самом деле, — заметил Зульцбахер. — Последняя башня рухнула.

— Здесь! — Лебенталь покачал головой, глядя на ласточек, которые с воплями кружили над бараками. — И для этого они прилетели из Америки! Сюда!

— В городе им не найти места, пока там горит.

Они посмотрели вниз.

— На что он стал похож!.. — прошептал Розен.

— Много их сейчас, наверное, горит, по всей стране... — вставил Агасфер.

— Да. Побольше и поважнее, чем этот. На что же тогда похожи они?..

— Бедная Германия... — вздохнул кто-то поблизости.

— Что?

— Бедная Германия.

— Люди добрые!.. — воскликнул Лебенталь. — Вы слышали?

День выдался теплый. Вечером они узнали, что крематорий тоже пострадал во время бомбежки: обрушилась часть окружающей его стены, и покосилась виселица. Но из трубы по-прежнему валил дым, словно ничего не произошло.

Небо затянуло облаками. Становилось душно. Малый лагерь оставили без ужина. В бараках было тихо. Те, кто мог двигаться, выбрались на воздух. Словно надеясь получить необходимые калории из этого тяжелого воздуха. Густые бледные тучи казались мешками, из которых вот-вот посыплется еда. Вернулся из разведки усталый Лебенталь. Он сообщил, что в рабочем лагере ужин получили всего четыре барака: якобы пострадал отдел продовольственного снабжения. Проверок в бараках не было. Видимо, эсэсовцы еще не заметили пропажи оружия.

Становилось все теплее. Город затаился в каком-то странном, шафранном свете. Солнце давно закатилось, но облака все еще светились изнутри бледной желтизной, которая словно и не собиралась гаснуть.

— Гроза будет, — сказал Бергер. Он лежал рядом с 509-м.

— Дай Бог, — отозвался 509-й.

Бергер посмотрел на него. Глаза его наполнились влагой. Он медленно повернул голову в сторону, и из рта у него вдруг хлынула кровь. Это произошло так неожиданно, так просто и так естественно, что до 509-го не сразу дошел смысл того, что он видел.

— Что такое? — выдохнул он, опомнившись. — Бергер! Бергер!

Бергер скорчился и полежал несколько секунд молча.

— Ничего, — ответил он, наконец.

— Это кровоизлияние?

— Нет.

— А что же тогда?

— Желудок.

— Желудок?

Бергер кивнул. Он выплюнул изо рта остатки крови.

— Ничего страшного, — прошептал он.

— Ничего себе — «ничего страшного»!.. Что мы должны делать? Скажи, мне что нам делать!

— Ничего. Мне надо просто полежать. Спокойно полежать.

— Может, нам отнести тебя в барак? Освободим для тебя кусок нар! Выбросим пару человек...

— Дай мне спокойно полежать.

509-го вдруг охватило отчаяние. Он столько раз видел, как умирают люди, и столько раз сам был на пороге смерти, что смерть одного человека, казалось, уже вряд ли сможет подействовать на него так, как когда-то прежде. Но на этот раз он почувствовал себя так, будто он никогда ничего такого не видел. Ему казалось, будто он теряет единственного и последнего друга своей жизни. Надежда оставила его сразу же. Бергер улыбнулся ему, повернув к нему свое покрытое потом лицо, но он уже мысленно видел его неподвижно лежащим рядом с другими трупами на краю цементной дорожки.

— У кого-нибудь еще наверняка найдется какая-нибудь еда! Или надо достать лекарство! Лебенталь!..

— Никакой еды, — прошептал Бергер. Он поднял руку и открыл глаза. — Поверь мне. Я скажу тебе, что мне понадобится. И когда. Сейчас пока ничего. Поверь мне. Это просто желудок. — Он опять закрыл глаза.

После сигнала «отбой» из барака вышел Левинский. Он присел рядом с 509-м.

— Почему ты, собственно, не в партии? — спросил он его.

509-й посмотрел на Бергера. Бергер дышал ровно.

— А почему это пришло тебе в голову именно сейчас?

— Просто мне жаль... Ты мог бы сейчас быть вместе с нами.

509-й знал, что имеет в виду Левинский. Коммунисты составляли в руководстве подпольного движения лагеря самую жизнеспособную, сплоченную и энергичную группу. Они, хотя и работали вместе с другими, никому не доверяли полностью и преследовали свои собственные цели. Они помогали в первую очередь своим людям.

— Ты мог бы пригодиться нам, — сказал Левинский. — Кем ты был раньше? Я имею в виду

профессию.

— Редактором, — ответил 509-й и сам удивился, как странно прозвучало это слово.

— Редакторы нам очень даже нужны.

509-й промолчал. Он знал, что с коммунистом спорить так же бесполезно, как и с нацистом.

— Ты случайно не знаешь, кто у нас будет старостой блока? — спросил он через некоторое время.

— Знаю. Скорее всего кто-нибудь из наших. Во всяком случае, кто-нибудь из политических. У нас тоже новый староста. Наш человек.

— Значит, ты вернешься обратно?

— Через день или два. Но это не имеет отношение к старосте блока.

— А еще ты что-нибудь слышал?

Левинский испытующе посмотрел на 509-го. Потом придвинулся к нему поближе.

— Мы ожидаем передачи лагеря недели через две.

— Что?..

— Да. Через две недели.

— Ты хочешь сказать — освобождения?

— Освобождения и передачи лагеря в наши руки. Мы должны взять на себя руководство лагерем, когда уйдут эсэсовцы.

— Кто это — мы?

Левинский помедлил немного.

— Будущее руководство лагеря, — сказал он затем. — Оно должно быть. И оно уже формируется. Иначе начнется хаос. Мы должны быть готовы сразу же взяться за дело. Нельзя допустить, чтобы снабжение лагеря продовольствием было прервано — это самое главное. Продовольствие, снабжение и управление! Тысячи человек не могут так просто разойтись в разные стороны.

— Верно. Здесь многие вообще не могут ходить.

— Об этом тоже предстоит позаботиться. Врачи, медикаменты, транспорт, подвоз продуктов, реквизиция всего необходимого по деревням...

— И как вы все это собираетесь делать?

— Нам помогут, это ясно. Но мы должны сами все организовать. Англичане и американцы, которые нас освободят, — это боевые части. Они не готовы к тому, чтобы сразу же принять на себя руководство концентрационным лагерем. Это мы должны сделать сами. С их помощью, конечно.

На форе облачного неба 509-му был хорошо виден жесткий контур его круглой, массивной головы.

— Странно... — произнес он, глядя на этот контур. — Мы так уверенно рассчитываем на помощь врагов! А?..

— Я немного поспал, — сказал Бергер. — Теперь все в порядке. Это просто желудок и больше ничего.

— Ты болен, и никакой это не желудок, — возразил 509-й. — Я что-то не слышал, чтобы из-за желудка харкали кровью.

Бергер не слушал его. Он смотрел куда-то в ночь широко раскрытыми глазами.

— Я видел странный сон. Все было так отчетливо и правдоподобно. Я оперировал. Яркий свет...

— Левинский считает, что через две недели мы будем свободны, — произнес 509-й

осторожно. — Они теперь регулярно слушают новости.

Бергер не шевелился. Казалось, будто он ничего не слышал.

— Я оперировал... — продолжал он. — Я уже приготовился сделать разрез. Резекция желудка. Я приготовился и вдруг почувствовал, что ничего не помню. Что я все забыл. Меня бросило в пот. Пациент лежит передо мной, без сознания, готовый к операции — а я ничего не помню. Я забыл эту операцию. Это было ужасно.

— Не думай об этом. Это был просто дурной сон. Чего мне здесь только не снилось! И чего нам только не будет сниться, когда мы выберемся отсюда!

509-й вдруг отчетливо ощутил запах яичницы глазуньи с салом. Он постарался тут же забыть об этом.

— Да... Не так уж все будет весело, — сказал он. — Это точно.

— Десять лет... — произнес Бергер, глядя в небо. — Десять лет как не бывало. Сгинули! Пропали! Десять лет не работал. До сих пор я не думал об этом. Я уже, наверное, почти все забыл. Я и сейчас не знаю толком, как делается эта операция. Не могу вспомнить. Первое время в лагере я по ночам мысленно оперировал. Чтобы не разучиться. Потом бросил. Может быть, я уже ничего не могу.

— Это просто так кажется. На самом деле это не забывается. Как языки или езда на велосипеде.

— Можно разучиться. Руки. Точность. Можно потерять уверенность. Или просто отстать — за десять лет столько воды утекло... Столько открытий. А я ничего об этом не знаю. Я только старел и терял силы.

— Странно, — проговорил 509-й. — Час назад я тоже случайно подумал о своей профессии. Левинский меня спросил. Он считает, что мы через две недели выйдем отсюда. Ты можешь себе такое представить?

Бергер задумчиво покачал головой.

— Куда девалось время? Оно было бесконечным. А теперь ты говоришь — две недели. И тут вдруг спрашиваешь себя: куда же ушли эти десять лет?

В долине пламенел догорающий город. Было по-прежнему душно, хотя уже наступила ночь. От земли поднимались испарения. Небо передергивали молнии. На горизонте зловеще сияли еще два зарева — далекие, разбомбленные города.

— Мне кажется, мы должны пока довольствоваться тем, что вообще способны думать о том, о чем мы сейчас думаем. А, Эфраим?

— Да. Ты прав.

— Мы ведь уже снова мыслим, как люди. И даже о том, что будет после лагеря. Когда мы еще могли это?.. Все остальное придет само.

Бергер кивнул.

— Даже если мне потом всю жизнь придется где-нибудь штопать чулки и носки — если я вылезу отсюда! Все равно!..

Небо разорвало на две части молнией, и лишь спустя несколько секунд откуда-то издалека послышался гром.

— Тебе лучше вернуться в барак, — сказал 509-й. — Ты можешь осторожно встать или ползти?

Гроза разразилась в одиннадцать часов. Молнии озарили небо, и на мгновение из мрака словно выпрыгнул бледный лунный ландшафт с кратерами и руинами разрушенного города. Бергер спал. 509-й сидел на пороге 22-го барака. Теперь, когда Хандке был мертв, он снова мог жить в своем блоке. Под курткой у него был спрятан наган с патронами. Он боялся, что если будет сильный дождь, дыру под нарами зальет и оружие выйдет из строя.

Но дождя в эту ночь почти не было. Гроза шла стороной, потом словно разделилась на части, и долгое время казалось, будто несколько великанов мечут друг в друга от горизонта к горизонту длинные сверкающие ножи. «Две недели...» — думал 509-й, глядя, как вспыхивает и гаснет пейзаж по ту сторону колючей проволоки. Ему казалось, будто он чем-то похож на тот, другой мир, который в последние дни незаметно подступал все ближе и ближе, как бы вырастая из безымянной, ничейной земли похороненных надежд, и который теперь приник к колючей проволоке, затаился и ждал, пропахший дождями и сыростью полей, разрушением и пожарами, но вместе с тем цветением и ростом, деревьями и травой. Он чувствовал, как молнии проходят через него, прежде чем осветить этот мир, и как одновременно с ними слабо проступает во тьме образ его потерянного прошлого, бледный, далекий, чужой и недостижимый. Его знобило в эту теплую ночь. Такой уверенности, какую он хотел выказать Бергеру, у него не было. Он снова мог вспоминать прошлое, и ему казалось, что это много, и он был взволнован этим, но было ли этого достаточно, после стольких лет, проведенных здесь в лагере, он не знал. Слишком много смерти стояло между «раньше» и «теперь». Он знал только одно: жить — значит, выбраться из лагеря, а все, что должно наступить потом, казалось огромным, расплывчатым, зыбким облаком, сквозь которое он ничего не мог разобрать. Левинский мог. Но он мыслил, как член партии. Партия вновь примет его в свое лоно, он вновь станет ее частью, и этого ему было достаточно. «Что же это могло бы быть? — думал 509-й. — Что же это такое, что еще зовет куда-то, если не считать примитивной жажды жизни? Мечь? Но этого было бы слишком мало. Мечь — это лишь часть той черной полосы жизни, которая должна остаться позади, а что дальше?» На лицо упало несколько теплых капель — словно слезы, взявшиеся ниоткуда. У кого они еще остались, слезы? Они давно уже перегорели, пересохли, как колодец в степи. И лишь немая боль — мучительный распад чего-то, что давно уже должно было обратиться в ничто, в прах, — изредка напоминала о том, что еще оставалось нечто, что можно было потерять. Термометр, давно уже упавший до точки замерзания чувств, когда о том, что мороз стал сильнее, узнаешь, только увидев почти безболезненно отвалившийся от мороженый палец.

Глухие раскаты грома почти не смолкали, молнии вспыхивали все чаще, и в этой пляске света, поглотившего все тени, был отчетливо виден холм напротив — далекий домик с садом. «Бухер... — подумал 509-й. — Бухер еще не все потерял. Он молод, у него есть Рут. Которая выйдет отсюда вместе с ним. Но надолго ли это все? Хотя — кто сегодня думает об этом? Кому придет в голову требовать гарантий? Да и кто их может дать?!»

509-й откинулся назад. «Что за вздор лезет мне в голову? — думал он. — Это Бергер заразил меня. Мы просто устали». Он дышал медленно, и сквозь вонь барака ему чудился запах весны и цветения. Весна каждый раз возвращалась, каждый год, с ласточками и цветами, ей не было никакого дела ни до войны, ни до смерти, ни до печали, ни до чьих-то надежд. Она возвращалась. Она и сейчас была здесь. И этого достаточно.

Он притворил дверь и пополз в свой угол. Молнии сверкали всю ночь; в разбитые окна падал призрачный свет, и барак казался кораблем, бесшумно скользящим по волнам подземной реки, кораблем с мертвецами, которые еще дышали по воле какой-то темной магии, а то и вовсе не желали признавать себя погибшими.

Глава девятнадцатая

— Бруно, — спокойно произнесла Сельма Нойбауер. — Не будь клоуном. Подумай, пока не начали думать другие. Это наш последний шанс. Продай все, что только можно продать. Земельные участки, сад, этот дом — все! В убыток или не в убыток — неважно!

— А деньги? Что делать с деньгами? — Нойбауер досадливо покачал головой. — Если бы все было так, как ты думаешь, чего бы они тогда стоили, твои деньги? Ты забыла инфляцию после первой мировой? Миллиард не стоил и одной марки! Ценности — вот что всегда было единственной гарантией!

— Да, ценности! Но только те, которые можно положить в карман.

Сельма Нойбауер поднялась и подошла к шкафу. Открыв его, она отложила в сторону несколько стопок белья, достала шкатулку и подняла крышку. В шкатулку лежали золотые партсигары, пудреницы, пара сережек с бриллиантами, две рубиновые броши и несколько колец.

— Вот, — сказала она. — Я купила все это в последние годы тайком от тебя. На сэкономленные и на свои собственные деньги. Для этого я продала свои акции. Они сегодня никому не нужны. От фабрик остались одни развалины. А вот это никогда не потеряет своей ценности. Это можно взять с собой. Вот что нам сейчас нужно и больше ничего!

— «Взять с собой! Взять с собой!» Ты рассуждаешь так, как будто мы какие-то преступники и должны бежать!

Сельма протерла один из портсигаров рукавом платья и принялась складывать вещи обратно в шкатулку.

— С нами может произойти то же, что произошло с другими, когда вы взяли власть, так или нет?

Нойбауер вскочил с места.

— Тебя послушать... — произнес он зло и в то же время беспомощно. — Так остается только повеситься. У других жены понимают своих мужей, служат им утешением, когда они возвращаются со службы домой, отвлекают их от мрачных мыслей, а ты! Целый день! Да еще и ночью! Даже ночью нет покоя! У тебя только одно на уме: продавать и ныть!

Сельма не слушала его. Она поставила шкатулку на место и снова прикрыла ее бельем.

— Бриллианты. Хорошие бриллианты чистой воды. Неоправленные. Просто отборные камни. Два, три карата, до шести или семи — какие только можно достать. Вот это было бы самое верное. Лучше, чем все твои Бланки и сады, и участки, и дома. Твой адвокат тебя надул. Я уверена: он сорвал двойной процент. Бриллианты можно спрятать. Их можно защитить в платье или пиджак. А можно даже проглотить. В отличие от участков.

Нойбауер не сводил с нее глаз.

— Как ты заговорила!.. Вчера ты еще умирала от страха перед бомбами, а сегодня уже рассуждаешь, как еврей, который за деньги горло перережет кому угодно.

Она смерила его презрительным взглядом, всего, от сапог и галифе до нагана и маленьких усиков над верхней губой.

— Евреи никому не перерезают горло. Евреи заботятся о своих семьях. Лучше, чем некоторые германские сверхчеловеки. Евреи знают, что нужно делать в смутные времена.

— Вот как? А что же они так оплошали? Да если бы они это знали, они бы не остались здесь и мы бы не загнали их в лагеря.

— Они не думали, что вы сделаете с ними то, что вы сделали. — Сельма смочила виски одеколоном. — И не забывай, что в 31-м году все выплаты в банках были прекращены. В связи с кризисом Дармштадтского и Национального банков. Поэтому многие и не могли уехать. И вы их

загнали в лагерь. Прекрасно. А теперь ты сам точно так же хочешь остаться. Чтобы они загнали в лагерь тебя.

Нойбауер испуганно оглянулся.

— Тихо! Черт побери!.. Где горничная? Если кто-нибудь услышит твои разговоры, — мы пропали! Народный суд^[15] не пощадит никого! Достаточно обыкновенного доноса.

— Горничную я отпустила в город. А почему ты думаешь, что с вами не сделают то же самое, что вы сделали с другими?

— Кто? Евреи? — Нойбауер рассмеялся. Он вспомнил Бланка и представил себе, как тот пытается Вебера. — Да они будут рады, что их наконец оставили в покое.

— Не евреи. Американцы и англичане.

Нойбауер опять рассмеялся..

— Американцы и англичане? Этим тем более нечего бояться! Их это вообще не волнует! До таких внутривластных вопросов, как наш лагерь, им нет никакого дела. Их интересует только внешнеполитическая, чисто военная сторона дела. Понимаешь ты это или нет?

— Нет.

— Это демократы. Они обойдутся с нами корректно. Если победят! Что еще бабушка надвое сказала. Корректно! По-военному. Мы для них будем просто противником, побежденным, так сказать, в честной борьбе. И больше им от нас ничего не надо! Это их мировоззрение! Русские — это другое дело. Но они на востоке.

— Ну оставайся, оставайся. Увидишь потом.

— Да, я останусь! И увижу! Может, ты скажешь мне, куда мы вообще могли бы отправиться, если бы решили уехать?

— Хотя бы в Швейцарию. Мы еще пару лет назад могли бы с бриллиантами...

— Опять «могли бы»! — Нойбауер ударил кулаком по столу. Стоявшая перед ним бутылка с пивом закачалась. — Могли бы! Могли бы! Как?! Перелететь через границу на украденном самолете? Ты болтаешь чепуху!

— Нет, не на украденном самолете. Мы могли бы разок-другой провести там отпуск. Захватив с собой деньги и драгоценности. Две, три, четыре поездки. И каждый раз все оставлять там. Я знаю людей, которые так и сделали...

Нойбауер подошел к двери, открыл ее и вновь закрыл. Потом вернулся обратно.

— Ты знаешь, что это такое? То, что ты сейчас говоришь? Это чистой воды измена! Тебя бы тут же расстреляли, если бы об этом узнали где следует.

Сельма смотрела ему прямо в лицо. Глаза ее блестели.

— Так в чем же дело? У тебя есть прекрасная возможность лишний раз показать, какой ты герой. Заодно избавился бы от опасной жены. Ты, наверное, давно мечтаешь об этом...

Нойбауер не выдержал ее взгляда. Отвернувшись, он прошелся по комнате взад и вперед. Его беспокоило, не прослышала ли Сельма о вдове, которая время от времени приходила к нему.

— Сельма... — сказал он наконец изменившимся голосом. — Ну к чему это все?.. Мы должны держаться друг за друга! Давай не будем делать глупостей. Нам нужно выстоять — ничего другого не остается. Я не могу так просто взять и убежать. Я солдат и должен выполнять приказы. Да и куда бежать? К русским? Нельзя. Прятаться в неоккупированной части Германии? Гестапо меня быстро отыщет, а что такое гестапо, тебе не надо объяснять! К американцам или англичанам? Тоже не выход. Уж лучше дожидаться их здесь, иначе это будет выглядеть так, как будто я чего-то боюсь. Я все взвесил, поверь мне. Нам нужно выстоять — ничего другого не остается.

— Да.

Нойбауер удивленно вскинул глаза.

— Правда? Ты наконец поняла? Я тебе доказал?

— Да.

Он недоверчиво смотрел на жену. Ему трудно было поверить в такую легкую победу. Но она вдруг сдалась. Даже щеки ее словно ввалились. «Доказал... — думала она. — Доказательства! Как они верят в то, что сами себе доказали! Как будто жизнь состоит из доказательств. С ними уже ничего не сделать. Глиняные божки! Верят только себе самим.» Она долго рассматривала своего мужа. Выражение глаз ее представляло собой странную смесь жалости, презрения и едва уловимой нежности. Нойбауер почувствовал себя неуютно под этим взглядом.

— Сельма... — начал было он, но она перебила его.

— Еще только одна просьба — пожалуйста, Бруно!..

— Что? — спросил он, подозрительно глядя на нее.

— Перепиши дом и земельные участки на Фрейю. Сходи сразу же к адвокату. Только это, больше я тебя ни о чем не прошу...

— Зачем?

— Не навсегда. Пока. Если все будет хорошо, можно будет опять записать их на твое имя — ты можешь доверять своей дочери.

— Да... но... но какое это произведет впечатление! Адвокат...

— Плевать на впечатление! Фрейя была еще ребенком, когда вы взяли власть. Ее не в чем упрекнуть.

— Что это значит? По-твоему, меня можно в чем-то упрекнуть?

Сельма не отвечала. Она опять посмотрела на него своим странным взглядом.

— Мы солдаты, — заявил Нойбауер. — Мы выполняем приказы. А приказ есть приказ, это понятно каждому. — Он расправил плечи. — Фюрер приказывает — мы подчиняемся. Фюрер берет на себя всю ответственность за свои приказы. Он не раз заявлял об этом. Этого достаточно для каждого патриота. Или нет?

— Да, — устало произнесла Сельма. — И все же сходи к адвокату. Пусть он перепишет наше имущество на Фрейю.

— Ну, если ты так хочешь... Я могу поговорить с ним. — Нойбауер и не собирался этого делать. Его жена лишилась рассудка от страха. Он ласково похлопал ее по спине. — Положись на меня. До сих пор я все же неплохо справлялся со всеми неприятностями.

Он важно протопал к двери и вышел из комнаты. Сельма Нойбауер подошла к окну. Она видела, как он садится в машину. «Приказы! Приказы!» — думала она. — Для них это оправдание всех грехов. Пока все идет гладко, это еще полбеды. Разве я сама не участвовала во всем этом?» Она посмотрела на свое обручальное кольцо. Двадцать четыре года она носила это кольцо! Два раза его приходилось растягивать. Тогда, когда оно ей досталось, она была совсем другой. Один еврей хотел на ней жениться. Маленький, толковый человечек, который немного шепелявил и никогда не кричал. Йозеф Борнфельдер. В 1928 году он уехал в Америку. Умница! Вовремя уехал. Потом она как-то узнала от одной знакомой, которой он писал, что дела его идут прекрасно. Она машинально вертела кольцо на пальце. «Америка... — подумала она. — Там не бывает инфляции. Они слишком богаты».

509-й прислушался. Ему был знаком этот голос. Он осторожно присел на корточки за кучей трупов и стал слушать.

Он знал, что Левинский хотел ночью привести кого-то из рабочего лагеря, чтобы спрятать его здесь. Но, верный старому принципу — связной должен знать только связного, — Левинский не сказал, кого именно.

Голос звучал тихо, но был отчетливо слышен.

— У нас на счету каждый человек. Понадобятся все, кто с нами. Когда рухнет национал-социализм, впервые окажется, что нет ни одной-единственной партии, готовой взять на себя политическое руководство. За двенадцать лет они или распались на множество группировок, или были полностью уничтожены. Все, кто уцелел, ушли в подполье. Мы не знаем, кто они и сколько их. Для создания новой организации понадобятся люди решительные. В надвигающемся хаосе проигранной войны существует лишь одна боеспособная партия — национал-социалисты. Я имею в виду не попутчиков — эти примыкают к любой партии, — я имею в виду ядро. Они организованно уйдут в подполье и будут ждать своего часа. С этим нам и предстоит бороться. А для этого нам нужны люди.

«Это Вернер, — подумал 509-й. — Это должен быть он. Но я же знаю, что его нет в живых». Лица он не мог разглядеть: ночь была безлунная и промозглая.

— Массы большей частью деморализованы, — продолжал говорящий. — Двенадцать лет террора, бойкота, доносов и страха сделали свое дело. К этому еще надо прибавить проигранную войну. С помощью скрытого террора и саботажа, из подполья, их можно еще не один год держать в страхе перед нацистами. Их нужно отвоевать обратно — обманутых и запуганных. Смешно, но это факт: оппозиция к нацизму лучше всего сохранилась именно в лагерях. Нас заперли здесь всех вместе. На свободе же наоборот — все группы разогнали. На свободе было тяжелее поддерживать связь, здесь — гораздо легче. На свободе каждый был вынужден думать в первую очередь о себе. Здесь же мы черпали силу друг в друге — результат, которого нацисты не предусмотрели. — Человек рассмеялся. Это был короткий, безрадостный смех.

— Если не считать тех, которые были убиты, — произнес Бергер, — и тех, что умерли.

— Если не считать их. Это верно. Но у нас еще есть люди. Каждый из них стоит целой сотни.

«Это должен быть Вернер», — подумал 509-й. Вглядевшись, он смог различить в темноте бесплотный череп аскета. «Уже опять анализирует, организует, ораторствует... Так и остался фанатиком и теоретиком своей партии».

— Лагеря должны стать ячейками возрождения, — продолжал тихий, ясный голос. — Для этого пока необходимо решить три наиболее важных задачи. Первая: пассивное или, в самом крайнем случае, активное сопротивление эсэсовцам, пока они еще в лагере. Вторая: предотвращение паники и всевозможных эксцессов во время захвата лагеря. Мы должны показать другим пример дисциплины и благоразумия, не поддаваться голосу мести — о возмездии позаботятся соответствующие судебные органы, позже...

Голос оборвался: 509-й встал и направился к ним. Это были Левинский, Гольдштейн, Бергер и незнакомец.

— Вернер... — произнес 509-й.

— Ты кто? — откликнулся тот, пристально всматриваясь во тьму. Затем встал и шагнул навстречу.

— Я думал, тебя давно уже нет в живых, — сказал 509-й.

Вернер заглянул ему прямо в лицо.

— Коллер, — подсказал ему 509-й.

— Коллер? Ты жив? А я думал, ты давно уже на том свете.

— Я и есть на том свете. Официально.

— Это 509-й, — пояснил Левинский.

— Так это ты 509-й! Это упрощает дело. Я тоже официально мертв.

Они смотрели друг на друга сквозь темень, словно не веря своим глазам. Эту ситуацию нельзя было назвать необычной. Люди в лагере нередко встречали друзей или знакомых, которых считали умершими. Но 509-й и Вернер знали друг друга еще до лагеря. Когда-то они

даже были друзьями. Потом их политические взгляды постепенно разлучили их.

— Ты теперь будешь здесь? — спросил 509-й.

— Да. Пару дней.

— Эсэсовцы прочесывают последние буквы алфавита, — сообщил Левинский. — Они замели Фогеля. Он сам наткнулся на одного типа, который его знал. На одного унтершарфюрера, ублюдка.

— Я вас не буду объедать, — заявил Вернер. — Я сам позабочусь о своем пропитании.

— Конечно, — ответил 509-й с едва уловимой иронией. — Другого я от тебя и не ожидал.

— Мюнцер завтра достанет хлеба. Пусть Лебенталь заберет. Он достанет больше, чем нужно мне одному. Вашей группе тоже немного достанется.

— Я знаю, — ответил 509-й. — Я знаю, Вернер, что ты ничего не берешь даром. Ты останешься в 22-м? Мы можем разместить тебя и в 20-м.

— Я могу остаться и в 22-м. Ты ведь теперь тоже можешь жить здесь. Хандке больше нет.

Никто из присутствующих не замечал, что между ними состоялось что-то вроде словесной дуэли. «Как дети... — усмехнулся про себя 509-й. — Вечность назад мы были политическими противниками — и до сих пор оба изо всех сил стараемся не остаться друг у друга в долгу. Я испытываю идиотское удовлетворение от того, что Вернер ищет защиты у нас, а он намекает мне, что если бы не его группа, меня бы угробил Хандке».

— Я слышал все, что ты тут только что объяснял, — произнес он вслух. — Все верно. Что мы должны делать?

Они все еще сидели на улице. Вернер, Левинский и Гольдштейн спали в бараке. У них было два часа. Потом Лебенталь разбудит их, и они уступят свои места другим. Ночь была душной. Но Бергер все-таки надел гусарскую куртку. 509-й настоял на этом.

— Кто этот новенький? — спросил Бухер. — Какой-нибудь бонза?

— Был. Пока не пришли нацисты. Правда, не такой уж большой. Так, средний. Провинциальный бонза. Но толковый. Коммунист. Фанатик без чувства юмора и личной жизни. Сейчас он здесь один из подпольных вождей.

— А откуда ты его знаешь?

509-й подумал немного.

— До 33-го года я был редактором одной газеты. Мы много спорили. Я часто критиковал коммунистов. Коммунистов и нацистов. Мы были как против тех, так и против других.

— За кого же вы были?

— Мы были за то, что сейчас может показаться помпезным и смешным. За человечность, за терпимость и за право каждого иметь свое собственное мнение. Странно, да?

— Нет, — ответил ему Агасфер и закашлялся. — А что еще надо?

— Месть... — сказал вдруг Майерхоф. — Еще нужна месть! За все вот это! Месть за каждого мертвого! Месть за все, что они сделали.

Все изумленно уставились на него. Лицо его исказилось. При слове «месть» он каждый раз с силой ударял по земле сжатыми кулаками.

— Что с тобой? — спросил Зульцбахер.

— А что с вами? — откликнулся Майерхоф.

— Он спятил, — заявил Лебенталь. — Он выздоровел и от этого рехнулся. Шесть лет был несчастным, запуганным доходягой, тише воды, ниже травы, потом чудом спасся от трубы — а теперь он Самсон Майерхоф.

— Я не хочу никакой мести... — прошептал Розен. — Я хочу только одного — вылезти отсюда!

— Что? А СС пусть, по-твоему, спокойно уходит? А кто заплатит за это?

— Мне наплевать! Я только хочу вылезти отсюда! — Судорожно сцепив руки, Розен шептал так страстно, словно произносил заклинания. — Я хочу только одного — вылезти отсюда! Выкарабкаться!

Майерхоф с минуту смотрел на него, не мигая.

— Знаешь кто ты такой? Ты...

— Уймись, Майерхоф! — перебил его Бергер и выпрямился. — Мы не хотим знать, кто мы такие. Любой из нас уже давно не тот, кем был когда-то и кем хотел бы быть. Кто мы сейчас на самом деле, — покажет время. Кто это сегодня может сказать? Пока нам остается только ждать и надеяться. Да еще молиться.

Он запахнул поплотнее полы своей гусарской куртки и вновь улегся на землю.

— Месть ... — задумчиво произнес Агасфер спустя некоторое время. — Тут понадобилось бы столько мести, что... А одна мечь влечет за собой другую — какой смысл?

Горизонт вдруг на мгновение вспыхнул и погас.

— Что это? — спросил Бухер.

В ответ послышались далекие глухие раскаты.

— Это не бомбежка, — решил Зульцбахер. — Опять навверное, гроза. Погода-то подходящая — тепло.

— Если пойдет дождь, разбудим этих из рабочего лагеря, — предложил Лебенталь. — Пусть они спят здесь. Они крепче нас. — Он повернулся к 509-му. — Твой друг, этот бонза, тоже.

На горизонте опять сверкнуло.

— А они случайно ничего не слышали об эвакуации? — спросил Зульцбахер.

— Только слухи. В последний раз говорили, будто отбирают тысячу человек.

— О Боже! — простонал Розен. Лицо его смутно белело в темноте. — Конечно, они погонят нас. Как самых слабых. Чтобы поскорее от нас избавиться.

Он посмотрел на 509-го. Все вспомнили последнюю партию заключенных, которую пригнали в лагерь.

— Это же только слух. Сейчас что ни день, то новая сплетня. Давайте будем жить спокойно, пока не поступит приказ. А там посмотрим — Левинский с Вернером сделают что-нибудь для нас через своих людей в канцелярии. Или мы сами здесь что-нибудь придумаем.

Розен поежился.

— Как они тогда тащили их за ноги из-под нар!..

Лебенталь посмотрел на него с презрением.

— Ты что, никогда не видел в своей жизни ничего пострашнее, чем это?

— Видел...

— Я однажды работал на большой бойне, — вспомнил Агасфер. — В Чикаго. Я отвечал за кошерный убой. Иногда животные чуяли свою смерть. Догадывались по запаху крови. И неслись прочь, как тогда те трое. Куда глаза глядят. Забивались в какой-нибудь угол. И их точно так же тащили за ноги...

— Ты был в Чикаго? — переспросил Лебенталь.

— Да...

— В Америке? И вернулся обратно?

— Это было двадцать пять лет назад.

— Ты вернулся?.. — Лебенталь не сводил с Агасфера глаз. — Нет, вы слышали такое?

— Меня потянуло на родину. В Польшу.

— Знаешь что... — Лебенталь не договорил. Для него это было слишком.

Глава двадцатая

К утру небо немного прояснилось. Лениво забрезжил серый, мгlistый день. Молнии прекратились, но где-то далеко, за лесом, все еще гроыхало, глухо и сердито.

— Странная гроза, — заметил Бухер. — Обычно, когда гроза кончается, грома не слышно, а зарницы еще видно. А тут наоборот.

— Может, она возвращается, — откликнулся Розен.

— С какой стати?

— У нас дома грозы иногда целыми днями среди гор бродят.

— Здесь нет горных котловин. А горы — только на горизонте, да и те невысокие.

— Слушай, у тебя что, нет других забот? — вмешался Лебенталь.

— Лео, — спокойно ответил Бухер. — Ты лучше думай о том, как бы нам что-нибудь на зуб положить — хоть старый кожаный ремень, что ли!

— А еще какие будут поручения? — спросил Лебенталь, выдержав паузу удивления.

— Никаких.

— Чудесно. Тогда думай, что болтаешь! И добывай себе жратву сам, молокосос! Это же надо — такое нахальство!

Лебенталь попытался презрительно сплюнуть, но во рту у него пересохло, и вместо слюны из рта вылетела его вставная челюсть. Он успел поймать ее налету и вставил обратно.

— Вот она ваша благодарность за то, что я каждый день рискую ради вас своей шкурой, — сердито проворчал он. — Одни упреки и приказания! Скоро уже, наверное, и Карел начнет мной командовать!

К ним подошел 509-й.

— Что у вас тут такое?

— Спроси вот этого, — показал Лебенталь на Бухера. — Отдает приказы. Я бы не удивился, если бы он сказал, что хочет быть старостой блока.

509-й взглянул на Бухера. «Он изменился. — подумал он. — Я и не заметил, как он изменился».

— Ну так что у вас случилось? — спросил он еще раз.

— Да ничего. Мы просто говорили о грозе.

— А какое вам дело до грозы?

— Никакого. Мы просто удивились, что все еще гром греми. А молний давно нет. И туч тоже.

— Да-да, вот это проблема: гром гремит, а молний нет!.. Гойим нахес! — проскрипел Лебенталь со своего места. — Сумасшедший!

509-й посмотрел на небо. Оно было серым и как будто безоблачным. Потом он вдруг прислушался.

— Гремит и в самом де... — он замер на полуслове и весь обратился в слух.

— Еще один! — фыркнул Лебенталь — Сегодня все сумасшедшие — договорились, что ли?

— Тихо! — резко прошипел 509-й.

— И ты туда же...

— Тихо! Черт побери! Лео, помолчи!

Лебенталь умолк. Заметив, что тут что-то не так, он стал наблюдать за 509-м, который напряженно вслушивался в далекое гроыхание. Остальные тоже замолчали и прислушались.

— Да ведь это же... — произнес наконец 509-й медленно и так тихо, словно боялся спугнуть то, о чем думал. — Это не гроза. Это... — Он опять прислушался.

— Что? — Бухер подошел к нему вплотную. Они переглянулись и стали слушать дальше. Гроыхание то становилось чуть громче, то куда-то проваливалось.

— Это не гром, — заявил 509-й. — Это... — Он помедлил еще немного, затем огляделся вокруг и сказал, все так же тихо:

— Это артиллерия.

— Что?

— Артиллерийская стрельба. Это не гром.

Все молча уставились друг на друга.

— Вы чего? — спросил появившийся Гольдштейн.

Никто ему не ответил.

— Вы что, языки отморозили?

Бухер повернулся к нему.

— 509-й говорит, что слышит артиллерийскую стрельбу. Значит, фронт уже недалеко.

— Что? — Гольдштейн подошел ближе. — В самом деле? Или вы выдумываете?

— Кому охота шутить такими вещами?

— Я имею в виду: может, вам просто показалось?

— Нет, — ответил 509-й.

— Ты что-нибудь понимаешь в артиллерийской стрельбе?

— Да.

— Боже мой... — Лицо Розена исказилось. Он вдруг завсхлипывал.

509-й продолжал вслушиваться.

— Если ветер переменится, будет слышно еще лучше.

— Как ты думаешь, где они сейчас уже могут быть?

— Не знаю. Может, в пятидесяти, а может, в шестидесяти километрах. Не дальше.

— Пятьдесят километров... Это же совсем недалеко.

— Да. Это недалеко.

— У них же, наверное, есть танки. Для них это не расстояние. Если они прорвутся — как ты думаешь, сколько им может понадобиться дней?.. Может, всего один день?.. — Бухер испуганно смолк.

— Один день? — откликнулся эхом Лебенталь. — Что ты там говоришь? Один день?

— Если прорвутся. Вчера мы еще ничего не слышали. А сегодня уже... Завтра, может, будет еще слышнее. А еще через день — или через два...

— Молчи! Не говори таких вещей! Не своди людей с ума! — закричал вдруг Лебенталь.

— Это вполне возможно, Лео, — сказал 509-й.

— Нет! — Лебенталь закрыл лицо руками.

— Как ты думаешь, 509-й? — Бухер повернул к нему мертвенно-бледное, дрожащее от волнения лицо. — Послезавтра, а? Или через несколько дней?

— Дней! — повторил Лебенталь и бессильно опустил руки. — Да разве такое возможно, чтобы всего лишь — дней? Годы! Вечность! А вы вдруг говорите — дней! — Он подошел ближе. — Не врите! — прошептал он вдруг. — Я прошу вас, не врите!

— Кто же будет врать, когда речь идет о таких вещах!

509-й обернулся. Прямо за спиной у него стоял Гольдштейн. Он улыбался.

— Я тоже слышу, — проговорил он. Глаза его становились все шире и темней. Он улыбался, шевелил руками, переступал с ноги на ногу, словно в танце. Потом улыбка сошла с его лица, и он упал на живот, вытянув вперед руки.

— Потерял сознание, — сказал Лебенталь. — Расстегните ему куртку. Я схожу за водой. В водостоке еще, наверное, осталось немного после дождя.

Бухер, Зульцбахер, Розен и 509-й перевернули Гольштейна на спину.

— Может, позвать Бергера? — предложил Бухер. — Он может встать?

— Подожди, — остановил его 509-й и наклонился к самому лицу Гольштейна. Потом он расстегнул ему куртку и пояс штанов. Когда он выпрямился, Бергер уже стоял рядом. Ему сообщил о случившемся Лебенталь.

— Зачем ты встал? — упрекнул его 509-й.

Бергер опустился на колени рядом с Гольдштейном и прильнул ухом к его груди.

— Он мертв, — сообщил он через несколько секунд. — Скорее всего инфаркт. Это могло случиться уже давно. Они напрочь угробили ему сердце.

— Он все-таки успел услышать, — сказал Бухер. — Это главное. Он слышал!

— Что слышал?

509-й положил руку на узкие плечи Бергера.

— Эфраим, — произнес он мягко, — мне кажется, мы дождались.

— Чего?

Бергер поднял голову. 509-й почувствовал, что ему тяжело говорить.

— Это они, — с трудом выговорил он и указал в сторону горизонта. Они идут, Эфраим. Мы уже можем их слышать. — Он посмотрел на колючую проволоку и пулеметные вышки, медленно плывущие куда-то в молочной белизне. — Они пришли, Эфраим...

К полудню ветер переменял направление, и глухие раскаты стали слышны еще отчетливее. Они, словно электрический ток, идущий издалека по невидимым проводам, держали под напряжением тысячи сердец. В бараках было беспокойно. На работы погнали всего несколько команд. Всюду видны были прижавшиеся к стеклам окон лица. В дверях бараков маячили изможденные фигуры заключенных, которые, вытянув шеи прислушивались.

— Ну как? Уже ближе?

— Да. Сейчас вроде бы стало лучше слышно.

В обувном отделе работали молча. Капо, с опаской поглядывая на эсэсовских надзирателей, следили за тем, чтобы никто не разговаривал. Заключенные ловко орудовали ножами, отделяли подметки, отрезали куски изношенной кожи, и для многих ладоней эти ножи казались сегодня не столько инструментом, сколько оружием. Время от времени чей-нибудь проворный взгляд, брошенный исподлобья, облетал помещение, скользнув по капо, эсэсовцам, наганам и ручному пулемету, которого вчера еще здесь не было. Несмотря на бдительность надзирателей, каждый работавший в отделе, мгновенно узнавал обо всем, что происходило в лагере. Большинство из них умело говорить, не шевеля губами, и почти каждый раз после того, как несколько человек, ссыпав обрезки кожи из полных корзин в одну пустую, уносили их во двор, по рядам пробегало очередное сообщение: все еще гремит! все еще слышно.

Рабочие команды сегодня ушли под усиленной охраной. Сделав огромный крюк, они вошли в город с запада и направились в старинную его часть, к рыночной площади. Охранники нервничали. Они кричали и командовали без всякого повода: колонны двигались в образцовом порядке. До сих пор им приходилось работать только в новых районах. Сегодня их в первый раз привели в старый город, и они увидели следы отбушевавшего там урагана. Они увидели сожженный квартал, состоявший из средневековых деревянных построек, — от них почти ничего не осталось. Они шли через это пожарище, и прохожие останавливались при виде колонны или отворачивались. Шагая по улицам города, заключенные постепенно утратили ощущение, что они пленники: они вдруг оказались победителями, одержавшими победу без участия в битве, а долгие годы неволи — годы покорности обреченных — превратились для них в годы борьбы. И борьба эта увенчалась успехом. Они выжили.

Рагуша лежала в развалинах. Им раздали лопаты и кирки, и они принялись за работу. Пахло гарью. Но они постоянно чувствовали другой запах — сладковато-гнилой, от которого судорожно сжимался желудок и который был знаком им лучше, чем какой-либо другой — запах разложения. В эти теплые апрельские дни в городе пахло погребенными под обломками трупами.

Через два часа они наткнулись на первого мертвеца. Вначале показались сапоги. Это был шарфюрер СС.

— Ну вот и дождались!.. — прошептал Мюнцер. — Наконец-то! Теперь мы откапываем их трупы! Их трупы, понимаешь?

Он заработал с удвоенной силой.

— Осторожно! — заорал подошедший к ним охранник. — Это же человек, ты что, не видишь?

Они отгребли в стороны еще немного щебня. Показались плечи, а затем и голова. Подняв труп на руки, они пронесли его несколько шагов и хотели опустить на землю.

— Дальше! — нервно крикнул им вслед эсэсовец. Он не сводил глаз с трупа. — Осторожно!

Они быстро откопали одного за другим еще троих и положили их рядом с первым. Они носили их, взяв за сапоги и за руки, торчавшие из форменных рукавов. При этом они испытывали неслыханное чувство — до сих пор им приходилось носить так лишь своих товарищей, избитых до полусмерти, окровавленных и грязных, из штрафных бункеров и из пыточных, мертвых или умирающих, а потом, в последние дни, — штатских; и вот впервые они так же, за руки и за ноги, таскали своих врагов. Они продолжали работать, и никому не надо было их подгонять. Пот заливал их лица, они работали, стараясь найти как можно больше трупов. С силой, которой и не подозревали в себе, они оттащивали в сторону бревна и тяжелые куски арматуры и, переполняемые ненавистью и злорадством, жадно искали мертвецов. словно старатели, одержимые жаждой золота.

Еще через час они обнаружили Дитца. У него была сломана шея. Голова его была так прижата к груди, как будто он сам себе пытался прокусить горло. Вначале они не решались прикоснуться к нему. Они просто полностью откопали тело. Обе руки тоже были переломаны. Казалось, будто у них вместо трех было четыре сустава.

— Бог есть, — прошептал заключенный, работавший с Мюнцером, глядя прямо перед собой. — Бог все-таки есть на свете! Есть!

— А ну заткнись! — крикнул эсэсовец. — Что ты там болтаешь? — Он пнул его в колено. — Что ты сказал? Я видел, ты что-то говорил!

Заключенный выпрямился — получив пинок, он упал прямо на Дитца.

— Я сказал, что для господина обергруппенфюрера нужны носилки, — ответил он с непроницаемым лицом. — Мы ведь не можем нести его просто так, как других.

— Это не твое собачье дело! Здесь пока еще командуем мы! Понял? Понял или нет?

— Так точно.

«Пока еще... — повторил про себя Левинский. — Пока еще командуем!.. Значит, они уже поняли...» Он опять взялся за лопату.

Эсэсовец все еще смотрел на Дитца. Он непроизвольно встал навтыжку. Это спасло заключенного, вновь уверовавшего в Бога. Эсэсовец наконец развернулся и отправился за старшим конвоя. Тот при виде Дитца тоже изобразил подобие стойки «смирно».

— Носилок еще нет, — пояснил охранник. Ответ заключенного, вновь уверовавшего в бога, все же произвел на него впечатление. Офицера СС такого высокого ранга и в самом деле нельзя было просто тащить за ноги и за руки.

Старший конвоя огляделся по сторонам. Чуть поодаль он заметил торчавшую из-под щебня

дверь.

— Откопайте вон ту дверь. Придется пока обойтись ею. — Он козырнул в сторону трупа.

— Положите господина обергруппенфюрера вон на ту дверь. И поосторожнее!

Мюнцер, Левинский и еще двое притащили дверь. Это была старинная, резной работы дверь шестнадцатого века, с изображением найденного в корзинке Моисея. Она треснула и слегка обгорела. Взяв труп за плечи и за ноги, они подняли его, чтобы положить на дверь. Голова неестественно откинулась назад, руки болтались из стороны в сторону.

— Осторожно, собаки! — рявкнул старший конвоя.

Дитц лежал на широкой двери. Из-под правой руки его улыбался из своей тростниковой корзинки младенец Моисей. Мюнцер заметил это. «Как же это они забыли снять дверь с ратуши, — подумал он. — Моисей... Еврейский младенец. Все это уже однажды было. Фараон, притеснения, Чермное море, спасение...»

— А ну живо! Восемь человек!

Двенадцать человек подскочили к двери с небывалой поспешностью. Старший конвоя оглянулся. Напротив была церковь Св. Марии. Он на миг заколебался, но тут же отбросил эту мысль: нести Дитца в католический храм было нельзя. Он не прочь был бы позвонить начальству, чтобы получить указания. Но связи не было, и он вынужден был делать то, что внушало ему ненависть и страх: принимать самостоятельные решения.

В этот момент Мюнцер что-то тихо сказал. Старший конвоя заметил это.

— Что? Что ты сказал? Ко мне, собака!

Похоже, что «собака» было его любимым выражением. Мюнцер сделал несколько шагов вперед и застыл по стойке «смирно».

— Я сказал, не будет ли это... неуважением к господину обергруппенфюреру, если его понесут заключенные...

Он смотрел на эсэсовца не мигая, преданным взглядом.

— Что? — закричал тот. — Что ты сказал, пес? Какое твое дело? А кто же еще должен нести? У нас...

Он вдруг умолк, сообразив, что слова Мюнцера не лишены смысла. Конечно же, Дитца следовало бы нести солдатам СС. Но кто даст гарантию, что эта банда тем временем не разбежится?

— Ну что встали? — закричал он. — Вперед! — И в ту же секунду к нему наконец пришло решение. — В госпиталь!

Зачем было нести мертвого Дитца в госпиталь, он и сам не мог бы объяснить. Но это казалось ему самым подходящим, нейтральным местом.

— Вперед! — И старший конвоя зашагал впереди группы. Это тоже казалось ему необходимым.

На другом конце площади вдруг появился автомобиль. Это был приземистый мерседес-компрессор. Машина медленно, осторожно ползла между обломками в поисках проезда. Ее шикарные формы казались почти непристойными среди этой застывшей стихии разрушения. Старший конвоя стоял навытяжку: мерседес-компрессор полагался только крупным бонзам. В машине на заднем сиденье сидели два высоких эсэсовских чина: еще один офицер сидел рядом с водителем. Несколько чемоданов было пристегнуто ремнями, еще несколько, поменьше, стояли в машине. На лицах офицеров застыло сердито-отсутствующее выражение. Шофер медленно объезжал груды щебня и обломков. Машина поравнялась с заключенными, которые несли Дитца. Офицеры даже не взглянули в их сторону.

— Давай-давай! Быстрее! — сказал водителю тот, что сидел впереди.

Заключенные остановились, пропуская автомобиль. Левинский держал дверь сзади, с правой стороны. Он посмотрел на сломанную шею Дитца, потом на резного младенца Моисея, спасенного и улыбающегося, на мерседес, на чемоданы, на бегущих офицеров и глубоко вздохнул.

Машина проползла мимо.

— Дерьмо! — произнес вдруг один из эсэсовских охранников, могучий мясник с плоским, как у боксера носом. — Дерьмо вонючее! Скоты... — Он имел в виду не заключенных.

Левинский прислушался. На несколько секунд мотор мерседеса заглушил далекие раскаты, затем они послышались вновь, глухие и неумолимые. Подземные барабаны смерти.

— Вперед! — восторженно растерянный начальник конвоя. — Живо! Живо!

Незаметно надвигался вечер. Лагерь был переполнен слухами. Они ползли по баракам, опережая друг друга, один противоречивее другого. То вдруг говорили, будто эсэсовцы ушли; тут же появлялся кто-то другой и утверждал, что они, наоборот, получили подкрепление. Потом прошел слух, будто поблизости от города видели американские танки. Еще через полчаса эти танки оказывались немецкими танками, приданными частям, которые собирались оборонять город.

Новый староста блока появился в три часа. Это был политический, а не уголовник.

— Не наш, — разочарованно бросил Вернер.

— Почему не наш? — удивился 509-й. — Это же один из нас. Политический, а не зеленый. Или — кого ты называешь «нашими»?

— Ты же знаешь. Зачем спрашиваешь?

Они сидели в бараке. Вернер собирался вернуться в рабочий лагерь, дождавшись свистков отбоя. 509-й прятался, решив сначала посмотреть, что из себя представляет новый староста блока. Рядом с ними хрипел в последнем приступе удушья скелет с грязными седыми волосами. Он умирал от воспаления легких.

— Наши — это члены подпольной организации лагеря, — назидательно произнес Вернер. — Ты это хотел услышать, а? — Он улыбнулся.

— Нет. Я не это хотел услышать. И ты не это хотел сказать.

— Пока что я говорю это.

— Да. Пока необходим этот вынужденный союз. А потом?

— Потом? — сказал Вернер, словно удивляясь такому невежеству. — Потом, безусловно, одна какая-нибудь партия должна взять власть в свои руки. Сплоченная партия, а не разношерстная толпа.

— То есть твоя партия. Коммунисты.

— Конечно. А кто же еще?

— Любая другая партия. Но только не тоталитарная.

Вернер коротко рассмеялся.

— Дурень! Никакой другой. Именно тоталитарная! Ты видишь эти знаки на стене? Все промежуточные партии стерты в порошок. А коммунисты сохранили свою силу. Война закончится. Россия оккупировала значительную часть Германии. Это без сомнения самая могучая сила в Европе. Время коалиций прошло. Эта — была последней. Союзники помогли коммунизму и ослабили себя, дурачье. Мир на земле теперь будет зависеть...

— Я знаю, — перебил его 509-й. — Эта песня мне знакома. Скажи лучше, что будет с теми, кто против вас, если вы выиграете и возьмете власть? Или с теми, кто не с вами?

Вернер немного помолчал.

— Тут есть много разных путей, — сказал он, наконец.

— Я знаю, каких. И ты тоже знаешь. Убийства, пытки, концентрационные лагеря — это ты тоже имеешь в виду?

— И это тоже. Но лишь по мере необходимости.

— Это уже прогресс. Ради этого стоило побывать здесь.

— Да, это прогресс, — не смутившись, заявил Вернер — Это прогресс в целях и в методах. Мы не бываем жестокими просто из жестокости — только по необходимости.

— Это я уже не раз слышал. Вебер говорил то же самое, когда загонял мне под ногти спички, а потом зажигал их. Это было необходимо для получения информации.

Дыхание умирающего перешло в прерывистый предсмертный хрип, который здесь хорошо знал каждый. Хрип иногда обрывался на несколько секунд, и тогда в наступившей тишине было слышно зловеще-утробное ворчание тяжелых орудий на горизонте. Это был странный диалог — хрип умирающего и далекие глухие раскаты в ответ. Вернер смотрел на 509-го. Он знал, что Вебер неделями пытал его, чтобы узнать от него имена и адреса. И его, Вернера, адрес — тоже. Но 509-й молчал. Вернера позже выдал, не выдержав пыток, товарищ по партии.

— Почему ты не с нами, Коллер? — спросил он. — Ты бы нам очень пригодился.

— Левинский меня тоже спрашивал, почему. Об этом мы не раз говорили еще двадцать лет назад.

Вернер улыбнулся. Это была добрая, обезоруживающая улыбка.

— Говорили. Не раз. И все же... Время индивидуализма прошло. теперь будет трудно остаться в стороне. А будущее принадлежит нам. Нам, а не продажному центру.

509-й посмотрел на его череп аскета.

— Сколько же, интересно, пройдет времени — когда все это кончится, — до того, как ты станешь для меня таким же врагом, как вон тот пулеметчик на вышке?

— Совсем немного. Ты все еще опасен. Но тебя не будут пытаться.

509-й пожал плечами.

— Мы тебя просто посадим за решетку и заставим работать. Или расстреляем.

— Это звучит утешительно. Таким я себе всегда и представлял вашу золотую эру.

— Оставь эту дешевую иронию. Тв же знаешь, что принуждение необходимо. Вначале, в целях защиты. Позже необходимость в нем отпадает.

— Ошибаешься, — возразил 509-й. — Любая тирания нуждается в нем. И с каждым годом все больше. А не меньше... Это ее судьба. И ее же конец. Ты сам видишь, что происходит с ними.

— Нет. Нацисты совершили роковую ошибку, развязав войну, которая оказалась им не по зубам.

— Это была не ошибка. Это была необходимость. Они не могли иначе. Если бы они вздумали разоружаться и укреплять мир, они бы тут же обанкротились. И с вами будет то же самое.

— Мы все свои войны будем выигрывать. Мы поведем их иначе. Изнутри.

— Правильно, изнутри — внутрь. Так что эти лагеря вам еще пригодятся. Скоро вы их сможете опять заполнить.

— Пожалуй, — ответил Вернер совершенно серьезно. — Так почему же ты все-таки не с нами?

— Именно поэтому. Если ты, выбравшись отсюда, доберешься до власти ты прикажешь меня ликвидировать. Я же тебя — нет. Вот это и есть причина.

Хрип умиравшего слышался теперь все реже. Вошел Зульцбахер.

— Сказали, что завтра утром немецкие самолеты будут бомбить лагерь. Чтобы ничего не осталось.

— Очередная утка, — заявил Вернер. — Хоть бы поскорее стемнело. Мне надо в лагерь.

Бухер смотрел в сторону белого домика на холме, за контрольной полосой. Он стоял посреди деревьев в косых лучах солнца и казался неуязвимым. Деревья в саду чуть поблескивали, словно уже были покрыты первым, розово-белым пушком.

— Ну теперь-то ты веришь? — спросил он. — Теперь ты уже можешь даже слышать их пушки. С каждым часом они все ближе. Мы выберемся отсюда.

Он опять посмотрел на белый домик. Он давно еще загадал, что пока этот домик цел и невредим, все у них будет хорошо. Они с Рут останутся в живых и будут спасены.

— Да. — Рут сидела на земле рядом с проволокой. — И куда же нам идти, если мы выберемся отсюда?

— Прочь. Как можно дальше.

— Куда?

— Куда-нибудь. Может, еще жив мой отец. — Бухер и сам не верил в это. Но он не знал точно, погиб ли его отец. 509-й знал, но так и не решился сказать ему об этом.

— У меня никого не осталось, — сказала Рут. — Их при мне увезли в газовые камеры.

— А может, их просто отправили по этапу? И они остались в живых? Тебя ведь оставили в живых.

— Да, — ответила она. — Меня оставили в живых.

— У нас был небольшой дом в Мюнстере. Может, он еще стоит. Его у нас тогда отобрали. Может, нам его вернут, если он еще цел. Мы можем сразу поехать туда.

Рут Холланд не отвечала. Бухер вдруг заметил, что она плачет. Он почти никогда не видел, чтобы она плакала, и решил, что это из-за того, что она вспомнила о своих близких. Но смерть была в лагере таким привычным делом, что ему это показалось чересчур — после стольких лет проявлять такую скорбь.

— Нам нельзя оглядываться назад, Рут, — сказал он с укоризной. — Иначе как же нам жить?

— Я не оглядываюсь назад...

— Почему же ты тогда плачешь?

Рут Холланд утерла слезы сжатыми кулаками.

— Сказать тебе, почему меня не отправили в газовую камеру? — спросила она.

Бухер вдруг почувствовал, что ему лучше не знать того, что он сейчас услышит.

— Ты можешь мне этого не говорить, — сказал он. — А можешь и сказать, если хочешь. Это не имеет значения.

— Это имеет значение. Мне было семнадцать лет. Тогда я не была такой уродкой, как теперь. Поэтому меня и оставили в живых.

— Да, — машинально произнес Бухер, не понимая, что она хочет этим сказать.

Она взглянула на него, и он вдруг впервые заметил, что у нее очень прозрачные, серые глаза. Раньше он почему-то не обращал на это внимания.

— Ты что, не понимаешь, что это значит? — спросила она. — Меня оставили в живых, потому что им нужны были женщины. Молодые, для солдат. И для украинцев тоже, которые воевали вместе с немцами. Теперь ты понимаешь или нет?

Бухер несколько мгновений сидел молча, словно оглушенный. Рут внимательно наблюдала за ним.

— Неужели они это сделали? — спросил он, наконец. Он не смотрел на нее.

— Да. Они это сделали. — Рут уже не плакала.

— Все равно этого не было.

— Это было.

— Я не то хотел сказать. Я имею в виду, что ты ведь этого не хотела.

Она горько рассмеялась.

— Какая разница!

Бухер поднял на нее глаза. На ее словно окаменевшем лице нельзя было ничего прочесть, но именно это и превратило его в такую маску боли, что он мгновенно понял: она говорила правду. Это было почти физическое ощущение — желудок, казалось, раздирали на части, но в то же время он старался не поддаваться этому ощущению, не хотел верить — пока не хотел; сейчас он хотел лишь одного: чтобы это лицо перед ним хоть чуть-чуть изменилось.

— Все равно это неправда, — сказал он. — Ты ведь не хотела этого. Тебя как бы и не было при этом. Ты не делала этого.

Взгляд ее постепенно вернулся из пустоты, в которую погрузился на несколько минут.

— Это правда. И этого никогда не забыть.

— Никто из нас не знает, что он может забыть, а что нет. Нам всем нужно многое забыть. Иначе незачем отсюда выходить — лучше остаться и умереть.

Бухер повторял то, что ему еще вчера говорил 509-й. Сколько времени прошло с тех пор? Годы? Он несколько раз подряд глотнул.

— Ты живешь, — проговорил он через силу.

— Да, я живу. Двигаюсь, произношу какие-то слова, ем хлеб, который ты мне бросаешь, — и то другое живет тоже. Живет! Живет!

Она прижала ладони к вискам и повернула к нему лицо. «Она смотрит на меня... — думал Бухер. — Она опять смотрит на меня! Лучше бы она продолжала говорить, глядя на небо и на белый дом на холме».

— Ты живешь, — повторил он, — и этого мне достаточно.

Она опустила руки.

— Ребенок, — произнесла она бесцветным голосом. — Какой ты ребенок! Что ты понимаешь?

— Я не ребенок. Кто побывал здесь, тот уже не ребенок. Даже Карел, которому всего одиннадцать лет.

Она покачала головой.

— Я не об этом. Ты сейчас веришь в то, что говоришь. Но это не надолго. То другое вернется. К тебе и ко мне. Воспоминание, потом когда...

«Зачем она мне это сказала? — думал Бухер. — Ей не надо было говорить мне об этом. Я бы ничего не знал, а значит, ничего бы и не было».

— Я не знаю, что ты имеешь в виду — ответил он ей. — Но я думаю, что для нас теперь обычные правила не действуют. В лагере есть люди, которым приходилось убивать, потому что этого требовала необходимость, — он вспомнил о Левинском, — и они не считают себя убийцами, так же как солдаты на фронте тоже не считают себя убийцами. Да и какие они убийцы! Так же и мы — к тому, что произошло с нами, нельзя подходить с обычной меркой.

— Когда мы выйдем отсюда, ты будешь думать иначе...

Она смотрела на него. И он вдруг понял, почему она совсем не радовалась произошедшим переменам. Ей мешал страх — страх перед освобождением.

— Руг, — сказал он и почувствовал, как глаза его обожгло изнутри каким-то внезапным горячим ветром. — Все позади. Забудь это. Тебя принудили делать то, что внушало тебе отвращение. Что от этого осталось? Ничего. Ты не делала этого. Человек делает только то, чего хочет сам. А у тебя не осталось от этого ничего. Кроме отвращения.

— Меня рвало, — проговорила она тихо. — Меня каждый раз после этого рвало, и они в

конце-концов отправили меня обратно.

Она все еще смотрела на него.

— Вот что тебе досталось — седые волосы, беззубый рот... Да еще и... сука.

Он вздрогнул при этом слове и долго не отвечал.

— Они всех нас унизили, — сказал он, наконец. — Не только тебя одну. Всех нас. Всех, кто сейчас здесь, всех, кто сидит в других лагерях. В тебе они унизили твой пол. А в нас всех — человеческую гордость и даже больше, чем гордость. Самого человека. Они топтали его сапогами, они плевали в него. Они унижали нас так, что даже непонятно, как мы смогли это вынести. Я много думал об этом в последнее время, говорил об этом с 509-м. Чего они только с нами не делали! И со мной — тоже...

— Что?

— Я не хочу об этом говорить. 509-й сказал, что то, чего ты внутренне не признаешь, — не существует. Я сначала этого не понял. А сейчас я знаю, что он хотел сказать. Я не трус, а ты — не сука. Все, что с нами сделали — это все ничего не значит, если мы сами не чувствуем себя так, как им бы хотелось, чтобы мы себя чувствовали.

— Я чувствую себя именно так.

— Это сейчас. А потом...

— А потом еще больше.

— Нет. Если бы все это было так, то не многие из нас смогли бы жить дальше. Нас унизили. Но униженные — не мы а те, кто это сделал.

— Кто это сказал?

— Бергер.

— У тебя хорошие учителя.

— Да, и я многому научился.

Рут склонила голову набок. Лицо ее теперь казалось усталым. Оно все еще выражало боль. Но это уже была просто боль, а не судорога.

— Как много лет... — произнесла она задумчиво. — И будни будут...

Бухер заметил, что по склонам холма, на котором стоял белый домик с садом, поползли голубые тени облаков. На какое-то мгновение ему показалось странным, что домик все еще стоит. У него вдруг появилось необъяснимое ощущение, будто за несколько минут, пока он не смотрел на холм, домик исчез, взорванный бесшумной бомбой. Но домик все еще стоял.

— Давай не будем отчаиваться заранее, а подождем, пока все это кончится и мы сможем вместе попытаться счастье... — сказал он.

Рут посмотрела на свои тонкие руки, подумала о своих седых волосах и недостающих зубах, затем о том, что Бухер уже много лет не видел ни одной женщины, кроме тех, что были в лагере. Она была моложе его, но казалась сама себе старухой. Прошлое навалилось ей на плечи, словно свинцовое покрывало. Она не верила ни во что из того, чего с такой уверенностью ждал он, — и все же в ней теплилась еще последняя надежда, и она цеплялась за нее, как утопающий цепляется за соломинку.

— Ты прав, Йозеф. Давай подождем.

Она пошла обратно к своему бараку. Подол грязной юбки хлестал ее тонкие ноги. Бухер с минуту смотрел ей вслед, и в груди его словно вдруг взорвался дремавший до этого вулкан неукротимой злости. Он понимал, что совершенно бессилён что-либо изменить и что ему обязательно нужно справиться со всем этим и самому как следует осознать и понять все то, что он говорил Рут.

Он медленно встал и поплелся к бараку. Он вдруг почувствовал, что больше не в силах переносить это яркое небо.

Глава двадцать первая

Нойбауер с минуту ошалело смотрел на письмо. Затем еще раз прочел последний абзац. «Поэтому я уйду. Если тебе самому хочется совать голову в петлю, это твое дело. Я же хочу быть свободной. Фрейю я беру с собой. Надумаешь — приезжай. Сельма». И адрес какой-то баварской деревни.

Нойбауер огляделся вокруг. Он ничего не понимал. Этого просто не может быть. Она наверняка вот-вот вернется. Бросить его сейчас одного — это невозможно!

Он тяжело опустился во французское кресло. Кресло затрещало под ним. Он встал, пнул его сапогом и сел на диван. Проклятая мишура! И зачем им понадобилась эта рухлядь, когда можно было купить порядочную, немецкую мебель, как у других людей? Все из-за нее. Это она вычитала где-то, что все это ценные и изящные вещи. А какое дело до всего этого ему? Ему, грубому солдату, верному слуге фюрера? Он поднял было сапог для второго пинка, но потом передумал. Зачем? Может, еще удастся продать это барахло. Хотя кого интересует искусство, когда говорят пушки?

Он встал и прошелся по квартире. В спальне он распахнул дверцы шкафа. До этого у него еще была надежда, но когда он увидел полупустые ящики, эта надежда окончательно рухнула. Сельма захватила с собой меха и все самое ценное. Он отшвырнул в сторону белье — шкапулки с драгоценностями не было. Медленно закрыв шкаф, он подошел к туалетному столику, постоял несколько минут, машинально открывая один за другим миниатюрные флаконы из богемского хрусталя и нюхая духи, совершенно не замечая запаха. Это были его подарки времен славных побед чехословацкой кампании. Она не взяла их с собой. Слишком хрупкие вещи.

Он вдруг стремительно направился к одному из стенных шкафов, рванул на себя дверцы и пошарил рукой в поисках ключа. Но ключ не понадобился — потайной ящик был открыт и пуст. Она забрала с собой все ценные бумаги. И даже его золотой портсигар со свастикой из бриллиантов, подарок промышленников, — когда он еще был на технической службе. Надо было оставаться там и спокойно доить этих друзей. Затея с лагерем в конце концов оказалась ошибкой. Правда, первое время лагерь неплохо послужил ему, в качестве средства давления. Зато теперь с ним хлопот не оберешься. Хотя он, что ни говори, был одним из самых гуманных комендантов, это всем известно. Меллерн — не Дахау, не Ораниенбург, не Бухенвальд, не говоря уже о лагерях смерти.

Он вдруг прислушался. Одно из окон было открыто, и муслиновая занавеска плясала на ветру, словно привидение. Этот проклятый гул на горизонте! Как он действует на нервы! Он закрыл окно, но за него зацепилась занавеска. Он опять открыл его и потянул занавеску на себя. Она затрещала. Выругавшись, он в сердцах захлопнул окно и отправился на кухню. Горничная сидела за столом. Увидев Нойбауера, она вскочила. Он проворчал что-то неразборчивое, не глядя в ее сторону. Она, конечно, знала обо всем, стерва! Он достал из холодильника пиво, прихватил еще початую бутылку можжевелевой водки и пошел обратно в гостиную. Вспомнив, что забыл стакан и рюмку для водки, он вернулся. Горничная, стоя у окна, прислушивалась к далекой канонаде. Она испуганно оглянулась, когда он вошел, как будто ее застали за каким-то запретным занятием.

— Приготовить вам что-нибудь поесть?

— Не надо. — Он сердито протопал к двери.

Водка была крепкой и пряной. Пиво в меру холодным. «Удрать!.. — думал он. — Как евреи. Хуже! Евреи не удирали. Они держались все вместе. Я сам не раз видел. Облапошила! Бросила на произвол судьбы! Вот она, благодарность! Я мог бы получить от жизни больше, если бы не

был таким верным супругом. Хотя насчет верности... Это, конечно, не совсем точно сказано. А впрочем, если подумать, сколько я всего упустил, то получается — еще какой верный! Каких-нибудь несчастных пару раз! Вдову можно не считать. А вот та рыжеволосая, которая хотела вытащить из лагеря своего мужа, три или четыре года назад, — чего только она не выделявала от страха! Она, конечно, не знала, бедняга, что мужа уже давно нет в живых. Веселый получился вечерок. Потом, правда, когда ей выдали пепел мужа, в коробке из-под сигар, она вела себя, как дура. Сама виновата, что попала за колючую проволоку. Оберштурмбаннфюрер СС не может позволить безнаказанно плевать себе в лицо».

Он налил себе еще одну изрядную порцию водки. С чего это он вдруг вспомнил об этом? Ах да, из-за Сельмы. Чего он только не мог бы иметь! Да, упустил он немало. Другие чего только не вытворяли! Взять хотя бы этого косолапого Бендинга из гестапо — каждый день новая!

Он отодвинул бутылку в сторону. Дом казался таким пустым, как будто Сельма забрала с собой и всю мебель. Фрейю, конечно, тоже потащила с собой. Почему у него нет сына? Это наверняка не его вина! А, будь оно все проклято! Он огляделся вокруг. Что он, собственно, тут забыл? А может, попробовать ее отыскать? В этой дурацкой деревне? Нет, она еще в дороге. Не скоро она туда еще доберется!

Он уставился на свои блестящие сапоги. Они напомнили ему о его офицерской чести, запятнанной предательством жены. Он грузно поднялся и, пройдя через пустой дом, вышел на улицу. Перед домом стоял его «мерседес».

— В лагерь, Альфред.

Машина медленно поползла через город.

— Стой! — скомандовал вдруг Нойбауер. — В банк, Альфред!

Он вышел, стараясь держаться как можно прямее. Никто не должен заметить! Это же надо! Вдобавок еще и опозорить его! Сняла половину денег за последние дни. А когда он спросил, почему его не поставили в известность, там лишь пожали плечами и заговорили об общем счете. Они, мол, наоборот, думали, что делают ему одолжение: снятие крупных сумм со счетов вызывает якобы раздражение наверху.

— В сад, Альфред.

Они долго добирались. Но вот он наконец увидел свой сад, который безмятежно дремал, пригревшись на солнышке. Фруктовые деревья уже местами зацвели, заметно вытянулись нарциссы, фиалки и крокусы всех цветов. Они словно яркие пасхальные яйца пестрели среди зеленой листвы. Вот у кого можно поучиться верности — они в срок зацвели и были на месте, как и положено. На природу можно положиться — тут уж никто от тебя не убежит.

Он прошел в крольчатник. Кролики жевали себе что-то в своих клетках. В их прозрачных рубиновых глазках не было даже намека на мысли о каких-то там банкнотах. Нойбауер просунул палец сквозь сетку и почесал мягкую шерстку белых ангорцев. Из этой шерсти он собирался заказать шарф для Сельмы. Добродушный глупец, которого всегда все обманывали.

Прислонившись к клетке, он уставился вдаль сквозь открытую дверь. В мирной неге теплого хлева его возмущение незаметно превратилось в острое чувство жалости к самому себе. Сияющее небо, цветущая ветка, покачивающаяся в проеме двери, мягкая шерстка животных — все усиливало в нем эту жалость.

Неожиданно вновь послышались раскаты. Не такие ровные, как до этого, но заметно усилившиеся. Они бесцеремонно ворвались в его личное горе — эти глухие подземные барабаны. Они барабанили и барабанили, и постепенно в нем опять поднял голову страх. Но это был уже совсем другой страх. Этот страх был глубже. А с ним как назло никого не было, и он не мог опять обмануть себя, переубеждая других, а заодно и себя самого. Теперь он почувствовал

этот страх по-настоящему, в полной мере; он клубился у него в груди, заполняя все внутренности, распирая желудок, поднимался к горлу. «Я же не совершал никаких преступлений, — вяло, неуверенно внушал он себе. — Я просто выполнял свой долг. У меня есть свидетели. Много свидетелей. Бланк, например. Я еще совсем недавно угостил его сигарой, вместо того чтобы отправить его в лагерь. Другой бы на моем месте просто отобрал бы у него магазин. Бланк сам это признает, он все подтвердит, если потребуется. Я обошелся с ним почеловечески, он это подтвердит под присягой». «Ничего он не подтвердит», — раздался вдруг чей-то холодный, чужой голос у него в груди. Он даже непроизвольно оглянулся — так отчетливо прозвучал этот голос. За спиной стояли грабли, лопаты и метлы, выкрашенные в зеленый цвет, с добротными деревянными ручками... Ах, если бы сейчас можно было превратиться в какого-нибудь крестьянина или в садовода, в какого-нибудь хозяйчика, стать каким-нибудь нулем без палочки! Эта проклятая ветка! Ей хорошо — цветет себе и в ус не дует. И никакой тебе ответственности. А куда деваться оберштурмбаннфюреру СС? С одной стороны русские, с другой — англичане и американцы, куда тут податься? Сельме легко говорить. Удирать от американцев, значит, бежать навстречу русским. Нетрудно представить себе, что бы они с ним сделали. Они не для того прошли через всю свою разоренную Россию, от самой Москвы и от Сталинграда, чтобы пожелать ему доброго здоровья.

Нойбауер вытер пот со лба. Прошелся взад-вперед. Ноги были словно чужие. Нет, нужно сосредоточиться и хорошенько подумать. Он на ощупь выбрался наружу. Воздух был удивительно свежим. Он сделал несколько глубоких вдохов, но вместе с воздухом в грудь, казалось, ворвался и прерывистый гул на горизонте. Он вибрировал в легких и вызывал слабость в ногах. Нойбауер вдруг легко и плавно, без отрывки, начал блевать под дерево, стоявшее посреди нарциссов. «Это пиво... — пробормотал он. — Пиво с водкой. Не пошло...» Он покосился в сторону калитки. Альфред не мог его видеть. Он еще постоял немного, чувствуя, как просыхает на ветру пот, и медленно пошел к машине.

— В бордель, Альфред.

— Куда, господин оберштурмбаннфюрер?

— В бордель!! — взорвался вдруг Нойбауер. — Ты что, забыл немецкий язык?

— Бордель закрыт. Там сейчас лазарет.

— Ну тогда поехали в лагерь.

Он сел в машину. Конечно, в лагерь. Куда ему еще ехать?

— Что вы скажете по поводу нашего положения, Вебер?

Вебер равнодушно взглянул на него.

— Прекрасное положение.

— Прекрасное? В самом деле? — Нойбауер потянулся за сигарами, но вспомнил, что Вебер не курит сигар. — К сожалению, не могу вас угостить сигаретами. Была где-то пачка, а теперь пропала. Черт его знает, куда я ее засунул.

Он недовольно покосился на забитое досками окно. Стекло лопнуло во время бомбежки, а новое было не достать. Он не знал, что его сигареты, украденные в момент всеобщей неразберихи, через рыжеволосого писаря и Левинского перекочевали к ветеранам 22-го блока в виде хлеба. Им хватило этого хлеба на целых два дня. К счастью, его тайные записи на месте — все его гуманные распоряжения, которые каждый раз превратно истолковывались Вебером и его помощниками. Он украдкой наблюдал за Вебером со стороны. Лагерьфюрер казался совершенно спокойным, хотя грехов у него было хоть отбавляй. Взять хотя бы эти последние казни в подвале крематория...

Нойбауера вдруг опять бросило в жар. У него было алиби. Даже двойное. И все же...

— Что бы вы стали делать, Вебер, — сказал он задумчиво, — если бы на какое-то время, из тактических соображений — вы понимаете! — ну, скажем... чтобы выиграть время, в общем, если бы противник на короткий период оккупировал страну, что, разумеется — прибавил он поспешно, — как уже не раз доказывала история, еще вовсе не означало бы поражения?

Вебер слушал его с едва уловимым оттенком усмешки.

— Для таких, как я, работа всегда найдется, — ответил он деловито. — Мы еще поднимемся, пусть даже под чужими именами. А по мне — хоть коммунистами. Пару лет теперь не будет национал-социалистов. Все станут демократами. Это не страшно. Я, наверное, где-нибудь когда-нибудь буду работать в какой-нибудь полиции. Скорее с чужими документами. А потом все начнется сначала.

Нойбауер ухмыльнулся. Уверенность Вебера вернула ему его собственную уверенность.

— Неплохо. Ну, а я? Как, по-вашему, что ждет меня?

— Я не знаю. У вас семья, господин оберштурмбаннфюрер. Вам будет труднее поменять вывеску и лечь на дно.

— В том-то и дело. — Хорошее настроение Нойбауера опять пропало. — Знаете что, Вебер, я бы хотел пройтись по лагерю, посмотреть, что там делается. Давно собираюсь.

Когда он появился в дезинфекционном блоке, в Малом лагере уже знали, что предстоит. Оружие Вернер и Левинский переправили обратно в рабочий лагерь. Только у 509-го еще оставался револьвер. Он ни за что не желал расставаться с ним и спрятал его под нарами.

Спустя четверть часа из лазарета через уборную поступило странное сообщение: обход коменданта не был очередной карательной экспедицией; тщательной проверки барачников, вопреки ожиданиям, не было. Нойбауер сегодня благоволил к своим подопечным.

Новый староста блока нервничал. Он беспрестанно кричал и командовал.

— Не кричи, — сказал ему Бергер. — Лучше от этого не будет.

— Что?

— То!

— Это мое дело — кричать или не кричать. Строиться! Выходи строиться! — Староста помчался по барачникам. Те, которые еще могли ходить, собрались перед барачником.

— Это не все! Где остальные?

— Мертвецам тоже строиться?

— Закрой пасть! Все на построение! Вынести лежащих больных!

— Послушай-ка. Никто не говорил, что будет проверка. Никто не приказывал строиться. Зачем тебе понадобилось заранее строить барачников?

Староста блока весь взмок.

— Я делаю то, что считаю нужным. Я староста блока. Где этот тип, который все время торчит вместе с вами? С тобой и с тобой, — он ткнул пальцем в Бергера и Бухера.

Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь барака, чтобы самому посмотреть, кто там еще остался. Именно этого Бергер и не хотел допустить. 509-й спрятался в бараке. Ему совсем ни к чему было еще раз попадаться на глаза Веберу. Бергер встал в дверях, преградив старосте путь.

— Ты что? Уйди с дороги!

— Его здесь нет, — сказал Бергер, не трогаясь с места. — Ты понял?

Староста в изумлении уставился на него. Бухер и Зульцбахер встали рядом с Бергером.

— Что это значит? — спросил, наконец, староста.

— Его здесь нет, — повторил Бухер. — Рассказать тебе, как умер Хантке?

— Вы что, спятили?

Подошли Розен с Агасфером.

— Да я вам всем кости переломлю!

— Слышишь? — Агасфер ткнул своим корявым указательным пальцем в сторону горизонта. — Уже совсем близко!

— Он погиб не от бомб, — продолжал Бухер.

— Это не мы проломили Хандке голову. Там обошлось без нас, — вставил Зульцбахер. — Ты никогда не слышал о здешней феме^[16]?

Староста невольно сделал шаг назад. Он хорошо знал, что бывает с предателями и доносчиками.

— И вы тоже... с ними? — недоверчиво спросил он.

— Будь человеком, — сказал Бергер спокойно. — Не сходи с ума и не своди с ума нас. Зачем тебе — сейчас! — попадать в черный список?

— А кто говорит, что я хочу попасть в черный список? — Староста нервно засуетился. — Если мне никто ничего не говорит, откуда же я могу знать, что тут происходит? Я не понимаю — в чем дело? До сих пор на меня всегда можно было положиться.

— Ну тогда все в порядке.

— Больте! — первым заметил Бухер.

— Хорошо, хорошо! — Староста подтянул повыше штаны. — Будьте спокойны, я в курсе дела. Можете положиться на меня. Я ведь такой же, как вы.

«Идиотство... — думал Нойбауер. — Почему бомбы не упали сюда? Сейчас бы не было никаких забот. Проклятый закон подлости!»

— Это отделение шадящего режима? — спросил он.

— Отделение шадящего режима, — подтвердил Вебер.

— Ну что ж... — Нойбауер пожал плечами. — В конце концов, мы не заставляем их работать.

— Конечно. — Вебер от души забавлялся про себя. Мысль о том, что этих призраков можно заставить работать, была более, чем нелепой.

— Блокада, — продолжал Нойбауер. — Мы тут ни при чем. Неприятель... Ну и вонь! Как в обезьяннике.

— Дизентерия, — ответил Вебер. — Это же, собственно, место для выздоравливающих больных...

— Вот именно — больных! — тотчас же ухватился Нойбауер за эту мысль. — Больные. Дизентерия, поэтому и воняет. В госпитале было бы точно так же. — Он неуверенно огляделся вокруг. — А что, помыться у них нет возможности?

— Опасность инфекции слишком велика. Поэтому мы и держали эти бараки на карантине. Банная часть располагается на другой стороне.

Нойбауер при слове «инфекция» невольно отступил назад.

— Ну а свежего белья у нас достаточно, чтобы переодеть этот сброд? Старое, наверное, нужно будет сжечь, а?

— Не обязательно. Его можно продезинфицировать. Белья на вещевом складе хватает. Мы в последнее время много получили из Бельзена.

— Хорошо, — с облегчением произнес Нойбауер. — Значит, свежее белье, а заодно куртку и штаны попрличнее или что у нас там есть. Раздать хлорную известь и дезинфицирующие средства. Сразу будет другой вид. Запишите это! — Первый лагерный староста, толстый заключенный, услужливо записал. — Всеми средствами поддержать чистоту! — диктовал Нойбауер.

— Всеми средствами поддерживать чистоту, — повторил староста.

Вебер с трудом сдерживал ухмылку. Нойбауер обратился к заключенным:

— У вас есть все, что вам полагается?

Ответ уже двенадцать лет был один и тот же:

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер!

— Хорошо. Продолжайте.

Нойбауер еще раз посмотрел вокруг. Старые бараки были похожи на черные гробы. Ему вдруг пришла в голову идея.

— И прикажите посадить здесь немного зелени. Время сейчас самое подходящее. Пару кустов с северной стороны и цветочные клумбы с южной. Будет не такой мрачный вид. Найдется у нас что-нибудь подходящее в саду?

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер.

— Вот и прекрасно. Займитесь этим сразу же. То же самое можно будет сделать и в рабочем лагере. — Нойбауер был в восторге от своей идеи. В нем проснулся садовод. — Одна какая-нибудь узенькая полоска фиалок — и уже совсем другой вид. Нет, лучше примулы, желтый цвет веселее и заметней...

Двое в строю медленно повалились на землю. Никто даже не шелохнулся, чтобы помочь им.

— У нас еще есть примулы в саду?

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер. — Староста-толстяк вытянулся в струну. — У нас еще много примул. Они уже расцвели.

— Хорошо. Позаботьтесь об этом. И распорядитесь, чтобы лагерный оркестр играл и где-нибудь здесь, поближе к Малому лагерю, чтобы им тоже было слышно.

Нойбауер отправился обратно. Его свита двинулась вслед. Он опять немного успокоился. Жалоб у заключенных не было. За все эти годы, когда любая критика была исключена, он привык считать фактом то, во что ему самому хотелось верить. Поэтому он и сейчас ожидал от заключенных, что они видят в нем того, кем он сам хотел казаться — человека, который по мере сил заботится о них, несмотря на трудные условия. О том, что это люди, он давно уже забыл.

Глава двадцать вторая

— Как без ужина? — не поверил Бергер. — Вообще ничего?

— Ничего.

— Даже баланды не будет?

— Ни баланды, ни хлеба. Приказ Вебера.

— А другие? Рабочий лагерь?

— Никто. Никакого ужина во всем лагере.

Бергер недоуменно оглянулся.

— Вы что-нибудь понимаете? Белье получили, а ужина не будет?

— Примулы тоже получили. — 509-й показал на два жалких подобия клумб у входа в барак, справа и слева от двери. Горстка полузавядших цветков понуро торчала из земли. Их посадили в обед заключенные из садовой команды.

— Может, их можно есть?

— Не вздумай. А то еще останемся без еды на целую неделю.

— В чем же дело? — недоумевал Бухер. — После всего этого театра, который устроил Нойбауер, я думал, они даже бросят пару картошек в баланду.

Подошел Лебенталь.

— Это Вебер постарался. Нойбауер тут ни при чем. У Вебера зуб на Нойбауера. Он думает, что тот готовит себе тыл для отступления. Оно, конечно, так и есть. Поэтому Вебер и делает ему все назло. Я узнал в канцелярии. Левинский с Вернером и вообще все в рабочем лагере говорят то же самое. А нам приходится отдуваться.

— То-то будет трупов!..

Они молча смотрели на алое небо.

— Вебер сказал в канцелярии, мол, пусть не радуются — он позаботится о том, чтобы мы не чувствовали себя, как на курорте, — Лебенталь вынул изо рта челюсть, деловито осмотрел ее и вставил обратно.

Из барака послышались тонкие крики. Новость уже стала известна и там. Скелеты один за другим вываливались из барака и недоверчиво осматривали бачки для пищи — не пахнут ли они баландой и не обманули ли их другие. Бачки были чистыми и сухими. Причитания становились все громче. Многие падали на грязную землю и молотили по ней своими костлявыми кулаками. Но большинство покорно, не проронив ни слова, ковыляли прочь или просто неподвижно лежали на земле с широко раскрытыми глазами и ртом. Из дверей доносились слабые голоса тех, кто не мог встать. Это были не членораздельные звуки; это был всего лишь тихий хор отчаяния, заунывный плач, для которого уже не хватало ни слов, ни проклятий; эти звуки были уже за гранью отчаяния. Это были последние крохи гаснущей жизни, которая пока еще слабо жужжала, потрескивала и скреблась, словно бараки были вовсе не бараками, а огромными коробками с полумертвыми жучками и бабочками.

В семь часов заиграл лагерный оркестр. Он стоял за воротами Малого лагеря, но его было хорошо слышно. Указания Нойбауера были выполнены в точности. Первым прозвучал любимый вальс коменданта: «Южные розы».

— Значит, будем жрать надежду, если нет ничего другого, — сказал 509-й. — Будем жрать все остатки надежды, которые только сможем наскрести. Будем жрать артиллерийский огонь! Мы должны продержаться. И мы продержимся!

Кучка ветеранов сгрудилась у барака. Ночь была прохладная, мгlistая. Но они не мерзли. В бараке к этому времени было уже двадцать восемь трупов. Ветераны сняли с них мало-мальски

пригодную одежду и натянули ее на себя, чтобы не простудиться. Они не желали оставаться в бараке. В бараке пыхла, стонала и чавкала смерть. Они уже три дня сидели без хлеба, а сегодня не дали и баланды. Там, в темноте, на нарах, отчаянно боролись, сопротивлялись, но в конце концов сдавались и умирали. Они не хотели туда. Они не хотели спать среди этих обреченных. Смерть была заразительна, и им казалось, что во сне они еще более безоружны в борьбе с ней, чем наяву. Поэтому они, одетые в лохмотья умерших, сидели в ночной сырости, уставившись на горизонт, из-за которого должна была прийти свобода.

— Надо потерпеть только эту ночь, — сказал 509-й. — Всего одну ночь! Поверьте мне! Нойбауер узнает об этом и отменит его распоряжение. Они уже не в ладах сами с собой. Это начало конца. Мы уже столько выдержали. Потерпим еще всего одну ночь!

Никто не отвечал. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как звери на зимовке. Они не просто грели друг друга — они питали друг друга одной, общей волей к жизни. Это было важнее, чем тепло.

— Давайте о чем-нибудь поговорим, — предложил Бергер. — Но о чем-нибудь таком, что не имеет никакого отношения ко всему этому. — Он повернулся к Зульцбахеру. — Что ты будешь делать, когда выйдешь отсюда?

— Я?.. — Зульцбахер помедлил. — Лучше не говорить об этом раньше времени. Это только приносит несчастье.

— Это больше не приносит несчастье, — резко возразил ему 509-й. — Мы молчали об этом столько лет, потому что это разъело бы нас изнутри, как ржавчина. Но теперь мы должны говорить об этом. Именно в такую ночь! Когда же еще? Надо жрать то, что еще осталось от нашей надежды. Что ты будешь делать, когда выйдешь отсюда, Зульцбахер?

— Я не знаю, где сейчас моя жена. Она была в Дюссельдорфе. Дюссельдорф разбомбили.

— Если она в Дюссельдорфе, значит, с ней все в порядке. Дюссельдорф заняли англичане. Это уже давно передавали по радио.

— Да. Если она не погибла, — сказал Зульцбахер.

— Это, конечно, не исключено. Что мы вообще знаем о тех, кто на воле?

— А они о нас, — прибавил Бухер.

509-й посмотрел на него. Он до сих пор так и не сказал ему о том, что отца его уже нет в живых, и о том, как он погиб. Потом. После освобождения. Потом ему будет легче перенести это, чем сейчас. Он молод, и он единственный, кто уйдет отсюда не один. Он еще успеет узнать обо всем.

— Как же это все будет — когда мы выйдем отсюда? — произнес Майерхоф. — Я уже сижу здесь шесть лет.

— А я двенадцать, — откликнулся Бергер.

— Двенадцать лет?.. Ты что, политический?

— Нет. Я просто лечил одного нациста, который потом стал группенфюрером. С 28-го по 32-й год. Даже не я, а мой друг. Он приходил ко мне домой, а лечил его друг, специалист по этим заболеваниям. Нацист приходил ко мне, потому что жил в том же доме что и я. Для него так было удобней.

— И за это он упек тебя сюда?

— Да. У него был сифилис.

— А твой друг?

— Он велел его расстрелять. Мне кое-как удалось сделать вид, что я ничего не знал о его болезни и думал, будто это какие-то воспаления, последствия первой мировой. Но он все-таки на всякий случай загнал меня сюда.

— Что ты будешь делать, если он еще жив?

— Не знаю.

— Я бы его убил, — заявил Майерхоф.

— Чтобы опять сесть в тюрьму, да? — вставил Лебенталь. — За убийство. Еще десять или двадцать лет.

— Лео, а что ты будешь делать, когда выйдешь отсюда? — спросил 509-й.

— Открою магазин. Хороший полуконфекцион. Буду торговать пальто.

— Пальто? Летом? Лео, скоро лето!

— Есть же летние пальто! И потом, я могу продавать и костюмы. Ну и, конечно, плащи.

— Лео, — сказал 509-й. — Почему бы тебе не остаться в сфере продовольствия? Продукты будут сейчас нужны больше, чем пальто, а ты здесь в этом деле был неподражаем!

— Ты считаешь? — Лебенталь был заметно польщен.

— Безусловно!

— Может, ты и прав. Я подумаю. Например, американские продукты. Будут отрывать вместе с руками. Вы еще помните послевоенное американское сало? Толстое, белое и нежное, как марципан, с розовыми...

— Лео, заткнись! Ты что, рехнулся?

— Нет. Я просто вспомнил. Интересно — может, они и на этот раз нам пришлют такого сала? Хотя бы для нас?

— Уймись, Лео!

— Бергер, а что будешь делать ты? — спросил Розен.

Бергер вытер свои воспаленные глаза.

— Пойду в учение к какому-нибудь аптекарю. Попробую стать чем-нибудь вроде провизора. Оперировать — такими руками? После стольких лет? — Он сжал кулаки под курткой. — Невозможно. Я буду аптекарем. А ты?

— Моя жена развелась со мной, потому что я еврей. Я больше ничего о ней не слыхал.

— Я надеюсь, ты не собираешься ее искать? — сказал Майерхоф.

Розен ответил не сразу.

— Может, ее просто заставили. Что она могла сделать? Я и сам ей советовал.

— Может, она за это время стала такой страшной, что тебе и не нужно будет ломать себе голову — как и почему, — подал голос Лебенталь. — Может, ты еще будешь рад, что избавился от нее.

— Мы здесь тоже не помолодели.

— Да. Девять лет. — Зульцбахер закашлялся. — Как это все будет выглядеть, когда встретишь людей, с которыми так долго не виделся?

— Скажи спасибо, если вообще будет кого встречать.

— Девять лет... — повторил Зульцбахер. — Все уже и думать забыли.

Сквозь шарканье десятков «мусульманских» ног послышались вдруг чьи-то твердые шаги.

— Тихо! — шепнул Бергер. — Прячься, 509-й.

— Это Левинский, — сказал Бухер. Он умел узнавать людей по звуку шагов.

Подошел Левинский.

— Чем занимаетесь? Жратвы сегодня не будет. У нас один связной работает на кухне. Ему удалось украсть немного хлеба и картошки. Варили только для шишек. Тут уж ничего не стащишь. Вот вам хлеб и несколько сырых морковок. Не густо, конечно, но нам и самим ничего не досталось.

— Бергер, — сказал 509-й. — Раздели это.

Каждый получил по полкусочка хлеба и по одной морковке.

— Ешьте медленно. Жуйте как можно дольше. — Бергер дал им сначала морковь, а потом,

через несколько минут, — хлеб.

— Жрем втихомолку, как воры... — пробормотал Розен.

— Тебя никто не заставляет, — лаконично ответил Левинский. — Болтун!

Левинский был прав. Розен знал это. Он хотел было объяснить, что это пришло ему в голову случайно, просто потому, что они сегодня, в эту странную ночь, заговорили о будущем, чтобы хоть как-то отвлечься, не думать о голоде, и что эта мысль как раз тоже связана с будущим. Но потом передумал. Это было слишком сложно. Да и ни к чему.

— Народ валится с ног, — сообщил Левинский хриплым голосом, все еще тяжело дыша. — Зеленые тоже. Хотят нам помогать. Пусть. Капо, старосты блоков и секций. Позже разберемся, кто есть кто. Еще два эсэсовца. И даже врач из лазарета.

— Эта скотина, — сказал Бухер.

— Мы знаем, кто он такой. Но он нам пока нужен. Мы получаем через него информацию. Сегодня вечером поступил приказ подготовить для отправки партию заключенных.

— Что? — в один голос воскликнули Бергер и 509-й.

— Этап. Отправить две тысячи человек.

— Они что, хотят очистить лагерь?

— Они хотят две тысячи человек. Пока.

— Этап... Этого мы и опасались, — сказал Бергер.

— Успокойся. Рыжий писарь будет начеку. Если что — вы не попадете в список. Сейчас у нас везде есть свои люди. К тому же говорят, Нойбауер еще думает. Он еще не отдал приказ начать подготовку.

— Им не нужен никакой список, — заявил Розен. — Они начнут хватать кого попало, как это было с нами. А список составят потом.

— Не волнуйтесь раньше времени. Все может измениться каждую минуту.

— Он говорит «не волнуйтесь»!.. — Розена трясло.

— В крайнем случае мы вас пристроим в лазарет. Врач уже на все смотрит сквозь пальцы. У нас там уже спрятано несколько человек, которым грозит опасность.

— А они не говорили, что с этой партией отправят и женщин? — спросил Бухер.

— Нет, не говорили. Они и не будут трогать женщин. Их здесь слишком мало.

Левинский поднялся.

— Пошли со мной, — сказал он Бергеру. — Я за тобой и приходил. Нужно тебя забрать отсюда.

— Куда?

— В лазарет. Спрячем тебя на пару дней. Есть там одна подходящая комната, рядом с тифозным отделением. Ни один эсэсовец не сунет туда нос. Все продумано.

— А почему? — спросил 509-й.

— Рабочая команда крематория. Они собираются разделаться с ними завтра. Это все слухи. Считают ли они Бергера одним из них или нет, никто не знает. Думаю, что да. — Он повернулся к Бергеру. — Ты там внизу слишком много видел. Пошли на всякий случай со мной. Переоденься. Сними одежду с какого-нибудь мертвого. А ему оставь свое барахло.

— Иди, Эфраим, — сказал 509-й.

— А староста блока? Вы сможете с ним договориться?

— Сможем, — вдруг неожиданно для всех ответил Агасфер. — Он будет держать язык за зубами. Мы с ним договоримся.

— Хорошо. Рыжий писарь уже в курсе дела. Драйер в крематории трясется за свою собственную шкуру. Он не станет тебя искать среди трупов. — Левинский с шумом втянул носом воздух. — Тем более, что их уже слишком много. Всю дорогу спотыкаешься о них, пока

идешь сюда. Пока их всех сожгут, пройдет дней пять. А там уже будет новых хоть отбавляй. Сейчас везде такая неразбериха, что никто уже ничего не знает. Главное — чтобы тебя было не найти, если что. — По лицу его скользнула ухмылка. — В такие времена это самое главное. Подальше от греха!

— Давайте, — поторопил 509-й. — Ищите труп без татуировки.

Света почти не было. Малиновая, зловеще подрагивающая полоска над западным горизонтом не помогала. Чтобы разглядеть, есть на руке мертвеца наколка с номером или нет, приходилось ползать на коленях и изо всех сил напрягать зрение. Наконец, они нашли подходящий труп примерно одного роста с Бергером и стащили с него одежду.

— Давай, Эфраим!

Они сидели с той стороны барака, которую часовые не могли видеть со своих вышек.

— Переоденься лучше здесь, — шепнул Левинский. — Чем меньше народу будет знать твой настоящий номер, тем лучше. Давай сюда свою куртку и штаны!

Бергер разделся. Он стоял на фоне неба, как некий призрачный арлекин. Во время неожиданной выдачи белья ему достались женские панталоны, которые ему были по самые икры, и сорочка с глубоким вырезом без рукавов.

— Скажете завтра на поверке, что он умер.

— Ладно. Блокфюрер его не знает. А со старостой блока мы как-нибудь разберемся.

— Вы, я смотрю, разошлись не на шутку. — Левинский слегка усмехнулся. — Пошли, Бергер.

— Значит, все-таки этап! — Розен не мигая смотрел Бергеру вслед. — Зульцбахер был прав. Не надо было говорить о будущем. Это приносит несчастье.

— Ерунда! Нам только что дали поесть, это раз. Бергер спасен, это два. И неизвестно еще, отдаст ли Нойбауер приказ. Что тебе еще надо? Заладил — «несчастье, несчастье»! Ты что, хочешь, чтобы тебе дали гарантию на год?

— Бергер вернется? — спросил кто-то за спиной у 509-го.

— Он спасен, — с горечью произнес Розен. — Он не попадет в эту партию.

— Заткнись! — оборвал его 509-й и обернулся. За спиной у него стоял Карел. — Конечно, вернется, Карел. Ты почему не в бараке?

Карел поднял плечи.

— Я подумал, может, у вас найдется кусок кожи, пожевать.

— Вот тебе кое-что получше, — ответил Агасфер и отдал ему свой хлеб и морковку. Он оставил все это специально для него.

Карл принялся медленно жевать. Потом, заметив, что на него смотрят, встал и ушел. Когда он вернулся обратно, он уже не жевал.

— Десять минут, — объявил Лебенталь, глядя на свои никелированные часы. — Неплохо, Карел. Меня так хватило всего на десять секунд.

— Лео, а может, попробовать обменять часы на еду? — спросил 509-й.

— Сейчас на еду ничего не обменяешь. Даже золото.

— Можно есть печень, — сказал Карел.

— Что?

— Печень. Свежую печень. Если сразу же вырезать, то можно есть.

— Откуда вырезать?

— У мертвого.

— Кто тебе это сказал, Карел? — спросил Агасфер через некоторое время.

— Блацек.

— Какой Блацек?

— Блацек из лагеря под Брно. Он говорил, что это лучше, чем умереть самому. Мертвые есть мертвые, их все равно сжигают. Он меня многому научил. Он мне показывал, как надо притворяться мертвым и как надо бежать, если стреляют: зигзагом, туда-сюда, и приседать. А еще — как сделать, чтобы осталось побольше места, в братской могиле, чтобы дышать, а потом, ночью, вылезти. Блацек знал много всего такого.

— Ты тоже знаешь немало, Карел.

— Конечно. А то бы меня уже не было здесь.

— Правильно. Но давайте лучше думать о чем-нибудь другом, — предложил 509-й.

— Нам надо еще натянуть на мертвяка одежду Бергера.

Это было нетрудно. Тело еще не успело заоченеть. Они навалили сверху еще несколько трупов, потом снова уселись на свои места. Агасфер что-то бормотал себе под нос.

— В эту ночь тебе много придется молиться, старик, — мрачно заметил Бухер.

Агасфер поднял голову, прислушался к далекому гулу.

— Когда убили первого еврея и оставили убийц безнаказанными, они попрали закон жизни, — произнес он медленно. — Они смеялись. Они говорили: что такое несколько евреев по сравнению с великой Германией? Они отворачивались. И Бог их сейчас карает за это. Жизнь есть жизнь. Даже самая жалкая.

Он снова забормотал. Остальные молчали. Становилось прохладнее. Они еще теснее прижались друг к другу.

Шарфюрер Бройер открыл глаза. Спросонок он не сразу нащупал в темноте кнопку выключателя. Одновременно с лампой загорелись два зеленых огонька на столе. Это были две маленькие электрические лампочки, искусно вставленные в пустые глазницы человеческого черепа. Если бы Бройер еще раз нажал кнопку, в комнате погасли бы все лампы, кроме этих двух зеленых. Это был забавный эффект. Он очень нравился Бройеру.

На столе стояла тарелка с остатками пирога и пустая чашка из-под кофе. Рядом лежало несколько книг — приключенческие романы Карла Мая. Литературные познания Бройера ограничивались этими романами и еще одним скабрёзным изданием о любовных приключениях некой танцовщицы, выпущенным малым тиражом для любителей. Он зевнул и потянулся. Во рту был неприятный привкус. Он прислушался. В камерах бункера стояла гробовая тишина. Никто не отваживался стонать. Бройер научил своих подопечных дисциплине.

Он сунул руку под кровать, достал оттуда бутылку коньяка. Потом, дотянувшись до стола рукой, взял стакан, наполнил его и залпом выпил. Еще раз прислушался. Окно было закрыто, но ему показалось, будто он слышит грохот орудий. Он налил себе еще и выпил. Затем встал и посмотрел на часы. Была половина третьего.

Не снимая пижамы, он натянул сапоги. Сапоги ему были нужны: он любил пинать в живот. Без сапог был совсем не тот эффект. А в пижаме было удобней: бункер был жарко натоплен. Угля у Бройера пока хватало — в крематории его уже почти не осталось, а у Бройера еще имели запасы, которые он вовремя отвоевал для своих особых целей.

Он медленно пошел по коридору. Дверь каждой камеры была снабжена окошком, через которое можно было заглянуть внутрь. Бройеру это было вовсе ни к чему. Он и так знал свой зверинец и гордился этим придуманным им самим названием. Иногда он называл свои владения цирком — с бичом в руке он сам себе напоминал дрессировщика.

Он шел от камеры к камере, как любитель и знаток вина обходит свой погреб, от бочки к бочке. И так же, как владелец винного погреба в конце концов выбирает самое старое вино, Бройер решил сегодня остановить свой выбор на самом давнишнем госте. Это был Люббе из камеры № 7. Он открыл железную дверь.

В маленькой камере было невыносимо жарко. К трубам непомерно большой батареи, включенной на полную мощь, был за руки и за ноги подвешен на цепи мужчина. Он давно потерял сознание и висел теперь, почти касаясь пола. Бройер любовался некоторое время этим зрелищем, потом принес из коридора лейку с водой и побрызгал на висевшего, словно на засохшее растение. Капли воды, попавшие на батарею, шипели и быстро испарялись. Бройер отомкнул замки цепей. Обожженные руки Люббе бессильно упали на пол. Бройер вылил остатки воды на неподвижно лежащее тело и вышел из камеры, чтобы еще раз наполнить лейку. В коридоре он остановился. В одной из соседних камер кто-то стонал. Он поставил лейку на пол, открыл 9-ю камеру и не спеша вошел внутрь, что-то бурча себе под нос; потом оттуда послышались тупые удары, грохот, звяканье цепи, крики, которые постепенно перешли в хрип. Еще несколько глухих ударов — и Бройер вновь появился в коридоре. Правый сапог его был мокрым. Наполнив лейку водой, он вернулся в 7-ю камеру.

— Смотри-ка! — произнес он. — Очнулся!

Люббе лежал на животе, лицом вниз, и обеими руками пытался сгрести воду на полу в одну лужицу, чтобы сделать хотя бы глоток. Своими беспомощными движениями он напоминал полумертвую жабу. Вдруг он заметил полную лейку. Вскинувшись, он стал с хрипом метаться из стороны в сторону, пытаясь ухватить ее. Бройер наступил ему на руки. Люббе не мог их освободить и вытягивал шею в сторону лейки; губы его дрожали, голова тряслась, хрип становился все слабее.

Бройер с минуту понаблюдал за ним глазами эксперта. Он видел, что Люббе почти готов.

— Ну жри, черт с тобой, — проворчал он. — Жри свою последнюю трапезу.

Он улыбнулся своей шутке и убрал ноги с пальцев Люббе. Тот бросился на лейку с такой поспешностью, что она едва не опрокинулась. Он еще не верил в свое счастье.

— Жри медленно, — посоветовал Бройер. — Время еще есть.

Люббе пил и пил, не в силах остановиться. Позади у него была шестая ступень бройеровского воспитательного комплекса: рацион, состоящий исключительно из селедки и соленой воды в течение нескольких дней плюс раскаленная батарея, к которой приковывали воспитуемого.

— Все, хватит, — сказал наконец Бройер и вырвал у него лейку. — Вставай. Пошли со мной.

Люббе медленно, с трудом, качаясь из стороны в сторону, как пьяный, поднялся на ноги, и его тут же вырвало водой.

— Вот видишь, — с укоризной произнес Бройер. — Я же говорил тебе, пей медленно. Давай, топай.

Толкая перед собой Люббе, он дошел по коридору до своей комнаты, открыл дверь, и Люббе ввалился в нее.

— Вставай, — приказал Бройер. — И садись на стул. Живо.

Люббе кое-как взгромоздился на стул. Чтобы не свалиться с него, он откинулся на спинку и стал ждать очередной муки. Ничего другого он уже не знал.

Бройер задумчиво посмотрел на него.

— Ты мой самый старый гость, Люббе. Шесть месяцев, кажется, а?

Призрак, сидящий перед ним на стуле, покачнулся.

— А? — повторил Бройер.

Призрак кивнул.

— Неплохой срок, — заметил Бройер. — Длинный. За такой срок немудрено и привыкнуть друг к другу. Я уже прикипел к тебе сердцем. Смешно, но так оно и есть. Против тебя лично я ничего не имею, ты же знаешь... Ты ведь знаешь? — повторил он после небольшой паузы. —

Или нет?

Призрак опять кивнул. Он ждал очередной пытки.

— Тут, понимаешь, принцип — извести вас всех. А кого именно — плевать! — Бройер важно кивнул и налил себе коньяку. — Плевать... Жаль. Я думал, ты прорвешься. Нам оставалось только подвешивание за ноги да еще одно произвольное гимнастическое упражнение — и ты бы закончил полный курс и вышел. Ты это знаешь?

Призрак кивнул. Точно он не знал, но слышал, что Бройер иногда отпускает заключенных, выдержавших все пытки, если у него не было четкого приказа о их ликвидации. Он был бюрократам на свой лад: кто выдерживал — получал шанс. Этот бюрократизм был замешан на надменном восхищении стойкостью противника. Среди нацистов встречались такие, которые были готовы отдать должное врагу, если он этого заслуживал, и поэтому считали себя настоящими мужчинами и джентльменами.

— Жаль, — повторил Бройер. — Я бы тебя, честно говоря, с удовольствием отпустил. Ты смелый парень. Жаль, что мне все-таки придется тебя прикончить. И знаешь почему?

Люббе не отвечал. Бройер закурил и открыл окно.

— Вот поэтому. — Он прислушался. — Слышишь? — Он видел, что Люббе, хоть и следит за ним глазами, но все еще не понимает его. — Артиллерия. Вражеская артиллерия. Они уже близко. Поэтому! Поэтому-то тебе и придется сегодня отдать концы.

Он закрыл окно.

— Не повезло, правда? — Он криво усмехнулся. — За каких-нибудь два-три дня до того, как они вас смогут отсюда выпустить. Вот не повезло так не повезло, верно?

Бройер пришел в восторг от своей идеи — маленькая психологическая пытка на прощание, которая придавала всей сцене некоторую изысканность.

— В самом деле, жуткое невезение, а?

— Нет... — прошептал Люббе.

— Что?

— Нет.

— Неужели ты так устал от жизни?

Люббе покачал головой. Бройер смотрел на него с удивлением. Он вдруг почувствовал, что перед ним уже не та развалина, которую он приволок из камеры. Люббе выглядел теперь, как после однодневной передышки.

— Потому что они теперь доберутся до вас, — прошептал он, с трудом шевеля растрескавшимися губами. — До всех!

— Ерунда это все! Ерунда! — Бройер на мгновение разозлился. Он понял, что допустил ошибку. Вместо того чтобы мучить Люббе, он еще оказал ему такую услугу. Но кто же мог подумать, что этот тип совсем не дорожит своей жизнью?

— Напрасно радуешься! Я просто подшутил над тобой. Мы вовсе не проиграли войну! Мы просто сворачиваем лагерь! Линия фронта передвинулась, вот и все!

Это звучало не очень убедительно. Бройер и сам чувствовал это. Он сделал глоток коньяку. «Ну и наплевать...» — подумал он и опять выпил.

— Думай, что хочешь, — сказал он затем. — Все равно тебе не повезло. Я вынужден тебя прикончить.

Он чувствовал, как хмель становится все тяжелее.

— Досадно и для тебя и для меня. Неплохая была жизнь. Хотя, для тебя-то, пожалуй, и не очень, если уж говорить правду.

Люббе наблюдал за ним, несмотря на свою слабость.

— Что мне в тебе нравится, — продолжал Бройер, — так это то, что ты не скулил и не

сдавался. Но я должен тебя прикончить, чтобы ты ничего не рассказал. Именно тебя, самого старого гостя. Тебя в первую очередь. До других тоже очередь дойдет, — прибавил он, словно утешая его. — Не оставляй свидетелей. Старая заповедь национал-социалиста.

Он достал из ящика стола молоток.

— Тебя я, так и быть, прихлопну побыстрее. — Он положил молоток рядом с собой.

В ту же секунду Люббе встrepенулся и попробовал схватить молоток своими обожженными руками. Бройер легким толчком кулака отбросил его в сторону. Люббе упал.

— Смотри-ка, — добродушно удивился Бройер. — Все еще не оставляешь надежды. Правильно. Почему бы и не попробовать лишний раз? Сиди-сиди. Мне так даже удобнее. — Он приложил ладонь к уху. — Что? Что ты говоришь?

— Они вас... всех... точно так же...

— Да бро-ось ты, Люббе. Конечно, тебе бы этого очень хотелось. Они такими вещами не занимаются, эти чистоплюи. Да и потом — меня уже здесь не будет. А вы уже ничего не расскажете. — Он сделал глоток коньяку. — Хочешь сигарету? — спросил он неожиданно.

Люббе поднял на него глаза.

— Да.

Бройер сунул ему в рот сигарету, поднес горящую спичку и прикурил от этой же спички свою.

Они молча курили. Люббе знал, что это конец. Он пытался еще раз, через закрытое окно, услышать канонаду. Бройер допил свой коньяк, отложил в сторону сигарету и взялся за молоток.

— Ну ладно, пора.

— Будь проклят! — прошептал Люббе. Сигарета не вывалилась у него изо рта. Она приклеилась к его окровавленной верхней губе.

Бройер ударил его несколько раз тупым концом молотка по голове. То, что он не использовал острый конец, было своеобразным комплиментом Люббе, тело которого медленно обмякло.

Некоторое время Бройер мрачно сидел, думая ни о чем. Потом ему вспомнились слова Люббе. Он почувствовал себя странным образом обманутым. Люббе обманул его. Он должен был скулить. Но Люббе ни за что не стал бы скулить, даже если бы он убивал его медленно. Он бы стонал, но это не считается. Это был бы не он, а всего лишь его тело. Это что-то вроде дыхания вслух, не больше. Бройер опять услышал раскаты за окном. Кто-нибудь в эту ночь еще обязательно должен был скулить, иначе все летит к черту. Вот в чем дело! Теперь он понял. Он не мог допустить, чтобы эта история с Люббе закончилась так: получилось бы, будто Люббе победил. Он грузно встал и отправился в камеру 4. Ему повезло. Очень скоро панический голос его жертвы уже выл, причитал, кричал, канючил и скулил и лишь спустя какое-то время начал становиться все тише и тише, пока не умолк совсем.

Бройер удовлетворенно вернулся в свою комнату.

— Вот видишь! Вы еще пока у нас в кулаке, — обратился он к лежащему на полу труп Люббе и толкнул его ногой. Толчок был несильный, но лицо Люббе словно вдруг ожило. Бройер склонился над ним. Ему померещилось, будто Люббе показал ему язык. Потом он заметил, что сигарета во рту не сразу погасла, а догорела до самых губ. Столбик пепла от толчка упал на грудь убитого. Бройер вдруг почувствовал себя усталым. Ему было лень выволакивать труп из комнаты. Он затолкал его сапогами под кровать. Пусть полежит до завтра. На полу остался темный след. Бройер сонно ухмыльнулся. «А когда-то я не переносил вида крови, — подумал он. — Когда был маленьким. Странно!»

Глава двадцать третья

Трупы были уложены в штабеля. Машину за ними на этот раз не прислали. В волосах, на ресницах, на руках их поблескивали серебряные дождевые капли. Гул на горизонте прекратился. До самой полуночи заключенные могли видеть дульное пламя и слышать оружейные выстрелы. Потом все вдруг стихло.

Взошло солнце. Небо было голубым, а ветер теплым и ласковым. На дорогах за городом все словно вымерло; не видно было даже беженцев. Город, черный, выгоревший, казался мертвым. Река ползла по нему, извиваясь, как огромная, сверкающая змея, которая пожирает его разлагающиеся останки. Войск нигде не было.

Ночью побрызгал коротенький мягкий дождь, и на земле кое-где остались небольшие лужи. 509-й, сидевший рядом с одной из них, случайно заметил в ней свое отражение.

Он низко наклонился к неподвижной, прозрачной луже. Ему уже было не вспомнить, когда он в последний раз смотрел в зеркало — много лет назад. В лагере он ни разу не видел зеркала, и теперь он не узнавал лица, которое смотрело на него из лужи.

Голова была покрыта редкой, грязной щетиной. До лагеря у него были густые каштановые волосы. Он знал, что цвет их изменился, он видел это по клочкам волос, которые падали на пол во время стрижки. Но лежащие на полу волосы, казалось, уже не имели к нему никакого отношения. В лице он не находил ни одной знакомой черты, даже глаза были чужими. Тот слабый, мерцающий свет в двух темных провалах над непомерно большими ноздрями и испорченными зубами был всего лишь чем-то, что еще отличало его от мертвецов.

«Неужели это я?» — подумал он и еще раз взгляделся в свое отражение. Конечно же, он всегда понимал, что должен выглядеть так же, как другие заключенные, но по-настоящему это никогда не доходило до сознания. Все это время, год за годом, он видел, как изменяются другие, но поскольку он видел их каждый день, перемены в их внешности не так поражали его, как его собственное лицо, которое он в первый раз за столько лет вдруг случайно увидел. Его поразило не то, что волосы стали седыми и редкими, а лицо превратилось в карикатуру того крепкого, мясистого лица, оставшегося в его воспоминании, — его ошеломило то, что из лужи на него смотрел старик.

Он сидел на краю лужи ни жив, ни мертв. В последние дни он много думал. Но ему ни разу не пришло в голову, что он — старик. Двенадцать лет — не так уж и много. Двенадцать лет неволи, это уже гораздо больше. А двенадцать лет концентрационного лагеря — кто знает, сколько это на самом деле? Осталось ли у него хоть немного сил? Или он развалится сразу же, как только выйдет отсюда, — как сгнившее изнутри дерево, которое в шпиль кажется здоровым и крепким, а в первую же бурю ломается, как спичка. Ведь эта лагерная жизнь и была штилем — великим, страшным, адским вакуумом, в который не проникала ни одна молекула жизни. Что же будет, когда снесут колючую проволоку и эта оболочка лопнет?

509-й еще раз впился взглядом в неподвижное зеркало лужи. «Это мои глаза, — подумал он и наклонился еще ниже; под его дыханием вода задрожала, сморщилась, и лицо расплылось. — Это мои легкие... Они еще работают. — Он сунул в лужу руку, всплеснул воду. — А это моя рука, она может разрушить этот образ...»

«Разрушить... — повторил он про себя. — А строить? Ненависть... А смогу ли я еще что-нибудь, кроме этого? Одной ненависти мало. Для жизни необходимо что-то еще».

Он выпрямился. К нему направлялся Бухер. «Этот сможет, — подумал он. — Он еще молод».

— 509-й, — сказал Бухер, — ты видел? Крематорий не работает.

— И в самом деле!

— Команды уже нет в живых. А новую они, кажется, еще не набрали. Почему? Может...

Они посмотрели друг на друга.

— Может, уже просто ни к чему? Может, они уже... — Бухер умолк.

— Уходят? — договорил за него 509-й.

— Да. Трупы сегодня уже не забирали.

Подошли Розен и Зульцбахер.

— Орудий больше не слышно, — сказал Розен. — Что бы это могло значить?

— Может, они уже прорвались.

— Или их отбросили. Говорят, эсэсовцы собирались защищать лагерь.

— Еще одна утка. Каждые пять минут что-нибудь новое. Если они и в самом деле вздумают оборонять лагерь, значит, нас будут бомбить.

509-й вскинул глаза. «Хоть бы поскорее ночь!» — подумал он. В темноте легче прятаться. Кто знает, что еще может произойти. День состоит из такого множества часов, а смерти нужно всего две-три секунды. Сколько же смертей прячут в себе эти часы, которые посылает им от горизонта безжалостное солнце?

— Самолет! — воскликнул Зульцбахер.

Он взволнованно показал куда-то в небо. Вскоре они уже все видели маленькую черную точку.

— Наверное, немецкий, — прошептал Розен. — Иначе была бы тревога.

Они стали озираться по сторонам в поисках укрытия. В лагере упорно держался слух, будто немецкая авиация получила задание в последний момент сравнять Меллерн с землей.

— Он же один! Один-единственный!

Они остановились. Для бомбежки прислали бы, наверное, не один и не два самолета.

— Может, это американский разведчик, — сказал вдруг неожиданно появившийся Лебенталь. — Из-за одного самолета они уже не объявляют тревогу.

— А ты откуда знаешь?

Лебенталь не ответил. Все замерли, уставившись на черную точку, которая быстро увеличивалась.

— Это не немецкий! — произнес Зульцбахер.

Самолет был уже отчетливо виден. Он коршуном бросился вниз, прямо на лагерь. У 509-го появилось ощущение, будто кто-то, запустив ему руку в живот и намотав на нее кишки, резко потащил их к земле. словно принесенный в жертву какому-то мрачному, кровожадному божеству, которое уже устремилось за ним с неба на землю, он стоял на месте, не в силах даже пошевелиться. Он заметил краем глаза, что другие уже лежали на земле, и не мог понять, почему он тоже не бросился на землю, как они.

В этот момент посыпались пулеметные очереди. Самолет вышел из пике, развернулся и сделал круг над лагерем. Стреляли с земли. Где-то за казармами рокотали пулеметы. Самолет снизился еще больше. Все неотрывно смотрели вверх. И вдруг крыло его дрогнуло, качнулось вправо-влево, словно приветствуя стоящих внизу людей. В первое мгновение заключенные подумали, что самолет подбили. Но он, сделав разворот, опять прошел над ними и покачал крылом, на этот раз дважды, как птица. Потом круто взмыл вверх и стал удаляться. Вслед ему неслись пулеметные очереди. Теперь стреляли и с вышек. Однако выстрелы постепенно прекратились, и было слышно только ровное гудение мотора.

— Это был сигнал, — первым заговорил Бухер.

— Похоже, что он нам помахал крылом. Как машут рукой.

— Это был сигнал для нас! Точно! А что же еще?

— Он хотел нам дать понять, что они знают о нас. Это было для нас! Ничего другого и быть не может. Ты как думаешь, 509-й?

— Я тоже думаю, что это было для нас.

Это был чуть ли не первый знак, полученный ими с воли за все время, проведенное в лагере. Этот страшный вакуум одиночества был наконец нарушен. Они увидели, что о них еще помнят, там, за контрольной полосой, и считают их живыми. О них думают. Неизвестные спасители машут им с неба крыльями. Они больше не были одни. Это было первое зримое приветствие свободы. Они не были больше грязью земли. Специально для них кто-то, несмотря на опасность, прислал самолет, чтобы дать им понять, что о них помнят и что за ними придут. Они не были больше грязью земли. Они, жалкие черви, изгнанные, оплеванные, — они вновь были людьми для людей, которых они даже не знали.

«Что это вдруг со мной? — подумал 509-й. — Слезы?.. У меня? У старика?..»

Нойбауер молча смотрел на костюм. Сельма повесила его на самое видное место в его шкафу. Он понял намек. Штатского он не надевал с 33-го года. Серый костюм в черно-белую крапину. Курам на смех. Он снял костюм с вешалки и критически осмотрел его. Потом сбросил китель, подошел к двери спальни, запер ее на ключ и примерил пиджак. Он был ему слишком узок. Нойбауер не мог застегнуть его, даже втянув живот. Он подошел к зеркалу. Вид был дурацкий. Он поправился по меньшей мере на тридцать, а то и сорок фунтов. И неудивительно: до 33-го года приходилось считать каждый пфенниг.

Странно — как быстро исчезает с лица решительность, стоит только снять военную форму! Сразу становишься рыхлым, дряблым. И такое же самоощущение. Он посмотрел на брюки. Они тем более малы, не стоит и примерять. Да и зачем это все?

Он передаст лагерь, как положено. С ним обойдутся корректно, по-военному. Существуют традиции, военный этикет, неписанные законы воинской чести. Он ведь и сам был солдат. Или почти солдат. Носитель мундира. Высокий офицерский чин. Так что общий язык найдется.

Нойбауер подтянулся. Не исключено, что его интернируют. Разумеется, на короткий срок. Может быть даже, в одном из замков в окрестностях города, с равными ему по положению господами. Он принялся обдумывать, как лучше передать лагерь. Конечно, по-военному. Четкий салют. Без гитлеровского приветствия с поднятой рукой. Да, пожалуй, тут лучше обойтись без этого. Просто, по-военному — рука у козырька фуражки.

Он сделал несколько шагов и отсалютовал своему отражению в зеркале. Нет, не так скованно — не как подчиненный. Он попробовал еще раз. Не так-то просто было добиться нужного сочетания почтительности и элегантного достоинства. Рука по привычке взлетала слишком высоко. Все еще это проклятое гитлеровское приветствие. Идиотский способ приветствовать друг друга, если разобраться. Вскидывать руку вверх — может, это и неплохо для какого-нибудь юного вандерфогеля^[17], но только не для офицера. Даже не верится, что столько лет приходилось приветствовать друг друга таким жестом!

Он еще раз козырнул перед зеркалом. Медленнее! Не так суетливо. Он отступил на несколько шагов назад и вновь пошел навстречу своему собственному отражению в зеркале платяного шкафа.

— Господин генерал! Разрешите передать вам вверенный мне...

Примерно так. Раньше при этом противнику вручали и свою шпагу. Как Наполеон III при Седане. Когда-то он проходил это в школе. Шпаги у него не было. Может, револьвер? Исключено! А с другой стороны: при оружии нельзя. Нет, все-таки ему немного не хватало этой военной выучки. Как, например, быть с португеей и кобурой — снять их заранее или не надо?

Он еще раз пошел навстречу воображаемому генералу. Так. Не слишком близко.

Остановиться за несколько метров.

— Господин генерал!..

А может, господин камрад? Нет, если это будет генерал, то, пожалуй, не стоит. А еще лучше: просто четкий салют и после этого рукопожатие. Краткое, корректное — не трясти, а просто пожать руку. В конце концов, речь ведь идет об элементарном уважении — противника к противнику, офицера к офицеру. Если на то пошло — они ведь все камрады, хоть и враги. Допустим, они проиграли после честной борьбы. Почет и уважение тому, кто храбро сражался, но был побежден!

Нойбауер почувствовал, как в нем затрепетал прежний почтовый служащий. Он ощутил себя участником исторического свершения.

— Господин генерал!..

С достоинством. Потом рукопожатие. А может, и короткий обед с победителем — такие примеры рыцарского отношения друг к другу уже были известны. Роммель с пленными англичанами. Жаль, что он не знает английского. Но это не страшно: переводчиков в лагере хватает.

Как быстро, оказывается, можно привыкнуть салютовать на старый манер, по-военному! Да он по сути никогда и не был фанатиком. Скорее просто чиновником, верно служившим отечеству. Вебер и ему подобные или Дитц со своей кликой — это были нацисты.

Нойбауер достал сигару. «Ромео и Джульетта». Сигары лучше скурить. Оставить в коробке штук пять, на всякий случай. Может, придется угостить противника. Хорошая сигара порой оказывается лучше всякой дипломатии.

Он сделал несколько затяжек. А если они пожелают осмотреть лагерь? Пожалуйста. Если им что-то не понравится — он только выполнял приказы. Это понятно каждому солдату. Иногда и у него самого сердце кровью обливалось, но, как говорится...

Ему вдруг пришла в голову мысль. Питание! Хорошее, обильное питание! Вот что необходимо! На это всегда смотрят в первую очередь. Нужно немедленно распорядиться, чтобы увеличили рацион. Тогда все увидят, что он сразу же, как только перестал получать приказы, сделал для заключенных все, что в его силах. Он лично отдаст распоряжение обоим лагерным старостам. Они сами — заключенные. Они потом все подтвердят.

Штайнбреннер стоял перед Вебером. Лицо его горело рвением.

— Двое заключенных застрелены при попытке к бегству, — доложил он. — В обоих случаях — попадание в голову.

Вебер медленно встал и небрежно, боком, присел на край своего стола.

— С какого расстояния?

— Одного с тридцати, другого с сорока метров.

— В самом деле?

Штайнбреннер покраснел. Он застрелил обоих всего с нескольких метров — ровно столько, сколько нужно, чтобы по краям раны не осталось следов пороха.

— И это была попытка к бегству? — спросил Вебер.

— Так точно.

Оба прекрасно знали, что никакой попытки к бегству не было. Просто так называлась одна из любимых игр эсэсовцев: нужно взять шапку заключенного, бросить ее через голову назад и отдать приказ принести ее; в тот момент, когда заключенный пробегает мимо, он получает сзади пулю за попытку к бегству. Стрелок обычно награждался за это несколькими днями отпуска.

— Хочешь в отпуск? — спросил Вебер.

— Никак нет.

— Почему?

— Это выглядело бы так, как будто я не прочь смыться.

Вебер поднял брови и начал медленно покачивать в воздухе ногой, свисавшей со стола. Солнечный зайчик от его блестящего сапога блуждал по голым стенам, как одинокая светлая бабочка.

— Значит, ты не боишься?

— Нет. — Штайнбрэннер твердо смотрел Веберу в глаза.

— Хорошо. Нам нужны надежные люди. Особенно сейчас.

Вебер уже давно присматривался к Штайнбрэннеру. Этот мальчишка нравился ему. В нем еще осталось что-то от того фанатизма, которым когда-то славились части СС.

— Особенно сейчас, — повторил Вебер. — Нам теперь нужна гвардия гвардии. Понимаешь?

— Так точно. Думаю, что понимаю.

Штайнбрэннер опять покраснел. Вебер был его идеалом. Он слепо благоговел перед ним — как мальчишка может благоговеть перед вождем индейского племени. Он не раз слышал об отваге Вебера в рукопашных сражениях 33-го года. Он знал, что в 29-м году Вебер принимал участие в убийстве пяти рабочих коммунистов и отсидел за это четыре месяца в тюрьме. Рабочих ночью сорвали с постелей и на глазах у близких забили насмерть ногами. Он слышал и о свирепых веберовских допросах в гестапо, о его беспощадности к врагам рейха. Все, чего он желал для себя, было — стать таким же, как его идеал. Он вырос с учением партии. Ему было семь лет, когда к власти пришел национал-социализм, и теперь он был идеальным продуктом новой системы воспитания.

— Слишком много народу попало в СС без настоящей проверки, — продолжал Вебер. — Сейчас станет видно, кто есть кто. Славные времена безделья кончились. Ты это знаешь?

— Так точно. — Штайнбрэннер стоял навтыжку.

— У нас здесь уже есть с десятков надежных людей. Лучшие из лучших. — Вебер испытующе посмотрел на Штайнбрэннера. — Приходи сюда сегодня вечером, в половине девятого. Там посмотрим.

Штайнбрэннер восторженно повернулся на каблуках и вышел, печатая шаг. Вебер встал и обошел вокруг стола. «Вот и еще один... — подумал он. — Уже вполне достаточно, чтобы подложить старику в последний момент хорошую свинью». Вебер ухмыльнулся. Он давно заметил, что Нойбауер собирается предстать перед победителями таким свежесмытым ангелом, а всю вину свалить на него. Последнее его мало заботило — грехов у него и без Нойбауера хватало; но он не любил свежесмытых ангелов.

День уныло тащился к вечеру. Эсэсовцы уже почти не появлялись в лагере. Они не знали, что у заключенных есть оружие, и они совсем не поэтому стали вдруг такими осторожными. Даже раздобыв еще в сто раз больше наганов, чем у них уже было, заключенные не имели бы ни малейшего шанса на успех в открытом бою — они ничего не смогли бы сделать против пулеметов. То, что с недавних пор внушало эсэсовцам страх, — было просто огромное количество заключенных.

В три часа лагерные громкоговорители прокричали имена двадцати заключенных, которые должны были через десять минут прибыть к воротам. Это могло означать все, что угодно — допрос, письмо с воли или смерть. По команде подпольного руководства лагеря названные двадцать человек мигом исчезли из своих барачков; семеро из них спрятались в Малом лагере. Приказ повторили еще раз. Все двадцать были политическими. К воротам никто не явился. Это

был первый случай открытого неповиновения в лагере. Вскоре последовал новый приказ: всему лагерю построиться на плацу. Члены подпольного руководства передали по цепочке призыв оставаться в бараках. На плацу их могли всех перестрелять из пулеметов. Вебер готов был пойти на крайние меры, но пока еще не решался открыто противодействовать Нойбауеру. Подпольному руководству удалось узнать через канцелярию, что приказ исходил не от Нойбауера, а исключительно от Вебера. Вебер велел объявить по лагерной трансляции, что никто не получит пищи до тех пор, пока не будут выданы двадцать политзаключенных.

В четыре часа поступил приказ от Нойбауера: старосты лагеря должны были немедленно явиться к нему. Старосты подчинились приказу и отправились к коменданту. Лагерь в глухом напряжении ждал — вернутся они или нет.

Через полчаса они вернулись обратно. Нойбауер показал им приказ об отправке партии заключенных. Это был уже второй по счету приказ. Согласно этому приказу две тысячи человек должны были покинуть лагерь в течение часа. Нойбауер выразил готовность отложить отправку партии до утра. Члены подпольного руководства лагеря немедленно собрались в лазарете на экстренное совещание. Первым делом они добились от переметнувшегося к ним врача-эсэсовца, доктора Хоффманна, обещания, используя свое влияние на Нойбауера, уговорить его отложить выдачу двадцати политических, а заодно и отменить переключку. Тогда и распоряжение не выдавать пищу автоматически стало бы недействительным. Врач сразу же ушел. На тайном совещании было решено ни в коем случае не выделять утром людей для отправки. А если эсэсовцы все-таки попытаются согнать в кучу две тысячи человек — прибегнуть к саботажу. Подбить людей на то, чтобы они прятались как могли, в бараках и вокруг них. Лагерная полиция, состоявшая из заключенных, тоже поможет. Нетрудно было предположить, что эсэсовцы сейчас вряд ли горят желанием во что бы то ни стало отличиться по службе. Если не считать нескольких человек. Об этом сообщил шарфюрер СС Бидер, который тоже считался своим. Последним они обсудили решение двухсот чешских заключенных: чехи вызвались сами предложить себя для отправки, если до этого дойдет дело, чтобы тем самым спасти двести других, которые не вынесли бы этапа.

Вернер сидел в больничном халате неподалеку от тифозного отделения.

— Время работает на нас, — пробормотал он. — Хоффманн еще у Нойбауера?

— Да.

— Если у него ничего не получится, придется действовать самим.

— Силой? — спросил Левинский.

— Не совсем. Скажем, наполовину. Но только завтра утром. Завтра мы станем вдвое сильнее. — Вернер взглянул в окно и вновь принялся за свои таблицы. — Итак, еще раз: хлеба у нас на четыре дня, если выдавать по одной порции. Мука... Крупы, лапша...

— Ну хорошо, господин доктор, я, так и быть, возьму это на свою ответственность. Значит — до завтра.

Нойбауер посмотрел врачу вслед и тихонько присвистнул. «Значит, и ты тоже... — подумал он. — Ну что же, я не возражаю, чем больше, тем лучше. Будем друг другу адвокатами». Он аккуратно поместил приказ об отправке партии заключенных в свою особую папку. Потом напечатал на маленькой портативной машинке распоряжение об отсрочке исполнения приказа и положил его туда же. Папку он спрятал в сейф и тщательно запер дверцу. Приказ сыграл ему на руку. Он опять достал папку, открыл пишущую машинку и медленно напечатал новый меморандум — об отмене распоряжения Вебера не выдавать заключенным пищу. Вместо него он заготовил другой, свой собственный приказ — о выдаче на ужин усиленного пайка всему лагерю. Мелочи, а польза от них немалая.

В эсэсовской казарме настроение было подавленное. Обершарфюрер Каммлер мрачно размышлял, полагается ли ему пенсия и кто ему ее будет выплачивать. Его в свое время выперли из университета, и он так и не научился никакому мирному ремеслу. Бывший ученик мясника Флорштедт ломал себе голову, все ли из тех, кто побывал в его руках с 33-го по 35-й год, сейчас на том свете. Он молил Бога, чтобы это было именно так. О двадцати своих «пациентах» он знал это точно; он собственноручно прикончил их — кого кнутом, кого плетью, а кого и ножкой от стола. Но примерно в десяти других случаях у него не было твердой уверенности. Коммерческий служащий шарфюрер Больте не прочь был бы получить консультацию юриста — истек ли срок давности уголовного преследования за совершенные им растраты. Ниманну, специалисту по части «обезболивающих» уколов, его городской друг, гомосексуалист, пообещал достать фальшивые документы, но Ниманн не доверял ему и решил припасти для него последний укол. Эсэсовец Дуда принял решение пробиваться в Испанию, а затем в Аргентину, рассудив, что в такие времена везде нужны люди, способные на все. Бройер медленно убивал в своем бункере католического vicария Веркмайстера. Он был намерен задушить его в несколько этапов, с паузами. Шарфюрер Зоммер, маленький человечек, находивший особое удовольствие в истязании людей высокого роста, которых он во что бы то ни стало стремился заставить кричать нечеловеческим голосом, был полон тоски, как отцветающая дева, оплакивающая золотые дни своей юности. С полдюжины эсэсовцев надеялись на то, что заключенные дадут им положительную характеристику; кто-то все еще верил в победу Германии, кто-то уже готов был перейти на сторону коммунистов, а кто-то был искренне убежден, что никогда и не был настоящим нацистом. Многие же просто вообще ни о чем не думали, потому что никто их этому никогда не учил. И почти все были уверены в том, что все, что они делали, они делали, выполняя приказ, и поэтому были свободны от какой-либо личной и человеческой вины.

— Уже больше часа, — произнес Бухер.

Он окинул взглядом пустые пулеметные вышки. Часовые ушли, не дождавшись смены, а смена так и не пришла. Такое случалось и прежде, но обычно лишь на короткое время и лишь в Малом лагере. На этот раз часовых не было видно нигде.

День словно промелькнул за три часа и в то же время показался им втрое длиннее. Все были совершенно обессилены; многие не могли даже говорить. Вначале они не обратили внимания на то, что вышки так и остались пустыми. Бухер заметил это первым. Приглядевшись, он обнаружил, что и в рабочем лагере охраны не было.

— Может, они уже ушли?

— Нет. Лебенталь слышал, что они еще здесь.

Они ждали. Часовые не появлялись. Поступила команда отправить дежурных в кухонный блок за ужином. Возвратившись, дежурные сообщили, что эсэсовцы еще здесь, но, судя по всему, уже сматывают удочки.

Началась раздача пищи. Изголодавшиеся скелеты сразу же затеяли драку. Они осыпали друг друга вялыми, лишенными силы ударами, пока их не оттеснили от бачков.

— Всем хватит! — кричал 509-й. — Еды сегодня много! Больше, чем положено! Гораздо больше! Каждый получит свою долю!

Постепенно все успокоились. Самые сильные заключенные взяли бачки с пищей в кольцо, и 509-й приступил к раздаче. Бергер все еще отсиживался в лазарете.

— Вы только посмотрите! Даже картошка! — удивился Агасфер. — И жилы. Чудеса!

Баланды было выдано вдвое больше, и выглядела она значительно гуще, чем обычно. Кроме того, каждый получил двойную порцию хлеба. И хотя это все равно было слишком мало — для Малого лагеря это было чем-то непостижимым.

— Старик сам присутствовал при раздаче, — сообщил Бухер. — Сколько я здесь сижу —

такого еще не видел.

— Это он себе напоследок репутацию зарабатывает.

Лебенталь кивнул.

— Они считают нас дурнее, чем мы есть.

— Пусть бы хоть так! — 509-й поставил рядом с собой свою пустую миску. — Но они же вообще не утруждали себя мыслями о нас! Они считают, что мы такие, какими им хочется нас видеть, и точка. У них так во всем. Они все знают лучше других. Поэтому и проиграли войну. Они ведь сами все знают лучше других о России, Англии и Америке.

Лебенталь звучно рыгнул.

— Какой удивительный звук... — произнес он с благоговейным восторгом. — Боже мой, когда же я последний раз рыгал?..

Взволнованные и уставшие, они что-то говорили друг другу, уже почти не слыша самих себя. Они лежали на незримом острове. Вокруг умирали «мусульмане». Они умирали, несмотря на то, что баланда сегодня была гуще, чем обычно. Они медленно шевелили своими паучьими конечностями, что-то время от времени хрипели или шипели и наконец проваливались в сон, постепенно переходящий в смерть.

Бухер медленными шагами, стараясь держаться как можно прямее, направился через плац к двойному забору из колючей проволоки, который отделял женские бараки от Малого лагеря.

— Рут... — произнес он, прислонившись к проволоке.

Она стояла по ту сторону забора. Закат подрумянил ее лицо, и оно сразу посвежело, преобразилось, как будто Рут уже давно перешла на нормальное питание.

— Вот мы стоим себе... — сказал Бухер. — Стоим открыто и ничего не боимся.

Она кивнула. По лицу ее скользнула слабая улыбка.

— Да. В первый раз.

— Как будто это забор какого-нибудь сада. И мы можем прислониться к нему и разговаривать друг с другом. Без всякого страха. Как через садовую изгородь, весной.

И все же страх остался. Они то и дело бросали быстрые взгляды на пустые пулеметные вышки. Страх вошел в их плоть и кровь. Они знали это. Они знали и то, что должны преодолеть его. Они улыбались друг другу, и каждый старался продержаться дольше другого и не стрельнуть глазами по сторонам.

Их примеру последовали и другие. Многие, кто еще мог двигаться, поднимались на ноги и разгуливали по лагерю. Кое-кто подходил к проволоке ближе, чем разрешалось — так близко, что часовые, будь они на месте, давно бы уже открыли огонь. Они находили в этом особое удовлетворение. Это казалось ребячеством, но это было не ребячество. Они бродили, осторожно переставляя свои ходули; многие качались из стороны в сторону, и им приходилось держаться друг за друга. Головы поднялись выше, зияющие на бескровных, изможденных лицах глаза, всегда прикованные к земле и погруженные в пустоту, вновь обрели способность видеть. У каждого шевельнулось в мозгу что-то уже почти совсем забытое, что-то пока еще безымянное, но ошеломляющее и мучительно-волнующее. Они бродили по плацу, мимо штабелей трупов, мимо кучек уже безучастных ко всему товарищей, которые или умирали, или могли лишь чуть заметно шевелиться и думать о еде — призрачный променад скелетов, в которых еще, несмотря ни на что, теплилась искра жизни.

Закат погас. Тени, набрякнув в долине, поднялись, словно черная вода, и затопили вершины холмов. Сторожевые вышки были по-прежнему пусты. Ночь тяжело нависла над лагерем. Больше не явился на вечернюю поверку. Левинский принес новости: в казармах полным ходом идут сборы: приход американцев ожидается через день или два; отправки партии заключенных завтра утром не будет; Нойбауер укатил в город. Левинский растянул губы в ухмылке.

— Теперь уже недолго! Мне нужно обратно!

Он ушел, захватив с собой троих из тех, что прятались в Малом лагере.

Все вокруг опять замерло. Ночь была огромная и звездная.

Глава двадцать четвертая

Шум начался под утро. Вначале 509-й услышал крики. Они доносились откуда-то издалека сквозь гулкую предутреннюю тишину. Это были не крики истязаемых. Это горланили пьяные эсэсовцы.

Затрещали выстрелы. 509-й нащупал свой револьвер, который он прятал под рубахой. Он никак не мог разобраться, стреляют ли только эсэсовцы, или это уже перестрелка между ними и людьми Вернера. Через некоторое время залаял ручной пулемет.

509-й подполз к куче трупов и стал наблюдать из-за нее за воротами Малого лагеря. Было еще темно; рядом с кучей беспорядочно валялось еще несколько мертвых «мусульман», и 509-й мог легко притвориться одним из них.

Крики и стрельба стали вдруг быстро приближаться. 509-й еще ближе придвинулся к спасительным трупам. Он видел, как в темноте плюется красным пламенем заика-пулемет. Повсюду слышны были глухие шлепки пуль. С полдюжины эсэсовцев шли по главной дорожке, стреляя по баракам направо и налево. Время от времени шальные пули мягко влипали в штабеля трупов. 509-й все глубже втискивался в землю, словно стараясь слиться с ней.

Со всех сторон поднимались, словно испуганные птицы, спавшие снаружи заключенные. Они растерянно топтались на месте, размахивая крыльями рук.

— Ложись! — крикнул 509-й. — Ложись! Притворяйтесь мертвыми! Не шевелитесь!

Кое-кто послушно повалился на землю; другие проковыляли к своим баракам и столпились у дверей. Но большинство осталось лежать на своих местах.

Эсэсовцы миновали уборную и теперь направлялись прямо в Малый лагерь. Ворота распахнулись. 509-й видел темные силуэты и искаженные лица в частых всплесках огня из пистолетных стволов.

— Сюда! — кричал кто-то. — К деревянным баракам! Надо помочь нашим друзьям огоньком! А то они, наверное, замерзли! Сюда!

— Давай! Вот здесь! Давай, Штайнбреннер! Тащите сюда канистры!

509-й узнал голос Вебера.

— Да тут целая компания, перед дверью! — крикнул Штайнбреннер.

Ручной пулемет плюнул несколько раз в темную кучу людей под дверью барака, и она медленно опустилась на землю.

— Вот так! Хорошо! А теперь давай!

509-й услышал бульканье, как будто лилась вода через узкое горлышко. Потом увидел темные канистры, которыми размахивали эсэсовцы и из которых на стены бараков выплескивались жидкость. Вскоре он почувствовал запах бензина.

Веберовская гвардия отмечала прощание с лагерем. В полночь поступил приказ об отходе. Основные силы вскоре ушли. У Вебера же и его банды еще остался запас шнапса, и они быстро перепились. Они не желали уходить так просто и решили напоследок провести еще один боевой рейд по лагерю. Вебер приказал захватить с собой канистры с бензином. Они хотели устроить такой прощальный салют, который бы еще долго помнили в этих местах.

Каменные бараки им пришлось оставить в покое. Зато польские деревянные бараки были именно тем, что они искали.

— Внимание — фейерверк! — крикнул Штайнбреннер. — Давай!

Вспыхнула спичка; от нее случайно загорелась и вся коробка. Эсэсовец, державший коробку в руке, бросил ее на землю. Другой бросил горящую спичку в канистру, которая стояла у стены барака. Она погасла. Но от красного язычка первой спички по земле к бараку побежала

жиденькая голубая полоска. Вскарабкавшись на стену, она вдруг брызнула веером в обе стороны, и стена словно покрылась дрожащей голубой занавеской. В первое мгновение это зрелище казалось вполне безобидным — это было похоже на холодный электрический разряд, легкий, воздушный, который вот-вот погаснет. Но потом послышалось потрескивание, и на голубой трепещущей занавеске заплясали желтые, искристые зерна огня в форме пузатых сердечек.

Дверь барака приоткрылась.

— В расход всех, кто вылезет! — скомандовал Вебер.

Вскинув пулемет, зажатый под мышкой, он дал короткую очередь. Темная фигура в дверях повалилась назад. «Бухер... — мелькнуло у 509-го в голове. — Или Агасфер. Они спали у самого входа». Какой-то эсэсовец выскочил вперед, отшвырнул в стороны несколько мертвых скелетов, лежавших перед входом, захлопнул дверь и отпрыгнул назад.

— Вот теперь можно начинать! Охота на зайцев!

Огонь уже вздымался мощными столбами. Сквозь рев эсэсовцев слышны были крики заключенных. Открылась дверь соседней секции. Из нее посыпались люди. Рты их напоминали огромные черные дыры. Затрещали выстрелы. Никто не ушел дальше порога. Они лежали перед входом, конвульсивно подрагивая, словно куча полураздавленных пауков.

До этого 509-й лежал неподвижно, словно окаменев. Теперь же он осторожно выпрямился. На фоне пламени он отчетливо увидел силуэты эсэсовцев. Он увидел Вебера, который стоял, широко расставив ноги. «Спокойно... — сказал он себе самому, дрожа всем телом, всем своим существом. — Спокойно! Все по порядку». Он достал из-под рубахи револьвер. На несколько секунд до него донеслись сквозь пьяный рев эсэсовцев и гудение огня крики заключенных. Это были отчаянные, нечеловеческие крики. Не раздумывая, он прицелился Веберу в спину и нажал на спусковой крючок.

Он не слышал выстрела среди других выстрелов и не видел, чтобы Вебер падал. И вдруг ему пришло в голову, что он не почувствовал отдачи при нажатии на спуск. Ему словно ударили молотком в самое сердце. Пистолет дал осечку.

Он не замечал, что прокусил себе губу. Сознание бессилия обрушилось на него, словно ночь. Он все кусал и кусал свои губы, чтобы не провалиться в черный туман. Отсырел, наверное. Все, теперь это — кусок железа. Слезы, привкус соли на губах, ярость, последнее прикосновение руки к гладкому металлу, без всякой надежды, — и вдруг спасительное чудо! Дрожащие пальцы наткнулись на крохотный рычажок, подавшийся их нажиму: пистолет не был снят с предохранителя.

Ему повезло. Никто из эсэсовцев не оборачивался. Они не ожидали никакой опасности с этой стороны. Они стояли и что-то кричали, держа под обстрелом двери барака. 509-й поднес револьвер к глазам и убедился, используя пляшущие отблески огня на черном металле, что теперь он снят с предохранителя. Руки его все еще тряслись. Он прислонился грудью к куче трупов, уперся в нее локтями, чтобы удобнее было стрелять. Потом прицелился обеими руками. Вебер стоял примерно в десяти шагах от него. 509-й несколько раз вдохнул, после этого задержал дыхание, напряг руки, чтобы хоть на несколько секунд унять дрожь, и медленно согнул указательный палец правой руки.

Выстрела не было слышно. Но на этот раз он почувствовал сильную отдачу. Он выстрелил еще раз. Вебер дернулся вперед, изумленно полуобернувшись, и упал на колени. 509-й продолжал стрелять. Он целился во второго эсэсовца с ручным пулеметом. У него уже давно кончились патроны, а он все еще продолжал нажимать на курок. Эсэсовец с пулеметом так и не упал. 509-й постоял с минуту, расслабив руку, сжимавшую пистолет. Он ожидал, что его тут же расстреляют. Но из-за шума и пальбы никто ничего не заметил. Он опустил на землю рядом с кучей трупов.

В это мгновение кто-то из эсэсовцев посмотрел на Вебера.

— Эй! — крикнул он. — Штурмфюрер!

Вебер стоял сбоку, чуть позади остальных, и они не сразу обратили на него внимание.

— Штурмфюрер! Что случилось?

— Да он ранен!

— Кто это умудрился? Кто из вас?

— Штурмфюрер!

Им не пришло в голову, что Вебера могла ранить не только шальная пуля.

— Черт побери! Какой же идиот...

Вновь затрещали выстрелы. На этот раз в рабочем лагере. Там видны были даже всплески дульного пламени.

— Американцы! — крикнул вдруг кто-то из эсэсовцев. — Сматываемся! Живо!

Штайнбреннер дал очередь в сторону уборной.

— Сматываемся! Направо! Через плац! — командовал кто-то. — Быстрее! Пока они нас не отрезали!

— А штурмфюрер?

— Мы же не можем тащить его с собой!

Всплески огня приближались со стороны уборной.

— Быстрее! Быстрее!

Эсэсовцы, отстреливаясь, бросились в обход горящего барака. 509-й поднялся и тяжело, спотыкаясь и падая, пошел к бараку.

— Выходите! Выходите! Они ушли! — крикнул он, распахнув дверь.

— Они еще стреляют!

— Это наши! Выходите! Выходите!

Он проковылял к следующей двери и попытался растащить в стороны лежавшие у порога тела.

— Выходите! Выходите! Они ушли!

Люди ринулись наружу, спотыкаясь о трупы у порога. 509-й на ощупь, по стенке, двинулся дальше. Дверь секции «А» уже горела. Он не мог подойти к ней. Он стоял и кричал сквозь шум и стрельбу; кусок горящего дерева с крыши упал ему на плечо, он повалился наземь, с трудом поднялся, качаясь из стороны в сторону, потом почувствовал сильный удар и пришел в себя уже на земле. Он попробовал встать, но не смог. Откуда-то издалека, как сквозь толщи воды, до него донеслись чьи-то крики, а люди, которых теперь вдруг стало так много, — не эсэсовцы, а заключенные, несущие мертвых и раненых, — казались совсем крохотными. Они спотыкались об него. Он отполз в сторону. Он ничего больше не мог сделать. Он вдруг почувствовал смертельную усталость. Ему не хотелось мешаться под ногами. Во второго он так и не попал. Может быть, и Вебера он только ранил. Все оказалось зря. Он проворонил свой шанс.

509-й пополз дальше. Вскоре он поравнялся с кучей трупов. Вот самое подходящее место для него! Его жизнь не стоила и гроша ломаного. Бухер мертв. Агасфер тоже. Надо было доверить это Бухеру. Отдать ему пистолет. Было бы больше толку. Сам он оказался ни на что не годным скелетом.

Он устало прислонился к трупам. Что-то причиняло ему боль. Он пощупал рукой грудь и поднес ладонь к глазам. Она была в крови. Это не произвело на него никакого впечатления. Он больше не был самим собой. Он просто пока еще чувствовал жару и слышал крики. Потом все это вдруг поплыло прочь, быстро отдаляясь от него.

Он пришел в себя. Барак все еще горел. Пахло сгоревшим деревом, паленым мясом и

разложением. Жар от пылающего барака разогрел трупы, которые лежали здесь уже несколько дней, и они потекли и завоняли.

Жуткие крики смолкли. Нескончаемая процессия заключенных уносила своих спасенных товарищей, обгоревших и раненых. 509-й вдруг услышал голос Бухера. Значит, он не погиб. Значит, не все было напрасно. Он огляделся вокруг. Прямо перед ним что-то шевельнулось. Он не сразу сообразил, что это было. Это был Вебер.

Он лежал на животе. Ему удалось отползти за кучу трупов, прежде чем появился Вернер со своими людьми. Они не заметили его. Он лежал, подтянув ногу и разбросав в стороны руки. Из рта у него шла кровь. Он был еще жив.

509-й попытался поднять руку. Он хотел кого-нибудь позвать, но у него не хватило на это сил. В горле у него пересохло. Вместо крика изо рта вырвался лишь храп. Да и треск пылающего барака поглощал все звуки.

Вебер заметил его движение. Он проводил глазами руку 509-го. Потом встретился с ним взглядом. Они смотрели друг на друга в упор.

509-й не знал, вспомнил ли Вебер его лицо. Он напрасно силился понять, что говорили эти глаза напротив. Он просто почувствовал вдруг, что обязательно должен увидеть, как померкнут эти глаза. Он должен пережить Вебера. Это каким-то странным образом стало вдруг бесконечно важным — словно от того, протеплится ли жизнь в его глазах дольше, чем в глазах напротив, зависела истинность всего того, во что он на своем веку верил, за что боролся и страдал. Это был своеобразный поединок, «Божий суд». Если он сейчас выдержит, победит — значит, победит и то, ради чего он рисковал, считая это важнее жизни. Это было последнее усилие. Все зависело от него самого, и он должен был победить.

Он дышал осторожно, неглубоко, лишь до границы боли. Глядя на кровь, сочившуюся изо рта Вебера, он поднес руку к своим губам, чтобы узнать, не идет ли и у него кровь изо рта. На пальцах тускло блеснула какая-то влага, но он тут же сообразил, что это его прокушенная губа.

Вебер проводил глазами его руку. Потом взгляды их снова скрестились.

509-й попробовал думать; он хотел еще раз понять смысл и цель их поединка. Это должно было придать ему силы. Усталый мозг его еще понимал, что речь идет о чем-то самом простом в человеке, о чем-то, без чего мир был бы обречен на гибель. И благодаря чему могло быть уничтожено другое — абсолютное зло, антихрист, смертный грех. Преступление против духа. «Слова... — думал он. — Они почти ничего не выражают. Да и к чему они сейчас? Нужно просто выдержать. Нельзя умереть раньше, чем умрет оно. Вот и все».

Странно, что их никто не замечал. То, что никто не обратил внимания на него, ему было понятно. Вокруг валялось так много трупов. Но Вебер! Он лежал в тени, которую отбрасывала куча трупов, — вот, должно быть, почему ему удалось остаться незамеченным. Мундир был черным, а на сапоги не попадало света. И людей поблизости было не так уж много. Они стояли дальше. Стояли, молча уставившись на бараки. Стены в некоторых местах были выщерблены пулями. Вместе с этими стенами, свидетелями стольких смертей и страданий, горели имена и надписи.

Раздался оглушительный треск. Пламя взметнулось еще выше. Крыша барака рухнула внутрь, подняв в небо тучи искр. 509-й видел, как летели по воздуху горящие куски дерева. Казалось, будто они летят очень медленно. Один из них спланировал над самой кучей трупов, зацепился за чью-то ногу, перевернулся и упал на Вебера. Он упал ему на шею.

Лицо Вебера задрожало. От воротника его кителя повалил дым. 509-й мог дотянуться и сдвинуть горящую доску в сторону. По крайней мере ему казалось, что он мог это сделать. Он не знал точно, пострадало ли его легкое, и опасался, что от неосторожного движения у него может хлынуть горлом кровь. Но он не сделал этого движения совсем не поэтому. И не из мести.

Сейчас речь шла о чем-то более важном, чем месть. Тем более что это была бы слишком ничтожная месть.

Руки Вебера шевелились. Голова подрагивала. Доска продолжала гореть. Вскоре занялось сукно мундира. На плечах Вебера заплясали маленькие язычки пламени. Он пошевелил головой, и доска сползла еще дальше вперед. Сразу же вспыхнули волосы. Доска зашипела. Огонь уже лизал уши и голову. 509-й теперь отчетливо видел глаза Вебера. Они, казалось, выступили из орбит. Из рта упругими толчками била кровь. Губы беззвучно шевелились. Все заглушал треск догорающего барака.

Голова теперь была совершенно голой и черной. 509-й не сводил с нее глаз. Доска медленно догорела. Кровь остановилась. Все вокруг словно куда-то провалилось. Не осталось ничего, кроме этих глаз. Мир сократился до размеров двух человеческих глаз. Они должны были померкнуть.

509-й не знал, сколько времени прошло — несколько минут или несколько часов, — но руки Вебера вдруг как будто вытянулись, оставаясь на самом деле неподвижными. Вслед за этим глаза изменились и перестали быть глазами. Это были уже просто две водянисто-прозрачные пуговицы. 509-й еще выждал немного. Потом осторожно оперся на локоть, чтобы продвинуться вперед — прежде чем прекратить борьбу, он должен был убедиться, что Вебер мертв. Теперь у него только в голове еще оставалось ощущение твердости — тело уже давно было невесомым и в то же время набухшим всей тяжестью земли. Оно больше не слушалось его.

Он медленно подался вперед и ткнул пальцами в глаза Вебера. Они не реагировали. Вебер был мертв. 509-й попытался выпрямиться и сесть, но теперь у него не хватало сил даже на это. От напряжения случилось то, чего он опасался: откуда-то из глубины, словно из самой земли, вдруг поднялось и тяжело выплеснулось наружу что-то теплое. Кровь пошла легко и безболезненно. Она хлынула прямо на голову Вебера. Казалось, она шла не только изо рта, но изо всего тела — назад, в землю, из которой она била мягким, упругим ключом. 509-й не старался сдерживать ее. Руки его стали ватными. В тумане он вдруг увидел огромную фигуру Агасфера на фоне барака. «Значит, он все-таки не...» — успел он подумать; потом земля, на которую он опирался, превратился в зыбкую трясицу, и он быстро пошел ко дну.

Они нашли его лишь час спустя. Они хватились его сразу же, как только улеглось первое волнение, и начали поиски. Наконец, Бухеру пришлось в голову еще раз посмотреть у самого барака, и вскоре он обнаружил его за кучей трупов.

Подошли Левинский и Вернер.

— 509-й мертв, — сообщил им Бухер. — Застрелен. И Вебер тоже. Они лежат вместе вон там.

— Застрелен? Он что, был на улице?

— Да. Он как раз был снаружи.

— А пистолет у него был с собой?

— Да.

— И Вебер тоже мертв? Значит, это он застрелил Вебера, — решил Левинский.

Они приподняли 509-го и бережно положили его на землю. Потом перевернули на спину Вебера.

— Да, — сказал Вернер, — похоже на то. Две пулевые раны на спине.

Он посмотрел по сторонам и заметил револьвер.

— Вот он. — Он поднял его. — Пустой. Он стрелял из него.

— Надо унести его отсюда, — сказал Бухер.

— Куда? Кругом полно мертвых. Около семидесяти человек сгорело. Больше сотни

раненых. Пусть пока полежит здесь, потом видно будет. — Вернер посмотрел на Бухера отсутствующим взглядом. — Ты что-нибудь понимаешь в автомобилях?

— Нет.

— Нам нужно... — Вернер оборвал сам себя. — Хотя что я болтаю! Вы же из Малого лагеря. Нам еще нужно найти людей для грузовиков. Пошли, Левинский!

— Сейчас. Чертовски жаль этого малого.

— Да...

Они отправились в сторону Большого лагеря. Левинский через несколько шагов остановился и еще раз посмотрел назад. Потом поспешил за Вернером. Бухер остался один. Утро было серым. Остатки барака все еще догорали. «Семьдесят человек сгорело... — думал Бухер. — Если бы не 509-й, их было бы больше».

Он долго стоял рядом с лежавшим на земле 509-м. Тепло от барака оведало его, словно искусственное лето. Но он не чувствовал этого тепла. 509-й мертв. Ему казалось, будто погибло не семьдесят, а несколько сотен человек.

Старосты быстро приняли на себя руководство лагерем. В обед уже работала кухня. Заключенные, вооружившись, охраняли ворота, на тот случай, если эсэсовцам придет в голову вернуться. Был образован и начал работу комитет из представителей всех блоков и сформирована команда, которая должна была как можно скорее обеспечить реквизицию продуктов в окрестных деревнях.

— Я вас сменю, — раздался чей-то голос.

Бергер поднял голову. Он так устал, что смысл слов уже не доходил до его сознания.

— Укол, — произнес он и вытянул вперед руку. — Иначе я свалюсь. Я уже ничего не вижу.

— Я немного поспал, — откликнулся тот же голос. — И теперь могу вас сменить.

— У нас кончаются анестезирующие средства. Они нам просто необходимы. Из города еще не вернулись? Мы посылали людей в госпитали.

Профессор Свобода из Брюнна, заключенный из чешского барака, наконец, понял, что происходит: перед ним был смертельно уставший автомат, который по инерции продолжал работать.

— Вам необходимо поспать, — повторил он громче.

Бергер замигал своими воспаленными глазами.

— Да-да, — пробормотал он и вновь склонился над чьим-то обгоревшим телом.

Свобода взял его за руку.

— Спать! Я вас подменю! Вам нужно спать!

— Спать?

— Да, спать.

— Хорошо, хорошо. Барак... — Бергер на какое-то мгновение пришел в себя. — Сгорел барак.

— Идите на вещевой склад. Там для нас поставили несколько коек. Идите туда и поспите. Я разбужу вас через пару часов.

— Часов? Да если я только лягу, меня уже будет не разбудить. Мне надо еще... мой барак... я должен их...

— Уходите же, наконец! — потерял терпение Свобода. — Вы уже и так много сделали.

Он подозвал одного из помощников.

— Отведите его на вещевой склад. Там для врачей поставили несколько коек. — Он взял Бергера за руку и повернул его к двери.

— 509-й... — произнес Бергер в полусне.

— Да, да, хорошо, — ответил Свобода, который ничего не понял. — Конечно. 509-й. Все в порядке.

Помощник снял с него халат и вывел его из комнаты. Бергер не сопротивлялся. Свежий воздух обрушился на него, как тяжелый водопад. Он зашатался и остановился. Водопад продолжал реветь у него в ушах.

— Боже мой, я же оперировал, — пробормотал он и уставился на помощника.

— Конечно, — ответил тот. — А что же ты еще мог делать?

— Я оперировал, — повторил Бергер.

— Ну конечно! Сначала ты делал перевязки и смазывал маслом или чем-то там еще, а потом вдруг взялся за нож и пошел орудовать. За это время тебе сделали два укола и влили четыре чашки какао. Ты им здорово пригодился — с такой оравой им без тебя было бы не управиться!

— Какао?

— Да. Для себя эти друзья ничего не жалели. Чего у них только не было — какао, масло и бог знает что еще!

— Оперировал. В самом деле оперировал... — прошептал Бергер.

— Да еще как! Я бы никогда не поверил, если бы не увидел этого своими глазами. При твоём-то весе! Но сейчас тебе нужно на боковую. Будешь спать, как король, на настоящей койке. Какого-нибудь шарфюрера! Пошли.

— А я думал...

— Что?

— Я думал, что уже никогда не смогу...

Бергер посмотрел на свои руки, повернул их ладонями кверху, затем бессильно опустил вниз.

— Да, — проговорил он, — спать...

День выдался серый. Возбуждение росло. Бараки гудели, словно ульи. Это было странное состояние — состояние неопределенности, какой-то непонятной свободы за колючей проволокой, полной надежд, слухов и напряженного, темного страха. В любой момент могли появиться эсэсовские команды или отряды гитлерюгенд. Все найденное на складе оружие было распределено между заключенными, но две-три роты солдат могли бы навязать лагерю тяжелый бой, а двух-трех орудий хватило бы, чтобы не оставить от него камня на камне.

Мертвых собрали и свезли в крематорий. Другой возможности не было: трупы сложили друг на друга, как дрова. Лазарет был переполнен.

После обеда над городом вдруг показался самолет. Он выполз из-за низких облаков.

Заключенные пришли в смятение.

— На плац! Все, кто может ходить, — на плац!

Из облаков вывалились еще два самолета. Они описали круг и присоединились к первому.

Моторы ревели. Тысячи глаз были прикованы к небу.

Самолеты быстро приближались. Старосты привели часть людей из рабочего лагеря на плац и выстроили их в две длинные шеренги, образующие огромный крест. По четыре человек на каждом конце креста размахивали белыми простынями, которые притащил из казармы Левинский.

Самолеты уже кружили над лагерем. С каждым кругом они опускались все ниже.

— Смотрите! — крикнул вдруг кто-то. — Крылья! Опять!

Заключенные махали простынями. Они махали руками, они кричали сквозь рев моторов. Многие, сорвав с себя куртки, вертели их над головой. Самолеты еще раз прошли над самыми крышами бараков, опять приветственно помахав крыльями, затем исчезли.

Толпа хлынула обратно в бараки. Все то и дело поглядывали в небо.

— Сало... — сказал вдруг кто-то. — После войны четырнадцатого года пошли посылки с салом, из-за океана...

И тут все неожиданно увидели на дороге, у подножия холма, первый американский танк, тяжелый, приземистый и страшный.

Глава двадцать пятая

Сад был залит серебристым светом. Остро пахло фиалками. Фруктовые деревья у южной стены, казалось, были облеплены розовыми и белыми мотыльками.

Альфред шел впереди, за ним трое американцев. Они старались ступать как можно тише. Альфред указал рукой на хлев. Американцы бесшумно рассредоточились.

Альфред распахнул дверь.

— Нойбауер, — произнес он негромко. — Вылезайте!

Из теплой темноты послышалось невнятное хрюканье.

— Что? Кто там?

— Вылезайте!

— Что? Альфред! Это ты, Альфред?

— Да.

Нойбауер опять хрюкнул.

— Чччерт! Ну я и дрыхнул! Снилось что-то... — Он откашлялся. — Сон какой-то дурацкий — ты мне не говорил «вылезайте»?

Один из солдат бесшумно вырос рядом с Альфредом. Вспыхнул карманный фонарик.

— Руки вверх! Выходите!

Бледный луч осветил полевою койку, на которой сидел полуодетый Нойбауер. Он вытаращился на свет фонаря, подслеповато моргая опухшими глазами.

— Что? — проскрежетал он, наконец. — Что это? Кто вы такие?

— Руки вверх! — повторил американец. — Ваша фамилия Нойбауер?

Нойбауер слегка приподнял руки и кивнул.

— Вы комендант концентрационного лагеря Меллерн?

Нойбауер опять кивнул.

— Выходите!

Заметив направленный на него черный зрачок автомата, Нойбауер встал и так резко вскинул вверх руки, что пальцы его ткнулись в низкую крышу сарая.

— Я не одет.

— Выходите!!

Нойбауер нерешительно приблизился, серый и заспанный. Он был в рубашке, галифе и сапогах. Один из солдат проворно обыскал его.

Нойбауер взглянул на Альфреда.

— Это ты привел их сюда?

— Да.

— Иуда!

— Вы не Христос, Нойбауер, — медленно произнес Альфред, — а я не нацист.

Американец, оставшийся в сарае, вернулся и отрицательно покачал головой.

— Вперед, — сказал другой, тот, что говорил по-немецки. Это был капрал.

— Я могу надеть свой китель? — спросил Нойбауер. — Он висит в сарае. За крольчатником.

Капрал помедлил немного, потом отправился в сарай и через минуту вернулся с пиджаком от штатского костюма.

— Нет, не этот, пожалуйста, — заявил Нойбауер. — Я солдат. Пожалуйста, мой китель.

— Вы не солдат.

Нойбауер растерянно заморгал.

— Это моя партийная форма.

Капрал еще раз скрылся в сарае и принес китель. Ощупав его, он протянул его Нойбауеру. Тот надел китель, застегнул его, расправил плечи и представился:

— Оберштурмбаннфюрер Нойбауер. К вашим услугам.

— Хорошо, хорошо. Вперед!

Они пошли через сад. Нойбауер заметил, что неправильно застегнул китель. Он расстегнул его на ходу и застегнул как следует. Все пошло наперекос в последний момент. Вебер, предатель, спалил барак, хотел подложить ему свинью. Он действовал самовольно, это легко будет доказать. Нойбауера вечером не было в лагере. Он обо всем узнал по телефону. И все же — чертовски неприятная история. Именно сейчас! А тут еще этот Альфред, второй предатель. Просто взял и не явился. И он остался без машины, на которой собирался бежать. Части уже отступили; в лес бежать было бы глупо, — и тогда он решил спрятаться в саду. Думал, что здесь им никогда не придет в голову искать его. Хорошо, что он успел сбрить гитлеровские усики. Но каков мерзавец, этот Альфред!

— Садитесь сюда. — Капрал указал ему на сиденье.

Нойбауер вскарабкался на машину. «Это, наверное, и есть то, что они называют джипом», — подумал он. Эти американцы вели себя вполне сносно. Даже корректно. Один из них, наверное, американский немец. Есть же, говорят, за границей какое-то немецкое братство — союз или что-то в этом роде.

— Вы хорошо говорите по-немецки, — начал он осторожно.

— Еще бы, — холодно ответил капрал. — Я из Франкфурта.

— О-о!.. — произнес Нойбауер.

День сегодня, похоже, и в самом деле пресквернейший. И кроликов кто-то украл. Когда он пришел в крольчатник, дверцы клеток были открыты. Дурное предзнаменование. Сейчас они уже, наверное, шипят на вертеле у какого-нибудь варвара.

Ворота лагеря были широко раскрыты. Над бараками развевались сшитые наспех флаги. Огромный громкоговоритель передавал какие-то объявления. Вернулся один из грузовиков, посланных за продуктами. В кузове у него стояли бидоны с молоком.

Джип, в котором привезли Нойбауера, остановился перед комендатурой. У входа американский полковник отдавал распоряжения своим офицерам. Нойбауер вылез из машины, одернул китель и шагнул вперед.

— Оберштурмбаннфюрер Нойбауер. К вашим услугам. — Он не вскинул руку, как при гитлеровском приветствии, а просто козырнул по-военному.

Полковник взглянул на капрала. Тот перевел.

— Is this the son of a bitch? — спросил полковник.

— Yes, Sir.

— Put him to work over there. Shoot him, if he makes a false move^[18].

Нойбауер напряженно вслушивался, пытаясь понять, о чем идет речь.

— Вперед! — скомандовал капрал. — Работать. Убирать трупы.

Нойбауер все еще не терял надежды.

— Я офицер, — пролепетал он. — В чине полковника.

— Тем хуже для вас.

— У меня есть свидетели! Я обращался с людьми гуманно! Спросите их!

— Я думаю, нам понадобится с полдюжины крепких парней, чтобы ваши люди не разорвали вас на куски, — ответил капрал. — Хотя я был бы только рад... Вперед! Живо!

Нойбауер метнул взгляд на полковника. Но тот уже забыл о нем. Он повернулся и покорно пошел вперед. Двое солдат шли по бокам, третий — сзади.

Через пару минут его узнали. Американцы насторожились. Они ожидали натиска заключенных и еще плотнее обступили Нойбауера. Его бросило в пот. Глядя прямо перед собой, он шагал так, словно торопился, но вынужден был идти медленно.

Но ничего не произошло. Заключенные останавливались и смотрели на Нойбауера. Они не бросались на него с кулаками. Они образовали для него коридор. Никто не приближался к нему. Никто не произносил ни слова. Никто не проклинал его. Никто не бросил в него камня. Никто не поднял на него дубинку. Они просто смотрели на него. Они образовали узкий коридор и неотрывно смотрели на него, на всем пути, до самого Малого лагеря.

Вначале Нойбауер облегченно вздохнул, потом его снова бросило в жар. Он что-то бормотал себе под нос, не поднимая глаз. Но он чувствовал прикованные к себе взгляды. Он ощущал их на своей коже, словно бесчисленные глазки в огромной двери тюремной камеры, как будто его уже упрятали за решетку и теперь сотни глаз наблюдали за ним с холодным вниманием.

Ему было уже невыносимо жарко. Он ускорил шаги. Глаза не отставали. Они еще крепче впивались в него. Он чувствовал их каждой клеткой. Это были пиявки, которые сосали из него кровь. Он передернулся, но их было не стряхнуть. Они прожигали кожу. Они всасывались в самые жилы.

— Я же... я же... — бормотал он. — Долг... Я же ничего не... я был всегда... Что им от меня надо?..

Он весь взмок, пока они добрались до того места, где еще совсем недавно стоял барак 22. Там уже работали шестеро ээсовцев, которых удалось поймать, и несколько капо. Поблизости стояли американские солдаты с автоматами в руках.

Нойбауер вдруг резко остановился. Он увидел на земле несколько черных скелетов.

— Что... что это?

— Не прикидывайтесь, — ответил ему капрал свирепо. — Это тот самый барак, который вы подожгли. Там, под обломками, еще по меньшей мере тридцать мертвецов. Вперед, искать кости!

— Я... этого... не приказывал...

— Разумеется.

— Меня здесь не было... Я ничего не знал. Это сделали другие, самовольно...

— Конечно. Как всегда — другие. А те, которые подошли здесь, как собаки, за все эти годы?

Это тоже не ваша работа? А?

— Я выполнял приказы. Долг...

Капрал повернулся к одному из стоявших рядом товарищей.

— Это теперь на несколько лет будут две любимые их фразы: «я выполнял приказ» и «я ничего не знал».

Нойбауер не слушал его.

— Я всегда старался сделать все, что было в моих силах...

— А это, — с горечью прибавил капрал, — будет третья отговорка... А ну живо!! — взорвался он неожиданно. — Работать! Откапывать трупы! Или вы думаете, это так легко — бороться с искушением переломать вам все кости?..

Нойбауер съежился и стал неуверенно копать среди обломков.

Их привозили на тележках, приносили на грубо сколоченных носилках или приводили, поддерживая со всех сторон. Их размещали в коридорах ээсовской казармы, снимали с них завшивевшие лохмотья, в которые они еще были одеты, и тут же сжигали это тряпье. После этого их отправляли в ваннные комнаты СС.

Многие не понимали, чего от них хотят. Они тупо сидели или лежали в проходах. Лишь когда через открытые двери повалили первые клубы пара, некоторые из них ожили. Они захрипели и испуганно поползли прочь.

— Купаться! Купаться! — кричали им товарищи. — Вас будут купать!

Это не помогало. Скелеты отчаянно цеплялись друг за друга, хныкали и, как крабы, ползли к выходу. Это были те, для которых понятия «мыться» и «пар» были неразрывно связаны с газовыми камерами. Им показывали мыло и полотенца, но и это не помогало. Все это они уже видели. И мыло, и полотенца использовались для того, чтобы заманить заключенных в газовую камеру; обманутые, они так и умирали с мылом и полотенцем в руках. Лишь после того, как мимо них пронесли первую партию их уже выкупанных товарищей и те жестами и словами дали им понять, что никакого газа нет и их действительно выкупали в теплой воде, они наконец успокоились.

Пар клубился вдоль кафельных стен. Теплая вода ласкала, словно теплые ладони. Они лежали в ней, и их тонкие, как спички, руки с непомерно толстыми суставами поднимались и блаженно плюхались обратно в воду. Застарелые корки грязи постепенно размокали. Мыло, скользя по истонченной от голода коже, освобождало ее от грязи, тепло проникало все глубже, доходило до самых костей. Теплая вода — они давно уже забыли, что это такое. Они лежали в ней, удивляясь и радуясь непривычному ощущению, и для многих это ощущение стало первым шагом к осознанию вновь обретенной свободы и спасения.

Бухер сидел рядом с Лебенталем и Бергером. Они словно насквозь пропитались теплом. Это было животное счастье. Счастье второго рождения. Это была жизнь, воскрешенная теплом; она вновь вернулась в истомившиеся, изголодавшиеся клетки и растопила заледеневшую кровь. Это было счастье, которое должно испытывать засохшее и неожиданно вновь зазеленевшее растение. Эта вода была жидким солнцем, нежно обволакивающим и оживляющим зародыши, которые считались погибшими. Вместе с корками грязи, покрывавшими кожу, отделялись и корки грязи, наростшие на душе. Они физически ощущали свою защищенность. Защищенность в самом простом — в тепле. Как пещерные люди перед первым костром.

Им выдали полотенца. Вытираясь, они с удивлением рассматривали свою кожу. Она все еще была бледной и пятнистой от голода, но им она казалась белоснежной.

Им выдали чистую одежду со склада. Прежде чем надеть, они ощупывали и с любопытством вертели ее в руках. Потом их повели в другое помещение. Купание оживило и в то же время страшно утомило их. Они покорно плелись туда, куда их вели, сонные и уже готовые поверить в любое другое чудо.

Вид настоящих постелей почти не произвел на них впечатления. Посмотрев на длинные ряды коек, они хотели было идти дальше.

— Здесь, — сказал американец, который их сопровождал.

Они в недоумении уставились на него.

— Для нас?..

— Да. Спать.

— По сколько человек?

Лебенталь показал на ближайшую койку, потом на себя и Бухера и спросил:

— Два?

Потом показал на Бергера и поднял три пальца.

— Или три?

Американец ухмыльнулся. Взяв Лебенталья за плечи, он насильно, с ласковой категоричностью, усадил его на первую койку, затем таким же способом отправил Бухера на вторую, Бергера на третью и, наконец, Зульцбахера на четвертую койку.

- Вот так, — сказал он.
- Каждому по койке!
- С одеялом!
- Я сдаюсь, — заявил Лебенталь. — Здесь еще и подушки!

Им удалось раздобыть гроб. Это был легкий черный ящик средних размеров, но для 509-го он оказался слишком широким. В него свободно можно было положить еще кого-нибудь. Впервые за все время, проведенное 509-м в лагере, ему отвели так много места одному.

Могилу вырыли на том месте, где стоял барак 22. Они решили, что это самое подходящее место для него. Был уже вечер, когда они принесли его туда. На влажном небе смутно желтел месяц. Несколько человек из рабочего лагеря помогли им опустить гроб в яму.

У них была маленькая лопатка. Каждый подходил к краю могилы и бросал в нее немного земли. Агасфер подошел слишком близко и соскользнул вниз. Они вытащили его. Еще несколько заключенных помогали им зарывать могилу.

Потом они отправились назад. Розен нес лопатку. Ее нужно было вернуть. Они поравнялись с барак 20. Оттуда как раз выносили очередной труп. Его несли двое эсэсовцев. Розен остановился прямо перед ними. Они хотели обойти его. Первым шел Ниманн, мастер «обезболивающих» уколов. Американцы поймали его где-то за городом и вернули в лагерь. Это был тот самый шарфюрер, от которого 509-й спас Розена. Розен сделал шаг назад, поднял лопатку и ударил ею Ниманна в лицо. Он замахнулся еще раз, но тут подоспел американский солдат, охранявший эсэсовцев, и осторожно отнял у него лопатку.

— Come, come — we'll take care of that later^[19].

Розена трясло. Ниманну досталось несильно: лопатка лишь скользнула по лицу, слегка содрал кожу. Бергер взял Розена за руку.

— Пошли. Ты слишком слаб для этого.

Розен разрыдался. Зульцбахер взял его за другую руку.

— Они будут судить его, Розен. За все.

— Убивать! Их надо убивать! Иначе ничего не поможет! Они будут приходить снова и снова!

Бергер и Зульцбахер повели его прочь. Американец отдал лопатку Бухеру, и все двинулись дальше.

— Смешно... — произнес Лебенталь через некоторое время. — Это ведь ты всегда говорил, что не желаешь никакой мести...

— Оставь его, Лео.

— Ладно, ладно, не буду.

Каждый день заключенные покидали лагерь. Иностранцев невольников, которые были здоровы и могли ходить, отправляли группами. Часть поляков решила остаться. Они не хотели в русскую оккупационную зону. В Малом лагере все было слишком слабо; им нужно было еще набираться сил. К тому же многие не знали, куда идти. Семьи их погибли или были рассеяны по свету; добро разграблено; родные места превращены в пустыню или пожарище. Они были свободны, но не знали, что делать со своей свободой. Они оставались в лагере. У них не было денег. Они помогали чистить бараки. Они теперь сытно ели, хорошо спали. Они ждали. И объединялись в группы.

Это были те, кто знал, что их уже никто нигде не ждет. Но были и другие, которые еще не желали в это верить. Они отправлялись на поиски. Каждый день кто-то из них пускался в путь, вниз, в долину, со справкой управления гражданской службы и военной администрации лагеря в

руках — чтобы получать продовольственные карточки — и двумя-тремя полустертыми датами в сердце.

Все получилось не так, как многие это себе представляли. Перспектива освобождения была чем-то таким гигантским и непостижимым, что большинство даже не пыталось заглянуть дальше в будущее. И вот свобода неожиданно наступила, и за ней они вопреки ожиданиям не увидели эдема, полного радостей, чудесных встреч, окончания всех разлук и волшебного возвращения всех прожитых здесь лет в счастливую эпоху, которая предшествовала неволе, — она наступила, и по одну сторону ее простирался мрак одиночества, печальных воспоминаний и отчаяния, а по другую — пустыня и крохотный светлячок надежды. Они спускались в долину, и все, на что они надеялись, были названия двух-трех населенных пунктов и других лагерей, несколько имен, да еще какое-то зыбкое, неопределенное «может быть». Каждый надеялся отыскать лишь одного или двух близких людей; найти всех — не решался мечтать почти никто.

— Лучше всего уйти сразу, как только почувствуешь немного силы, — сказал Зульцбахер. — Ничего не изменится. Чем дольше вы здесь просидите, тем тяжелее будет уходить. Не успеешь оглянуться, как окажешься в другом лагере — для тех, кому некуда идти.

— Ты думаешь, что уже достаточно окреп?

— Я поправился на десять фунтов.

— Это мало.

— Я пойду не спеша, осторожно.

— А куда ты думаешь податься? — поинтересовался Лебенталь.

— В Дюссельдорф. Попробую разыскать жену...

— Как же ты туда доберешься? Туда что, ходят поезда?

Зульцбахер поднял плечи.

— Не знаю. Тут есть еще двое, им в ту же сторону, в Золинген и Дуйсбург. Вместе как-нибудь доберемся.

— Это твои старые знакомые?

— Нет. Но и то хорошо, что хоть кто-то будет рядом.

— Это верно.

— Вот и я говорю.

Он долго тряс всем руки.

— А еда на дорогу у тебя есть? — спросил Лебенталь.

— На два дня хватит. А потом будем обращаться к американским властям. Как-нибудь доберемся.

Он пошел со своими двумя земляками, из Золингена и Дуйсбурга, вниз, по тропинке, ведущей в долину. Через некоторое время он обернулся, помахал им и пошел дальше, уже больше не оглядываясь.

— Он прав, — произнес Лебенталь. — Я тоже уйду. Сегодня я уже буду ночевать в городе. Мне нужно поговорить с одним человеком, который будет моим компаньоном. Мы хотим открыть свое дело. У него капитал, у меня — опыт.

— Хорошо, Лео.

Лебенталь достал из кармана пачку американских сигарет и угостил всех.

— Это будет шикарный бизнес, — заявил он. — Американские сигареты. Как после первой мировой. Нужно только вовремя начать. — Он посмотрел на пеструю пачку. — Лучше всяких денег, можете мне поверить.

— Лео, — улыбнулся Бергер. — Ты у нас в полном порядке.

Лебенталь недоверчиво покосился на него.

— Я никогда и не говорил, что я идеалист.

— Не обижайся. Я это так, без всякой задней мысли. Если бы не ты, мы все уже столько раз могли бы загнуться, что...

Лебенталь польщенно улыбнулся.

— Как говорится, что было в моих силах... Всегда хорошо иметь под боком практичного человека, который кое-что понимает в коммерции. Если я для вас что-нибудь могу сделать... Бухер, а ты что думаешь? Ты остаешься?

— Нет. Я жду, пока Рут немного окрепнет.

— Хорошо. — Лебенталь вынул из кармана американскую авторучку и написал что-то на клочке бумаги. — Вот мой адрес в городе. На всякий пожарный...

— Откуда у тебя авторучка? — удивился Бухер.

— Выменял. Американцы все, как сумасшедшие, ищут какие-нибудь сувениры, на память о лагере.

— Что?

— Собирают сувениры. На память. Пистолеты, кинжалы, значки, плетки, флаги — все подряд. Это тоже неплохой бизнес. Я быстро смекнул, что к чему. И хорошенько запасся этим добром.

— Лео, — сказал Бергер. — Как хорошо, что ты есть.

Лебенталь спокойно кивнул.

— Ты пока остаешься здесь?

— Да, я пока остаюсь.

— Ну тогда мы еще не раз увидимся. Жить я буду в городе, а сюда буду приходить есть.

— Я так и понял.

— Конечно. Сигареты у тебя еще есть?

— Нет.

— Держите. — Лебенталь протянул Бергеру и Бухеру по нераспечатанной пачке.

— А что у тебя еще есть? — спросил Бухер.

— Консервы. — Лебенталь посмотрел на часы. — Мне пора...

Он достал из-под своей койки новенький американский плащ и не спеша надел его. Никто уже не спрашивал, откуда у него плащ. Если бы у него вдруг оказался еще и собственный автомобиль, их бы это уже не удивило.

— Не потеряйте адрес, — сказал Лебенталь, обращаясь к Бухеру. — Было бы обидно, если бы мы больше никогда не увиделись.

— Мы не потеряем его.

— Мы уходим вместе, — сказал Агасфер. — Я и Карел.

Они стояли перед Бергером.

— Побыли бы еще пару недель, — ответил он. — Вы же совсем слабые.

— Мы хотим уйти отсюда.

— Вы хоть решили, куда?

— Нет.

— Почему же вы хотите уйти?

Агасфер сделал неопределенный жест.

— Мы провели здесь слишком много времени.

На нем была старинная черно-серая крылатка с огромным, по самые локти, как у кучера, воротником. Ее раздобыл для него Лебенталь, который уже приступил к своей коммерческой деятельности. Костюм Карела представлял собой сложную комбинацию разных видов американской военной формы.

— Карелу пора, — сказал Агасфер.

Подошел Бухер. Он с любопытством осмотрел Карела с ног до головы.

— Это еще что за наряд?

— Американцы берут его с собой. Его усыновил тот полк, который первым пробился сюда.

Они прислали за ним джип. И меня немного подвезут.

— Тебя они тоже усыновили?

— Нет. Они просто подвезут меня немного.

— А потом?

— Потом? — Агасфер окинул взглядом долину. Плащ его развеялся на ветру. — Есть еще так много других лагерей, в которых у меня были знакомые...

«Лебенталь одел его мудро, — думал Бергер, глядя на Агасфера. — Выглядит, как заправский пилигрим. И пойдет он теперь от одного лагеря к другому. От одной могилы к другой. Только могила для заключенного — это слишком большая роскошь. Что же он собирается искать?»

— Знаешь, — пояснил Агасфер, — иногда в дороге неожиданно встречаешь тех, кого и не надеялся встретить.

— Да, старик.

Они долго смотрели им вслед.

— Странно, что мы так просто расходимся в разные стороны, — медленно произнес Бухер.

— Ты тоже скоро уйдешь?

— Да. Мы не должны терять друг друга из вида.

— Должны, — возразил Бергер. — Должны.

— Мы обязательно должны еще когда-нибудь встретиться. После всего этого. Когда-нибудь.

— Нет.

Бухер поднял глаза.

— Нет, — повторил Бергер. — Мы не должны забывать этого. Но мы не должны и превращать это в культ. Иначе так навсегда и останемся в тени этих проклятых вышек.

Малый лагерь опустел. Его тщательно вычистили, а заключенных разместили в бараках рабочего лагеря и в казармах СС. Несмотря на пролитые реки воды, жидкого мыла и дезинфицирующих средств, здесь все еще господствовал запах смерти, грязи и человеческих страданий. Он был неистребим. В заборах из колючей проволоки повсюду были сделаны проходы.

— А ты не устанешь? — спросил Бухер.

— Нет, — ответила Рут.

— Ну тогда идем. Какой сегодня день?

— Четверг.

— Четверг... Хорошо, что дни теперь опять имеют названия. Здесь у них были только номера. С первого по седьмой. Все одинаковые.

Они уже получили в канцелярии свои документы.

— Куда же мы пойдем? — спросила Рут.

— Туда. — Бухер показал рукой в сторону холма, на котором белел маленький домик. — Давай сначала пойдем туда и посмотрим на этот дом. Он принес нам счастье.

— А потом?

— Потом? Потом можно вернуться обратно. Здесь нас кормят...

— Давай не будем возвращаться. Никогда.

Бухер удивленно посмотрел на нее.

— Хорошо. Подожди здесь. Я принесу наши вещи.

Вещей было немного; но они припасли в дорогу хлеба на несколько дней и две банки сгущенного молока.

— Мы правда уйдем? — спросила она.

Он прочел на ее лице напряженное ожидание.

— Да, Рут.

Они попрощались с Бергером и пошли к одному из проходов, врезанных в проволочное ограждение. Они уже не раз уходили за пределы лагеря, хоть и ненадолго, — но каждый раз, оставив позади колючую проволоку, они испытывали то же самое волнение. Им никак было не избавиться от ощущения, будто по проволоке все еще бежит невидимый, смертоносный ток, а на вышках по-прежнему стерегут свои жертвы хорошо пристрелянные к этой дорожке пулеметы. У них и в этот раз на секунду замерла в жилах кровь, когда они переступили границу лагеря. Но в следующее мгновение их уже принял огромный мир, которому не было конца и края.

Они медленно шли рука об руку. Стоял мягкий пасмурный день. Долгие годы им приходилось ползать, красться или бежать наперегонки со смертью. Теперь они шли, ни о чем не заботясь, спокойно, с поднятой головой, — и никакой катастрофы не происходило. Никто не стрелял им вслед. Никто не кричал. Никто не обрушивал на их головы дубинки.

— Это непостижимо, — произнес Бухер. — Уже в который раз, а все никак не привыкнуть.

— Да. Все еще как-то... страшновато.

— Не смотри назад. Ты хочешь оглянуться?

— Да. Шея сама так и поворачивается. Как будто кто-то сидит в голове и разворачивает ее назад.

— Давай попробуем забыть, не думать об этом. Сколько сможем.

— Давай.

Они прошли еще немного, пересекли какую-то дорожку, и перед ними раскинулся зеленый луг, слегка припорошенный желтизной примул. Они часто видели их сверху, из лагеря. Бухер на секунду вспомнил жалкие, полусохшие примулы Нойбауера, посаженные рядом с 22-м блоком. Он стяхнул с себя это воспоминание.

— Пойдем напрямик, через луг, — сказал он.

— Ты думаешь, можно?..

— Я думаю, нам теперь много чего можно. Тем более что мы ведь решили ничего не бояться.

Под ногами шелестела трава. Они чувствовали ее даже сквозь башмаки. И это ощущение тоже было непривычным. Привычной для их ног была лишь жесткая земля плаца.

— Давай пойдем налево, — предложил Бухер.

Они пошли налево. Проходя мимо куста орешника и почувствовав его прикосновение, они остановились, обошли вокруг него, раздвинули ветви, пощупали его листья и почки. И это тоже казалось им чудом.

— Теперь пошли направо, — сказал Бухер.

Они пошли направо. Они сейчас были похожи на детей, но их это мало заботило. Каждое движение, каждый шаг приносили им огромное удовлетворение. Они могли делать все, что им хотелось. Никто им больше ничего не приказывал. Никто не кричал и не стрелял. Они были свободны.

— Как во сне... — произнес Бухер. — Страшно только, что вдруг проснешься и окажешься в бараке, среди грязи и вони.

— Здесь совсем другой воздух! — Рут глубоко дышала. — Это живой воздух, понимаешь? Живой, а не мертвый...

Бухер внимательно смотрел на нее. Лицо ее немного размякло, глаза блестели.

— Да, это живой воздух. Он не воняет — он пахнет.

Они остановились у тополей.

— Мы можем посидеть здесь, — сказал он. — И никто нас не прогонит. Мы можем даже сплясать, если захотим.

Они сели под деревьями. Вокруг ползали жуки, порхали бабочки. В лагере они видели только крыс и синевато поблескивающих мух. Рядом журчал ручей. Он был прозрачным и звонким. В лагере воды постоянно не хватало. А здесь она просто струилась себе, и никому до нее не было дела. Теперь нужно было ко многому привыкать заново.

Они отправились дальше, вниз, по склону горы. Они не торопились, шли медленно, часто отдыхая. Добравшись до глубокой лощины, они наконец оглянулись и не увидели лагеря. Он скрылся из вида.

Они долго сидели и молчали. Лагерь исчез. Исчез и разрушенный город. Перед ними был только луг, а над лугом — мягкое небо. Теплый ветер ласкал их лица. Казалось, он дует сквозь черную паутину прошлого, словно стараясь оттолкнуть ее своими мягкими ладонями. «Так, наверное, и нужно начинать, — думал Бухер. — С самого начала. Не с воспоминаний, ожесточения и ненависти, а с самого простого. С чувства, что ты живешь. Живешь не вопреки чему-то, как в лагере, а просто — живешь». Он чувствовал, что это не бегство. Он знал, чего хотел от него 509-й: он должен был стать одним из тех, кто выстоит и не сломается, чтобы обличать и бороться. Но он вдруг почувствовал и то, что бремя ответственности, которую возложили на него мертвые, раздавит его, если он не сумеет сохранить это ясное, могучее чувство жизни. Только оно могло бы придать ему силы и в то же время не позволить ему ни забыть, ни погибнуть от воспоминаний. Об этом ему говорил и Бергер во время прощания.

— Руг, — произнес он, наконец, после долгого молчания. — Если человек начинает жизнь заново, с самого начала, как мы с тобой, то ведь впереди у него должна быть целая бездна счастья, а?

Сад стоял в цвету. Но, приблизившись к дому, они увидели, что прямо за ним взорвалась бомба. Она разрушила всю заднюю часть постройки. Целым и невредимым остался лишь фасад. Сохранилась даже резная наружная дверь. Они открыли ее. Но она вела к груде обломков.

— Значит, он никогда и не был домом. Все это время...

— Хорошо, что мы не знали об этом.

Они молча смотрели на то, что так долго считали домом. Все это время они верили, что пока он стоит, у них тоже все будет хорошо. Они верили в иллюзию. В руину с уцелевшим фасадом. В этом была и ирония, и какое-то странное утешение. Эта иллюзия помогла им выжить, а остальное не имело значения.

Трупов они нигде не обнаружили. Хозяева, по-видимому, покинули дом до того, как в него попала бомба. Чуть в стороне, посреди развалин, они наткнулись на покосившуюся дверь. За ней оказалась кухня.

Эта маленькая комнатка обвалилась лишь наполовину. Плита осталась целой и невредимой. Нашлось даже несколько сковородок и горшков. Печную трубу было нетрудно вновь укрепить и вывести через разбитое окно наружу.

— Ее можно растопить, — сказал Бухер. — Дров наверху хватает.

Он порылся среди обломков.

— Там внизу есть матрацы. Можно откопать их. Часа два работы. Давай сразу же и начнем.

— Это не наш дом.

— Он ничей. Ничего с ним не случится, если мы проведем здесь несколько дней. Для начала.

К вечеру у них в кухне было два матраца. Еще они нашли пару одеял, покрытых белой известковой пылью, и стул. В одном из ящиков стола лежали вилки, ложки и даже нож. В печи потрескивал огонь. Дым через трубу уходил наружу. Бухер продолжал копаться среди развалин.

Рут нашла осколок зеркала и тайком спрятала его в карман. Теперь она, стоя у окна, смотрела в это крохотное зеркальце. Бухер что-то говорил ей снаружи, она что-то отвечала ему, но глаза ее были прикованы к тому, что она увидела в зеркале: седые волосы, ввалившиеся глаза, горький рот, в котором не хватало многих зубов. Она долго безжалостно смотрела на свое отражение. Потом бросила зеркальце в огонь.

Вошел Бухер. В руках он держал подушку. Небо между тем окрасилось в яблочно-зеленый цвет. Вечер был необыкновенно тихим. Они молча смотрели в разбитое окно. До их сознания только сейчас по-настоящему дошло, что они одни. Они уже почти забыли, что это такое. Вокруг всегда был лагерь, толпы заключенных, переполненные бараки — даже уборная всегда была битком набита людьми. Иметь товарищей было хорошо. Но иногда угнетала невозможность побыть одному. Она давила, словно уличный каток, который раскатывает каждое отдельное Я, как асфальт, превращая его в некое общее, «братское» Я.

— Странно — вдруг оказаться одним, правда, Рут?

— Да. Такое чувство, будто мы — последние люди на земле.

— Нет, не последние, а первые.

Один из матрацев они положили так, чтобы, сидя на нем, можно было смотреть наружу через открытую дверь. Они открыли консервы и не спеша поужинали. Потом они сели бок о бок на пороге покосившейся двери. Из-за груды обломков проглядывали последние лучи заходящего солнца.

notes

(вет.) болезнь лошадей; (разг.) бешенство, безумие, неистовство. Ремарк пользуется этим термином для характеристики людей, которые уже не способны контролировать свои поступки (Здесь и далее примечания переводчика)

Боевая организация социалистов Веймарской республики

еврейская заупокойная молитва.

SA (сокр. «Sturmabteilung») — отряды штурмовиков НСДАП.

(церк.) длинная, с широкими рукавами, обычно парчовая, одежда дьяконов, надеваемая при богослужении, а также нижнее облачение священников и архиереев.

Отпускаю тебе грехи твои (лат.).

Верую в единого Бога (лат.).

Я верю, потому что это противно разуму (лат.).

неевреи (идиш).

Опера Бетховена.

верховное божество у древних германцев.

Рурская область — основная угольно-металлургическая база Германии, между реками Рур и Леппе; в Руре сконцентрированы основные отрасли тяжелой промышленности страны.

Гонвед (венг.honved — защитник родины) в 19-20 вв., до 1949 г. — венгерская национальная армия.

(от греч. antiphonos — звучащий в ответ) — песнопение, исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором; в подлиннике: Wechselklage.

(Volksgerichtshof) чрезвычайный суд для расправы с противниками фашистского режима в Германии 1934-1945 гг.

Фема — тайное судилище в Германии 14 — 15 вв.

Wandervogel (нем.) — член юношеского туристического движения в Германии в начале 20 в. (до первой мировой войны).

— Это тот самый сукин сын? — Да, сэр. — Пусть работает вместе со всеми. А если вздумает брыкаться — пристрелите его. (англ.).

— Не надо, мы позаботимся об этом позже (англ.).